

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

8

2001

НОВЫЙ МИР

2001

ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ КПСС БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**ДО КОНЦА 2001-ГО И В 2002 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Преодоление тоталитаризма как проблема: попытка ориентации;

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси; Рассказы;

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);

МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);

АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Трикотаж (автоверсия);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);

АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);

ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Однодневная война;

ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);

(См. на обороте)

АННА МАТВЕЕВА. **Восьмая Марта** (повесть);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. **Любовь к отеческим гробам** (роман);
ЛАРИСА МИЛЛЕР. **Чаепитие ангелов** (эссе);
ВЛ. НОВИКОВ. **Высоцкий** (главы из книги);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. **Чаровщина**;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. **Такая вот любовь** (рассказы);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Новые рассказы**;
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. **Новый роман**;
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. **Очаровательное захолустье** (повесть);
РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. **Облюбование Москвы** (эссе);
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Призрак среди руин** (повествование в рас-
сказах);

МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное по-
вестование);

РОМАН СЕНЧИН. **Нубук** (повесть);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман); **Рандеву в конце мил-
лениума** (эссе);

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух
жерновов. Очерки изгнания**;

СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ. **Слово из жизни живой** (стихи);

ИРИНА СУРАТ. **Пушкин и Мандельштам** (параллели);

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаныч** (повесть);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Ангел мертвого озера** (роман);

ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ. **Новый язык «нелинейной архи-
тектуры»**;

а также романы, повести, рассказы ВЛАДИМИРА БОГОМО-
ЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ
ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА,
АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА, СЕРГЕЯ ШАР-
ГУНОВА; стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ВЛАДИ-
МИРА КОРНИЛОВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБ-
ЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИ-
НА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ
ПОСТНИКОВОЙ; статьи, очерки, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА,
НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕ-
ПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА ОШЕРОВА, МАРИИ РЕМИЗО-
ВОЙ, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2001 году: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2001 года — 270 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на 2001 год по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 8 (916)

Август, 2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСАНДР ТИТОВ — Жизнь, которой не было, повесть	7
МАРИНА БОРОДИЦКАЯ — К погоне лицом, стихи	45
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ — Улица, рассказы	48
ЮРИЙ ГРУНИН — Из плена — в плен, стихи	65
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ — Глухие снега, стихи	70
МИХАИЛ КУРАЕВ — Записки беглого кинематографиста	75
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ — Пытка надеждой, стихи	122

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

МАКСИМ КРОНГАУЗ — Жить по «правилам», или Право на старописание	128
---	-----

ПОЛЕМИКА

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ — АНДРЕЙ ЗУБОВ — Переписка из двух кварталов	133
--	-----

МИР ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — В режиме музыкального времени. Фрагменты из новой книги «Музыкальный запас. 70-е»	152
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Наш Пруст	171
------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Павел Басинский. Переулок — не тупик	187
Дмитрий Быков. Вокруг отсутствия	189
Алла Марченко. В оценке поздней...	194
Валерий Сендеров. Мистика стремительного домкрата, или «Силы за пределами констант»	198
Елена Касаткина. В лабиринтах умного неведения	201

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕЛЕНА ОЗНОБКИНОЙ	204
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	211

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«...И МОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ»	218
--	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	222
Периодика (составитель Андрей Василевский)	225
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
АНДРЕЯ ГЕРМАНОВИЧА ВОЛОСА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА КУШНЕРА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВИЧА НЕПОМНЯЩЕГО
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ДМИТРИЯ АНТОНОВИЧА СУХАРЕВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ!**

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Издание выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

АЛЕКСАНДР ТИТОВ



ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Повесть

БЫВШАЯ ЗНАМЕНИТАЯ ДОЯРКА

Мать смотрит на Митю с затаенным страхом:
— Не ходи к нему — удавя!..

— Почему? — Митя конфузливо заглядывает в ее яркие карие глаза, такие большие, что как-то неловко делается и мурашки по спине бегут. — Я каждый день его навещаю. А сегодня воскресенье — моя очередь печку топить.

— Он дурак глупый — возьмет да и стукнет поленом.

— Не стукнет и не «удавя»... — Митя нарочно передразнивает ее деревенский выговор. Он ощущает нечто далекое, тревожное и грустное, но никак не может понять, что это такое. — Как же он не удавил прежде свою покойную бабушку?

— Бабка сама умерла с горя. Надо было сразу, как только ее похоронили, отправить идиота в дурдом.

— Джон никому не мешает! — восклицает Митя. И снова смотрит в эту таинственную кофейную прозрачность глаз. Мать выдерживает взгляд. — Никого не ударил, не обворовал...

— Этого еще не хватало! Да я сама, первая, топором его зарублю! — Глаза матери мутнеют и как-то странно подкатываются вверх. Грозит разогнать всех, кто заходит в Джонову хибарку «погреться». Притон нашли, распивочную, сволочи, открыли!

Мать сходила в соседнюю комнату, надела шерстяные вязаные гамаши в полоску. Возле порога серые валенки с галошами. Собирается на ферму, где работает в родильном отделении, выпаивает телят.

Два теленка заболели, надо посмотреть... Снимает с вешалки дубленку, купленную лет двадцать назад, когда они были в моде. Темные волосы покрывает светло-серым, почти новым пуховым платком, смотрится в зеркало, висящее на теневой стороне. Поверхность его сверкает влажным, искристым, как вода в проруби, утренним огнем. День, едва начавшийся, разгорается в зеркале вдвое ярче, чем на улице. Еще и солнце не показалось, а краешек зеркала уже горит ослепительно оранжевым светом.

Мать наскоро взбивает челку. В ее волосах заметны паутинчатые, шевелящиеся под гребнем седины, которые, как ни странно, молодят ее. Это еще не пуховая белизна старости, но серебро недавно ушедшей молодости. Ей тридцать пять. Берет с полки помаду в розовом тюбике, осторожными движениями подкрашивает свои и без того яркие губы в мелких трещинках, облизывает их не спеша. В такие мгновения она задумчива,

Титов Александр Михайлович родился в 1950 году. Закончил Московский полиграфический институт. Автор четырех сборников рассказов. Печатался в журналах «Волга», «Подъем», «Аврора» и др. Живет в селе Красное Липецкой области. В «Новом мире» печатается впервые.

будто видит не себя, но чужую. Помада старая, полузасохшая, плохо размазывается по блестящей поверхности губ, налипает к ним темными крупинками. Надо не забыть купить ей в подарок новую — к Восьмому марта.

Запах коровника навсегда въелся в ее одежду. А вечерами, когда с работы возвращается отец, в доме начинает витать еще и запах мазута.

Мать одергивает дубленку, поворачивается перед зеркалом. От ее движений по комнате еще сильнее разносится запах телячьего навоза, молока, клеверного сена, которое дают только малышам. Когда-то была молодая знаменитая доярка, к ней приезжали фотографы, корреспонденты из газет и с телевидения. Выступала на съездах и совещаниях, читала, слегка запинаясь, умные слова по бумажке. Митя, совсем маленький, сидел рядом с отцом в кресле и смотрел выступление матери по телику. Подвыпивший отец в тот вечер был хоть и веселый, но с угрюминкой, тыкал усмешливо темным пальцем в экран: складно говорит, сволочь, выучилась! В люксе живет, гадина!..

Вскоре она приехала: веселая, раскрасневшаяся, с гостинцами, подарками, сувенирами, всяческими грамотами и медалями. Рассказывала о тогдашних знаменитых людях, с которыми встречалась делегация.

«Ты нас кормить думаешь или нет? — с шутливым упреком обратился к ней отец, неуклюже приобняв за плечи. — Щи вари или суп. Мы с Митькой вторую неделю без горячего сидим...»

Медали и грамоты до сих пор лежат в нижнем ящике комода, на самом дне, нахолодившиеся от пола. Здесь же связка газет и журналов с фотографиями юной чемпионки надоев. Один журнал, на обложке которого помещена цветная фотография матери, Митя потихоньку забрал и отнес себе в комнату. Она на этом фото здорово вышла — совсем артистка!

Как-то раз она зашла в комнату сына, чтобы подмести пол, и Митя не успел спрятать журнал. Ни слова не говоря, мать содрала обложку с собственным изображением, разорвала в клочки. И ушла, не стала даже подметать. На портрете она была задорная, была круглолицая, с мягкой деревенской улыбкой. Застенчивая, но с достоинством.

Теперь ее давно никто не фотографирует. Позабыта и Тужилловская ферма, гремевшая когда-то высокими надоями. Скоро ее закроют, потому что от коров нет прибыли. Да и сами коровы старые, пора сдавать их на мясо. К весне, по слухам, уберут с должности старого одышливого председателя Тараса Перфиловича.

Мать иногда возьмет да и выпьет с устатку. Работа с четырех утра и до девяти вечера — не каждый выдержит. От отца она прячет «свою» бутылку самогона, подкрашенного вишневым вареньем. Скоро станет обыкновенной пожилой дояркой, из тех, кто вечно под хмельком — краснолицые, в грязных, засаленных халатах, в грубо повязанных платках. Все матюжницы, бьют коров чем попадая.

Как анекдот вспоминают давние слова секретаря райкома, который собрал со всего района председателей и привез их учиться хозяйствовать на тогда еще передовую Тужилловскую ферму: «Взгляните на этих вычищенных и выскобленных коров! — воскликнул Первый, вскидывая величественным жестом пухлую ладонь. — Готов побиться о заклад, что хвосты этих коров чище, чем ваши бритвенные помазки!»

УТРО ИДИОТА

Проснулся Джон от ощущения того, что со всех сторон будто кто-то иголочками покалывает. Открыл глаза, всхлипнул:

— Холядьня!

Свесил с печки босые ноги, чувствуя, как от земляного пола тянет морозной сухостью. Ладони оперлись о нахолодившиеся, засаленные от час-

тых прикосновений кирпичи. Утренний свет пробивался сквозь маленькие заиндевелые окошки. Их всего два, смотрят, как большие мутные глаза.

— Никогоси... — хнычет дурак. Один то есть... Не понимает, но чувствует. Сейчас придут. Митя или дядя Игнат. По очереди ухаживают за Джоном. Пухлые губы сами собой произносят звуки, гундят и поют.

Ночью за стеной бушевала метель, и Джону было как-то особенно, подурачки страшно: огромный злой дядька склонился над хатой, крытой заснеженной соломой, дул ртом в печную трубу: ух-ха! Хлопал ладонью по заледенелым стеклам. Все вокруг трещало, а в животе у Джона гуркала перловая каша — дядя Игнат вчера варил, да, наверное, не доварил и жиру свиного, вонючего, в нее много добавил.

Дурак всхлипывает, подвывает по-собачьи. Не хочет быть один. Соскакивает с печки, шлепает босыми ногами по шишковатому земляному полу. Колодообразное тело устремляется к столу. Стеклянная банка пуста — пальцы нащупывают колючие крупинки сахара, отковыривают их. Джон чавкает, сосет: во рту сладко, но мало. Скулит, продолжая вылизывать стенки, клацает по стеклу зубами. Сахарные песчинки царапают разбрякшие со сна губы.

В сенях раздается топот валенок. Слышно, как Митя хлещет по калосхам обшарпанным веником, отряхает снег. Трещит промерзлая дощатая дверь, не поддающаяся первым рывкам, и наконец широко распахивается. Весь в клубах белого, будто молочного пара, чуть наклонившись, чтобы не удариться головой о притолоку, входит среднего роста паренек в шапке-ушанке и теплой заграничной куртке с яркими буквами.

Джон так и разевает рот: сколько раз видел эту куртку, но всякий раз переливчатые разноцветные узоры букв приводят его в остолбенение.

— Извини, Джон, я проспал! Вчера вечером по телику классный боевичок показывали!..

Дурак радостно ощеривается: сейчас Митя расскажет кино! Он так здорово умеет рассказывать, машет бледными кулаками в стьлом сумеречном воздухе хаты: тот, хороший, полицейский как треснет бандита в лоб!.. А красивая девушка в джинсах как прыгнет с верхнего этажа!.. А этот, плохой, которого все ловили, бабах из револьвера!..

При каждом Митином взмахе, сопровождающем пересказ фильма, идиот радостно гекает, переминается с ноги на ногу на холодном полу. Там, в кино, умный полицейский переколошматил всех плохих негодяев. И стало всем хорошо. Джон сияет блестящими бессмысленными глазами, раскрыл слюнявую пасть.

Митя вдруг замолкает, зябко передергивает плечами: холодно у тебя, балда! Ты бы хоть золу из печки вычистил!..

Дурак виновато смотрит на своего единственного во всей Тужилровке друга. На лице идиота возникает жалкая сонная улыбка. Лень, спрятанная в тайники неуклюжего тела. Митя хороший! Митя счастливый! — он смотрел «тили-вили».

Джон кивает лохматой, как у пуделя, головой, радостно хихикает, передергивает плечами. Сквозь дыры засаленной рубахи просвечивает серая пупырчатая кожа. Идиот от восхищения и озноба принимается клацать зубами.

— Да ну тебя... — Митя тоже замерз. Пора растапливать печку.

— Зазыгай дедуську. Дзему холодно! — Дурак начинает приплясывать на заиндевелых шишках пола. Джоном его прозвали деревенские ребяташки. А на самом деле его Жорой, Георгием зовут.

Митя снимает свою хорошую куртку, вешает на гвоздь, вбитый в стену. Там еще много гвоздей набито — вешалка. Засучивает рукава свитера, вычищает из печки вчерашние головешки, серую древесную золу, облачками взметающуюся над тазом. На подовых кирпичках, под ворохом сизого пепла, малиновыми искорками сверкнули остатки вчерашних недогорев-

ших дров. Вычистил печь, положил заранее заготовленных щепок, раздул пламя, кинул сверху тонких дров — они быстро разгорелись, дохнули жаром. Митя поднял с пола обеими руками пенек от вишневого дерева с отростками черных сухих корней, сунул в пышущий пламенем зев печки. Пень сразу охватился по краям розовыми огоньками. Жар проникает в закопченные кирпичи печного свода и расплзается потоками теплого воздуха по всем углам хаты.

— Ух! — Митя разгибает спину, озирается. В комнате плавает синий дым, но уже поуютнело. Глаза у Мити слезятся, он различает силуэт Джона, снова забравшегося на печку.

На полу лежит другой пенек — сливовый. Скоро придет и его очередь. Джон боится этого пня, показывает на него дрожащим пальцем и называет «дедуськой». Захныкал, закрыл лицо ладонями, боится, что «дедуська» его укусит.

Митя успокаивает: этот «дедушка» хороший, он будет нас греть. Вот мы его сейчас положим в печку. Смотри... Пух-пух! Теперь уже два пня лежат в обнимку, словно старые друзья, в широкой горловине русской печи. Один, полусгоревший, малиновый от жара, сыплет-трещит искрами, второй, темный, с белизной распила, медленно разгорается. Митя еще с осени дров заготовил — в старом заброшенном саду полно засохших деревьев, ножовкой можно напилить хоть вагон.

«Газом пышат!» — похвалил дрова тракторист Профессор, помогавший выкорчевывать старые сливы и яблони. И отметил забавный факт: вишневые дрова горят розовым пламенем, сливовые — синим.

ДЯДЯ ИГНАТ

Слышно, как кто-то снова дергает дверь. Рывки хрусткие, скрипучие. Дверь опять примерзла, не поддается.

Митя спешит на помощь, давит изнутри. По всему периметру двери раздается поканье, дзенькает какая-то льдинка — дверь стремительно распаивается на всю ширину. На пороге, в завитках пара, различается постепенно приземистая старческая фигура в драной овчинной шубе и облезлой кроличьей шапке. Слышится недовольное пыхтенье, и вот уже старик переваливается через обледенелый порог — дядя Игнат пришел, сосед. Он торопливо прикрывает дверь, чтобы не упустить тепло, притопывает носастыми валенками, озирается красными, набрякшими влагой глазами. А всего-то прошел двадцать метров от своего дома. Маленькое бурое лицо сплошь в отвислых болезненных морщинах, в зрачках хитрый блеск — клюкнутый дед!

— Ты здесь, Митрей?

— Здесь, здесь... — Митя подбрасывает в печь новую порцию чурбачков.

— А я думал, опять проспшишь, как в прошлую воскресенью.

Митя виновато кивает головой: да, в прошлый выходной он спал до десяти. Как на грех, и у дяди Игната в тот день поясница разболелась. И трактористы по домам сидели, чай пили. А бедняга Джон замерзал, скулил, завернувшись в ворох тряпья, набросанного в углу печки.

— Блинцов к обеду замешаю! — с ходу обещает дядя Игнат. Но, судя по его походке, обещание невыполнимое. В чулане действительно припасен мешок хорошей белой муки — Профессор где-то раздобыл еще по осени, привез сюда, чтобы подкормить несчастного подростка. Дядя Игнат иногда печет блины — толстые, размером и формой с подметку, малость подгоревшие, зато на свежем масле — объеденье! Джон готов хоть сотню таких слопать. Он их обожает, эти «бисики»!

В погребе запас картошки — осенью накопили, кое-как всковыряв грядки, — Джона не очень-то заставишь работать. Митя сам засолил бочку огурцов — дядя Игнат подсказывал, как надо мыть и банить кадку, как

готовить раствор соли, сколько добавлять в него хрену и смородиновых листьев. А уж дикого укропа на огороде полно — пихай в кадушку до отказа! И все содержимое кадки сверху надо придавливать гнетом. Гнет — это не царизм, не фашизм с диктатурой, а обыкновенный камень-голыш, который кладут поверх деревянного диска. И капусты квашеной хватает. Да еще один тракторист подарил Джону большой шмат прошлогоднего сала — живи, деревня!

Вспомнив об огурцах, Митя берет большую миску и лезет в погреб. Сейчас, наверное, трактористы придут, им всегда закуска нужна. Отец, обычно безразличный к еде, и тот как-то похвалил: у тебя огурцы лучше, чем у матери, получились!

«ЦАМАГОНЯ»

— Дядя Гать! — Грязный палец высовывается из сизого дымного вала, как из тучи. Старик кашляет, весело машет руками. Джон нетерпеливо обезьянью подпрыгивает на прогревающихся кирпичках, уверенный в том, что старик принес с собой «цамагонию». Авось нальет дурню стопочку для «проветривания мозгов».

— Дзон хочет цяканычик! — Буква «и» выговаривается дураком тонко, с комариным писком.

— Я вот тебе сейчас дам «стаканчик»! — Дядя Игнат грозит дурню коротким подрагивающим пальцем. Затем вздыхает и достает из-за пазухи бутылку с бумажной затычкой, наливает немного жидкости в пластмассовую небьющуюся чашку. — На тебе, чтоб не скулил.

Дурак от радости едва не падает с печки, ковыляет, словно медведь, к столу, хватая чашечку, с хлопом ее опорожняет. А тут и Митя с миской огурцов подоспел. Все огурчики как на подбор — пузатенькие, желто-зеленые, полупрозрачные от рассола, оплетенные нитями укропа, облепленные пахучими листьями смородины.

— Огульсики! — Идиот хватает самый большой огурец, с хрустом и чавканьем пожирает его.

Дядя Игнат смотрит на дурачка, смеется тонким старческим смехом, затем выпивает порцию самогонки, морщится, перетерпливает, прикрыв пухлые морщинистые ресницы. Не спеша выбирает огурец, разрезает его тупым ножом, не переставая морщиться. Все движения старика замедленные и неловкие. Вот берет огуречный ломтик, подносит его, сильно зажмурившись, ко рту, откусывает вприсос из мягкой семечковой сердцевинки. И только потом уже облегченно крикает.

— Я тебе апосля ишло налью. — Он строго и в то же время добродушно смотрит на Джона. — Только ты, братец, от нее, уж постарайся, не бясися! А то мужики деревенские давно грозятся тебя поколотить. Ты иной раз, когда выпивши, к хверме крадешься, доярок ушшупать норовишь, когда они за соломой или комбикормом из ворот выходят... Мужики-то зараз по мордасам по круглым твоим начвакают!

Джон, которого часто колотят и мальчишки, и взрослые, при упоминании о тумакках начинает всхлипывать. Вот-вот в голос разревется. Икнул, прохрупал остатком огурца, притих, спрятался на печке среди тряпья. Видны лишь глаза, поблескивающие от «цамагоны».

ТРАКТОРИСТЫ

Вот тебе и новые гости входят: Митин отец в засаленной телогрейке и рыжей своей незаменяемой шапке, а следом молодой длинный мужик по прозвищу Профессор, из кармана которого торчит бутылка с бумажной затычкой.

— Оп-па! — Профессор с довольным и торжественным видом выставляет свое приобретение на стол. Бутылка точно такая же, как и у дяди Игната, только более мутная — Фекла гнала.

Джон, завидев посудину, радостно гыгыкает: «бутылиська!» Воскресный день начинается так, как он и должен начинаться. Палец дурака указывает на вошедших. «Глях-та-лись-ти!» — весело произносит он по складам. Каждый слог зависает в наполняющейся жаром комнате словно бы сам по себе.

От первого тепла иголки инея на окнах слегка обтаяли, скруглились.

— Хорошо тебе, Джон, на печке сидеть! — потирает Профессор озябшие ладони. — А у нас в мастерской не топят, запчастей нету, трактора нечем ремонтировать... Сегодня надо было ехать за жомом на спиртзавод, а техника опять подвела...

Джон попрыгивает на печке, даже кирпичи гудят. Дядя Игнат хвалит свою продукцию, в войну движки ею заправляли, от одного взгляда вспыхивает, а Феклина и от спички не загорается...

От телогреек механизаторов пахнет соляжкой, пыльным зерном и еще какими-то амбарными запахами. По очереди наливают каждый сам себе в пластмассовую кружечку, выпивают. Кружечка была когда-то белая, а теперь давно уже замызганная, серая, с многочисленными царапинами.

Митин отец снял шапку — волосы местами седые, а всего-то сорок лет. Профессор расстегнул пуговицы телогрейки.

Тем временем Митя помыл картошку, поставил ее в чугуне на раскаленные угли.

— Митек, грамульку не тяпнешь? — Профессор поворачивается к подростку своим удлинненным, словно кабачок, лицом. Вытянутый «буратинчатый» нос его покраснел еще больше. Не дождавшись ответа, перевел взгляд на отца, спросил кивком: можно ему?

Отец отложил недоеденный огурец, вздохнул: он уже большой, я в его возрасте разрешения не спрашивал...

— Нет, я пить не буду! — решительно отказался Митя. Он за всю свою жизнь глотка спиртного в рот не брал. Приподнял с чугуна крышку, потыкал вилкой картошку в булькающей воде: еще твердая...

Отец смотрел на сына, хлопчущего возле печки, и в серых глазах его мелькали добрые огоньки. Сам выпить может много, но всегда на ногах. Профессор с дядей Игнатом по десятку историй уже рассказали, а отец все молчит, курит одну за другой сигареты «Прима».

— Пап, ты бы не курил здесь!.. — делает ему замечание Митя. — И без того комната маленькая...

Отец приглашает сигарету о дощечку, приспособленную вместо пепельницы. Затем с удивлением оглядывает комнату, словно впервые ее видит. Взгляд его останавливается на облезлой этажерке, на растрепанных книжках русских волшебных сказок, на поржавевшем, без стекла, будильнике, в который Джон иногда играет, забавляясь треньканьем звонка.

МАТЬ

К Джону Митин отец относится вполне снисходительно. Ругнет матом, кулак покажет, но и водочки тоже поднесет, бутерброд механизаторский, лаптеобразный, всегда готов пополам разломить.

Зато у матери к этим воскресным посиделкам совсем другое отношение: «Чтоб вы провалились со своим идиотом! Он скоро всю Тужилровку сожрет своим поганым ртом. И зачем эта гадина существует на свете? Почему его никто никуда не забирает?!»

Так она обычно ругается по утрам, подавая отцу завтрак. Митя в это время собирается в школу, намазывает маслом два бутерброда — один себе, второй Джону, заносит ему по пути.

Поругавшись, мать подходит к старинному зеркалу в резной деревянной раме, поправляет волосы. Она похожа на артистку Сильвию Кристель. И еще немножко на молодую Софи Лорен. Только у Софи Лорен лицо смуглое, а у матери белое, кипенное. В парикмахерскую не ходит, сама ровняет стрижку ножницами.

«Яркая баба!» — говорят о ней редкие тужилковские мужики. Но, зная ее характер, отцу не очень-то завидуют. Взгляд у нее острый, отбрывающий. И высокая, сильная. Но с отцом никогда не дралась, за исключением редких шуточных потасовок.

БЫК

У отца, сидящего за столом, покраснели глаза — то ли от сигаретного дыма, то ли от выпивки. Такие же багровые, какие были совсем недавно у быка по кличке Андрюша. В тот день Митя решил зайти на ферму к матери — похвалиться пятеркой по химии.

Отец был, как всегда, выпивши, а всем известно, что быки не переносят запаха спиртного. От Андрюши по этой самой причине пострадали несколько скотников. Двух мужиков чуть не до смерти закатал. Элита! Такой не пошутит... За большие деньги в племсовхозе куплен. Лауреат областных и региональных выставок, а в Москве серебряную медаль вручили! Поэтому зоотехник Михал Федотыч и не торопился сдавать Андрюшу на мясокомбинат, стремясь максимально использовать все генетические ресурсы «производителя». А скотников пожилой специалист ругал постоянно, примерно в таких вот выражениях: «Дикари! Пьяницы проклятые! Весь комбикорм поворовали, сено пропили — быку нечего дать, не говоря уже про коров... И не смейте Андрюшу даже пальцем тронуть. Этот бык в сто, в тысячу, в миллион раз дороже и ценнее всех вас, вместе собравшихся. С вами, с вредителями, невозможно заниматься племенным животноводством».

Когда Андрюша болел, Михал Федотыч даже ночевал целую неделю в красном уголке, вызывал из области спецбригаду ветеринаров — колхоз с трудом наскреб денег на лечение племенного бугая. В колхозной конторе, на стенде под стеклом, висят Андрюшины дипломы и медали на пыльных ленточках. Мать его — знаменитая на весь бывший Союз Ласточка, отец — бык Алмаз чистойшей симментальской породы, дед — Рубин, прадед — Яхонт, прапрадед — Янтарь, и так далее. Тужилковские люди редко помнят имена своих прадедов, зато у племенных животных специальные паспорта, в которых вся их родословная прописана по ступенькам вплоть до какого-то там колена.

Андрюшей быка назвал сам Михал Федотыч, в честь своего товарища по сельхозакадемии, погибшего в Великую Отечественную войну. А по документам бык проходил под своей официальной кличкой — то ли Агат, то ли Сапфир. Скотники не любили Михал Федотыча за его требовательность и, чтобы досадить ему, норовили побольше стукнуть привязанного бугая. К весне и старого зоотехника отправят на пенсию, как только найдут ему замену.

...В тот хмурый декабрьский день отец привез на ферму полную тележку свекольного жома — теплого и парящего, прямо со спиртзавода. Животные, бродившие в загоне, тянули морды на этот запах. Андрюша вместе со стадом прогуливался во дворе, дышал свежим воздухом в соответствии с распорядком дня.

Отец постучал в ворота, велел скотникам забирать корм.

Тут Андрюша почувствовал ненавистный ему запах винного перегара, помчался, ударив грудью в толстые жерди падворка, сбил их, поддал отца спиленным рогом в бок. Отец отлетел на несколько шагов, ойкнул, упав на присыпанную снегом землю.

Митя так и застыл на пороге: он уже собрался домой, а мать провожала его. «Помогите! — крикнула она, обернувшись в навозную духоту помещения. — Бык сорвался...»

Из подсобки выскочили скотники и доярки, вооруженные вилами и таяками.

Отец успел вскочить на ноги, и это спасло его. День был серый, температура нулевая, все вокруг отсырело и осклизло. Но земля на падворке была плотная, потому что еще загодя успела схватиться льдистой корочкой, хрустевшей под желтыми копытами Андрюши. При каждом шаге племенной бугай проваливался в грязь, окрашивая лодыжки черной, маслянисто сверкающей грязью. Наклонив голову, притиснул отца к дощатому забору, и тому не оставалось ничего другого, как ухватиться за железное кольцо, продетое меж ноздрей животного. Кольцо, стертое до блеска, сверкало в свете пасмурного дня страшными вспышками. Отец мотался на этом кольце, стараясь пригнуть морду быка к земле. Из пасти животного пахло кислым, недавно съеденным силосом. Бык хрипел, фыркал, крутил мощной головой. Отец волочился по земле, словно большая тряпка.

«Папа!» Крик замер в горле Мити. Еще ни разу в жизни ему не было так страшно. Глухо шлепнула на мокрый подтаявший порог сумка с учебниками.

Скотники, многоэтажно ругаясь, побежали к месту сражения, принялись пырять животное вилами, пытаются отбить его от отца. Острые, стертые до блеска зубья вырывали из дергающейся бычьей туши клочья шерсти, кровяня бока алыми полосками. Прокатилась по ледяной корке отцовская сверкнувшая мазутом ватная шапка, прошелестела по замерзшим крупинкам инея, словно металлическая.

Подоспел на своем тракторе Профессор, сельский философ-самоучка. Он хотел въехать на падворок и оттеснить быка к забору, но мотор неожиданно заглох.

«Твою диалектику мать!..» — выругался Профессор, пытаясь завести дизель. Увы, техника часто становится бессильной против беснующейся живой природы.

Митя обежал вокруг ограды, остановился напротив быка.

«Андрюша!» — крикнул Митя что было мочи. Бык вздрогнул, уставился на мальчика мутными глазами, признавая его голос.

Отец, воспользовавшись секундной передышкой, отпустил кольцо и отлетел спиной к щелястым доскам ворот, с грохотом ударившись о них.

Скотники, хоть и все выпивши были, не растерялись, подхватили отца под мышки, поволокли в подсобку.

«Убегай, Маруся!» — крикнули они матери, которая все еще держала на изготовку вилы с ало сверкающими зубьями.

Вдруг отец, вырвавшись из рук скотников, совершенно обезумевший от гнева, подбежал к матери, выхватил у нее из рук вилы, кинулся к Андрюше, медленно разворачивающемуся всем корпусом навстречу людям, и со всей силы вонзил ему в морду все четыре ярких стальных зубца: вот тебе, гадина! И надавил на рукоятку обеими руками, навалился на нее всем телом, пытаясь прижать голову быка к земле. Андрюша взревел, рывком поднял морду, вновь отбрасывая человека к изгороди — словно камешком стрельнули из рогатки. Спина отцовская так и бахнула о выбеленные известью доски. Сжав кулаки и закрыв глаза, он медленно оседал, лицо его исказилось дикой улыбкой. В ту минуту Митя не мог понять, кто из них страшнее: бык или отец? Отец открыл выпученные побелевшие глаза, смотревшие как-то вбок. Пальцы цапрапали смержшиеся комки земли.

Андрюша поднял правое переднее копыто, и тут бы конец батяне, но спасение пришло с неожиданной стороны: быка сдвинула в сторону лошадь-тяжеловоз по кличке Сестра, которая быков терпеть не могла. Кос-

матая, как пьяная баба, вся в инее, покрывшем белизной висюльки мерзлой грязи на шерсти, она встала на дыбы, обрушиваясь широкими копытами на спину Андрюши, на его крупные гулкие позвонки. А когда она принялась кусать его в загривок своей «каркадильской», по выражению скотников, пастью, Андрюша обиженно взмыкнул и начал отступать. Грязные, в навозе, вилы, воткнутые в морду быка, покачивались, словно маятник. Лошадь продолжала грызть врага, рычала, словно огромная собака. Если бы не вонь, не яркий свежий снег, припорошивший двор, запятнанный бурыми навозными лужицами, можно было бы подумать, что здесь развернулась самодеятельная коррида. Но истошно матерящийся отец в разодранной телогрейке с торчащими клочьями ваты мало походил на тоreadора, а грузный чумазый Андрюша и вовсе не был похож на холеного испанского быка.

Рассвирепевшая Сестра, вновь почуявшая бычью ненавистную кровь, рвала коричневыми зубами вражий загривок. В трубном реве быка пробивалось что-то умоляющее. Он задом пятился к воротам, а лошадь, то и дело становясь на дыбы, теснила его своими копытами, каждое из которых размером со сковородку.

Створка ворот приоткрылась, один из скотников исхитрился зайти сбоку и продеть в кольцо веревку. За веревку быка сообща затащили в стойло. Бугай долго не мог отдышаться, нервно долбил копытами бетонные плиты.

Зоотехник Михал Федотыч тотчас примчался на ферму. Семенил трусцой по проходу, даже в кормушки по привычке не заглянул.

«Добились своего, негодяи! Погубили ценнейший экземпляр! Вы его морили голодом, мордовали и в конце концов убили, убили... — Пожилой специалист трясся и всхлипывал, как ребенок. Повернулся к отцу: — Ты, подлец, мразь, погубил лучшего в Черноземье быка, ты и повезешь его сдавать на бойню... Твоя взяла. Но знай: Бог все видит. Он спросит с тебя за невинное животное!»

Утром следующего дня быка загоняли по наклонным сходням в кузов автомобиля. Отец лупцевал Андрюшу палкой, которая глухо щелкала по пятнистым от засохшей крови бокам и спине.

«Шевелись, падла выставочная!..» В голосе отца звучало откровенное злорадство.

Бык, оступаясь, медленно брел вверх по сходням. Остановился на мгновение, и отец с такой силой принялся дубасить Андрюшу, что от палки даже ошметья полетели. Митя на первый урок опоздал, наблюдая за погрузкой.

Андрюша зашел в кузов. Он как-то по-умному ссутулился, словно бы уменьшился в размерах, хотя настил кузова машины трещал и прогибался под весом животного. Напоследок бык оглянулся на своего обидчика. Правый глаз у Андрюши был заплывший и красный, горел, словно огонек светофора.

«Я тебя еще достану...» — словно бы хотел он сказать этим своим взглядом.

«Да закрывайте же борт, мать вашу!.. — вскипел Михал Федотыч, решивший попрощаться со своим любимцем. — Что вы копаетесь, вредители чертовы? Радуйтесь — ваша взяла!..»

Шофер был опытный, много раз возил скот на бойню. И на крутом спуске умело и плавно притормозил. Но Андрюша, раскользясь на досках кузова, по инерции проехал вперед. После отец рассказывал, что бык проклятый нарочно все подстроил. Массивная нога, пропырнув жезь кабины, уперлась копытом в приборный щиток, выдавливая круглые стеклышки. Отца отбросило к дверце кабины — он едва не вывалился на дорогу. Спасло его то, что он в этот момент нагнулся, чтобы заправить в сапог торчащую портянку, иначе бы ему хана!..

Шофер остановил машину. Вдвоем пробовали вытащить бычью ногу из отверстия. Андрюша ревел, мотал огромной, словно тумба, головой, норовя задеть людей спиленными рогами. Так и ехали до города. На грохочущих улицах никто не обратил внимания на угасающие басовитые стоны. А в кабине воняло навозом, парным бычьим мясом, торчащим из-под содранной чулком шкуры. Копытная грязь размазалась по приборному щитку. Шофер и отец курили, пытаются отбить запах терпкой бычьей крови.

...И вот сейчас, в избушке, отец неожиданно поднялся с табурета, сжал кулаки, которые затряслись, как перед дракой.

— Я — человек! И не надо мне напоминать, что я хуже животного... — Глаза его налились багровой окончательной ясностью и еще чем-то давнишним, затаенным. — И я никогда не буду почитать никакого навязанного мне зверя или идола. Я сказал, что задавлю гада, и задавил...

Он шмыгнул носом, достал из пачки «Примы» сигарету, нервно смял ее зубами — затрещали крупинки табака. В алых зрачках отца проблеснули зеленые огоньки умиротворения.

ТОСКА

— Длюся! — выговаривает Джон кличку быка, которого он тоже помнит и до сих пор боится — бык и его однажды чуть не закатал рогами на пастбище, когда Джон подменял пастуха. Дурак испуганно круглит глаза, втягивает воздух широкими обезьяньими ноздрями. Лоб у него черный от сажи — успел когда-то заглянуть в печку.

Три слова самопроизвольно выскакивают из большого, лягушачьего рта: «Митя», «ам-ам», «баба».

Над красным углом, где сидят трактористы, остались потемневшие, висящие в несколько рядов иконы разных размеров, украшенные поблекшей фольгой и бумажными цветками. Лики святых почти неразличимы. Теперь некому на них креститься. В потоках горячего воздуха, идущего от печки, покачивается лампадка на закопченной цепочке, состоящей из канцелярских скрепок.

— Баба! — Джон тычет грязным пальцем в иконы, вот-вот брякнется с печки. — Исусь Хлистьось...

Профессор, глядя на него, смеется: чего-то, балбес, понимает. Какое христианство может быть в здешней глуши, где до сих пор верят в колдунов и русалок?

Митин отец, без всякого выражения на лице, приподнял голову, взглянул на иконы, затем снова потупил взор.

ДЖОНА ПРОЧАТ В ЦАРИ

Митя берет рогач за длинную деревянную рукоятку, достает с раскоряченного, стоящего посеред древесного жара тагана чугунок с картошкой, осторожно несет его через всю комнату, устанавливает на закопченную дощечку посреди стола.

Колодообразное туловище Джона свешивается с печки, плоский нос втягивает запах варева. Дурак слезает, топчется в углу, не решаясь приблизиться к горячему чугуну. При каждом движении идиота шуршат, словно картонные, широкие спецовочные брюки, подаренные ему колхозным сварщиком Сергеем. В двух местах штаны прожжены и лохматятся, они в разнообразных пятнах, зато прочные.

Будто туча с неба спустилась. Трактористы, потеснившись, уступают дураку место на углу стола.

Митя вдруг вспоминает, что Джон сегодня еще не умывался.

— Иди сюда! — Он берет Джона за воротник, поднимает его из-за стола. Дурак покорно бредет к помойному ведру, стоящему под лавкой в чулане.

Скулит от боли, дергает правой рукой — в ладони у него зажата горячая картофелина.— Да оставь ты ее... — Митя силой разжимает грязную, покрасневшую ладонь идиота, отнимает картофелину: опять волдырь вскочит...

Трактористы тоже достали по картофелине, катают их по столу, чтобы скорее остывали, очищают помаленьку от кожуры.

Джон пробует грязным пальцем воду в ведре: ему и теплой-то неохота умыться, и он заранее всхлипывает, наклоняется, выставляет ковшиком смешные чумазые ладони. Митя льет из кувшина воду, а Джон, словно медведь, смурывает лапами туда-сюда. Лицо его из мучнистого становится розовым, маленький лоб и бычья шея по-прежнему остаются сухими. Сквозь воду, залившую глаза, видит перед собой ситцевую, в цветочках, занавеску, хнычет, припоминая прежнюю беззаботную жизнь, когда его никто не мучил умываньями: баба, баба! Занавеска покачивается сама собой от теплого воздуха, как живая...

— Никак он не может ее забыть, — вздыхает Профессор, подливая себе в кружечку самогонки из дядь Игнатовой бутылки. — Она только для него и жила, сердешная. Для внука старалась, так сказать, и в объективном, и в иррациональном смыслах.

Последняя фраза Профессора прозвучала невнятно, однако все, в том числе и отец, невольно вздохнули. Митя пытается хотя бы разок мазнуть дурака по физиономии куском хозяйственного мыла, но тот мотает головой, скулит — боится мыла пуще огня. Кое-как умытый, с взъерошенными мокрыми волосами, он бурчит толстыми губами, спешит к чугуну с картошкой.

Митя подает ему чистое серое полотенце, неглаженое. Сам стирает дешевым порошком в тазике, без отбеливателя. Джон комкает полотенце, торопливо возит им по лицу.

Дядя Игнат забирает у Профессора порожнюю кружечку, наливает «своей», выпивает, закусывает огурцом, хвалит Митин посол.

— Я ведь тоже одинокий совсем старик! — вздыхает он. — И ни хрена у меня в доме нет, акромья самогонного аппарата.

Все смотрят, как Джон торопливо поедает картошку, забывая очищать ее от кожуры. Обжигается, стонет, отхрюпывает зубастым ртом от огурца. Такая еда кому угодно понравится!

— Исделать бы нашего Джонку царем! — мечтательно восклицает дядя Игнат. Щеки его болезненно краснеют. — Сидит себе, детинушка, на печке, посиживает, вдруг — бац! — и он уже в царях!

— Без всяких демвыборов? — округлил глаза Профессор. — Нелегитимно, дед, и просто глупо. Твое сказочное сознание насквозь ошибочно. Царем быть нелегко. С трансценденцией ни один царь не совладеет. Подчиниться объективности может лишь полный идиот...

— Скоро перебьют хребет этим вашим дурацким неумирающим сказкам!.. — Отец говорит озлобленно и невпопад. — В сказках одно, а в жизни другое. За мешок украденного зерна по-прежнему сидит в тюрьмах половина крестьянской России...

— Царь не должен быть очень умным человеком, чтобы не вникать в разные жульничества, — рассуждает дядя Игнат, разрезая остывшую картофелину тупым ножом. Тонкая кожа липнет к тусклому лезвию. — От умного начальника может вред произойти, потому что в жизни все наоборот происходит. Зато у царя должен быть нюх на хороших советчиков.

Митя взглянул на Джона, набившего рот картошкой, отчего щеки дурака раздулись шарами в обе стороны, — разве такой поумнеет? Царь не может вылупиться из дурака, как цыпленок из яйца.

— У царя не должно быть никаких особенных заскоков, — объясняет Профессор, поправляя тонкими, со следами мазута, пальцами свой редкий белесый чуб, свесившийся набок, как у пионера. — Опаснее всего, братцы мои, царь верующий!..

Деревенский мыслитель вновь задумался, смахнул с подбородка налипшую былинку укропа.

— Бог, вера... где они? — недоуменно проворчал дядя Игнат. Голос его, вырвавшись наружу, норовит вновь схорониться в складки морщинистого лица. — Старухи наши зовут меня «безбожником», а сами молятся, как глупые, без всякого понятия... Бог, ребята, — это бедность. Вот перед нами Джон — беднейший человек. А что такое бедность, как не чепуха? Она есть главная невидимость для всего прочего света...

Выслушав старика, Профессор иронически усмехнулся, машинально пригладил свой хилый чуб.

— Ты, дед, ведешь речь о бедности как о некой надчеловеческой субстанции. А перед нами, — он ткнул очищенной от кожуры картофелиной в сторону Джона, — перед нами бедность вполне конкретная: ленивая и глупая, жрущая от пуза дешевый харч, целыми сутками спящая на теплой печке. Если рассуждать теологически, то нашему Джону все мировое бытие — хрен по деревне!

Митин отец как-то усмешливо и в то же время с укором взглянул на Профессора: опять развел антимионию!

— ...Воображение царственно! — продолжал с упоением Профессор, стараясь прижать грязным толстым ногтем скользкое, в желтой пленке семечко огурца. — Хотя и толку от него, от воображения, в реальных условиях очень мало, оно лишь отравляет сферу подсознания.

— Рассуждаешь ты умственно, запутанно, а сам не прочь подтырить комбикорму из колхоза! — подначил философа дядя Игнат.

— Ты, дед, не смешивай чистое мышление с грубой жизнью... — Профессор вяло взмахнул ладонью, огорчаясь очередным «непониманием масс». — Если бы не окружающий меня материализм, я несомненно был бы счастливым человеком!

На Джона в прошлом году действительно надели царскую корону. Не всамделишную, а картонную, обклеенную золотистой фольгой. Был в райцентре праздник — проводы русской зимы. Джон бродил в толпе, собирал конфетные фантики. Подъехала на площадь «печка» — грузовик, обитый картоном, с дымящей металлической трубой. А Емели нет, сбежал куда-то. Где дурак? Да вот же он!.. Пьяные парни подхватили Джона, затолкали на «печку» взамен сбежавшего артиста. Получите!..

Ведущему делать нечего, толпа гомонит, улюлюкает. Он как раз бутылку водки открыл, налил Джону стакан: «Скажи, что пьешь за свободную Россию!»

«За сябодную Лясию!» Идиот осушил стакан, и его из жалости взяла в автобус колхозная делегация, чтобы не замерз на обратном пути в Тужиловку.

ПРОФЕССОР

В деревне Тужиловка отзывы о Профессоре самые важнецкие: «Умная, книжки читал усякия! И трахтарист безотказнай!»

Старики и старухи Профессором не нахвалятся. И огород вспашет, и картошку посадит сеялкой, и выкопает ее по осени подъемником.

Лет пятнадцать назад, когда все было просто, доступно и дешево, Профессор, будучи молодым передовым трактористом, получил от обкома комсомола бесплатную путевку в Болгарию. Старожилы до сих пор помнят это событие: «Наш Прахвесар за границей бывал — вон ты куда гляди!»

Вернулся оттуда в коричневом кримпленовом костюме, в пестром галстукке, на голове смешная шляпа с перышком и розочками, в руке пузатый желтый чемодан, раздутый наподобие шара от разных сувениров. Не парень по деревне прошел — картинка! Правда, уже на следующий день он снова был в замасленной телогрейке, пьяный, небритый, чуть охрипший от бесконечных рассказов «про за границу». И хотя работал он в то время

по-ударному на вспашке зяби, его часто вызывали то в райком, то в обком на различные мероприятия и слеты сельской молодежи. Был один раз на комсомольском съезде в Москве, но не вместе с Митиной матерью, а в разные годы. Из одной деревни и даже из одного района передовиков на съезд посылать было нельзя. Сам Брежнев пожимал руки молодежной делегации, в том числе и Профессору. Местные старики, наблюдавшие этот «важнецкий» момент по телевизору, долго после ходили на дом к Профессору с кусками сала, завернутыми в газеты, с чекушками в кармане. И у каждого была своя «сурезная» просьба — все подобные пожелания по улучшению общей и личной жизни человечества Профессор записывал в большой блокнот с шикарными обложками, подаренный в качестве сувенира на съезде.

Профессору тогдашнее начальство обещало орден какой-то пожаловать, но передумало — молодой передовик имел слабость насчет выпить. И греха в том особого не было бы, если бы он не попадал иногда в вытрезвители — дважды в областной и один раз в московский. По причине расслабленности тела и языка он несколько раз не смог выступить с трибуны даже по заранее подготовленному тексту. А ведь мог бы, по словам знающих людей, стать со временем председателем колхоза, а оттуда в райком, в обком, в министерство — ступенька за ступенькой, только успевай шагать!

«Не нужны мне ордена! — бахвалился Профессор. — По натуре я работаю, хотя меня и волнуют иррациональные моменты жизни. Я не собираюсь всю жизнь сидеть в президиумах и принимать бессмысленные постановления. Моя задача — понять экзистенциальные моменты деревенской души. Мой кабинет — кабина трактора. Мой стол — вспаханное поле».

Профессор охотно рассказывал про Болгарию: «Я думал, что за граница — это вроде чужой планеты. А у них там земля, дома, горы. Реальность, короче. В организации жизни меньше бытовых колдобин. И народ поулыбчивей, чем у нас. Хлама вокруг не валяется, порядок... Но мне, ребята, гораздо больше по душе демиургический хаос моей супердиалектической родины...»

Митя слушал его и думал: да, он тоже любит Тужиловку. Сам не понимает, за что. Здесь дом, родители, Джон, о котором надо заботиться...

Профессор в Болгарии не видел ни одного дурака. Правда, одна студентка в Софии показалась ему в этом смысле подозрительной, она быстро шла вместе с подружками по тротуару, в прохладной тени высоких домов, и как-то странно хохотала. Нормальные люди так не смеются. К студенческой касте Профессор относится всегда с подозрением.

— Студенты — они все придурочные! — Профессор разгоняет ладонью едкий сигаретный дым. — И в Москве я с ними общался, и здесь, в колхозе, когда их на картошку автобусами пригоняли. Джон по сравнению с ними — тихое дитя. А студенты даже в колхозе не хотят вести себя культурно: хохочут, визжат, курят черт-те чего и выпить не дураки. Самогонку обожают, считают ее наипервейшим продуктом. На уме только развлечения и любовь в неэстетичной форме. Пьяные ихние пацаны дурней наших скотников — на день сто раз подерутся и помиряются. Вопят на все поле на своем полублатном жаргоне. Парни несут на руках бледных «кайфанутых» девчат. Другие девушки, которые покрепче, тащат в кусты за руки и за ноги «отрубившихся» парней. Я тоже выпиваю каждый день, но таким придурком меня никто не видел и не увидит. Я, братцы, разговаривать с ними пробовал — бесполезно, будто с другой планеты существа. Я им про Ницше и Бердяева, про нигилизм, про судьбы России, а они мне твердят одно и то же: мужик, найди самогонки! И это будущие филологи, инженеры человеческих душ. И мы еще задаем друг другу вопрос: почему развалилась страна? Да тут от одних только студентов сквозь землю провалилась, не говоря уже об академиках, дуривших нас «диалектическим материализмом», кото-

рого на самом деле нет! У меня свой ум есть! Мои речи в ЦК лишь чуточку подправляли... В прошлом году зажал я возле столовой одну студенточку, так она меня чуть сковородкой не искалечила. И такими словами ругалась, что все высокое, философское из моей головы надолго поввыскочило... Не ходи, брат Митрий, во студенты! Не порть свою внутреннюю самость! Я вот после семи классов двинул в трактористы, сохранив свой личный дух и принципы. Я и трактористом на весь Союз гремел...

— Где она теперь, твоя слава? — Отец насмешливо взглянул на Профессора. — Твоя философия в нашей Тужилровке тоже не пригодилась... Ешь картошку, Профессор, закусывай, а то Джон один весь чугунок опустошит. Вот ты пьешь, а не закусываешь — разве это матерьялизм?

ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЯДИ ИГНАТА

Профессор взял со стола бумажную затычку, припахивающую самогоном, развернул, прочел обрывки фраз, поморщился. Чтение развернутых затычек — любимое занятие всех мыслителей, связанных так или иначе с потреблением самогона. К тому же у Профессора почти не остается времени на чтение серьезных книг. А сейчас его внимание привлёк забавный заголовок: «Жизнь приняла характер затыкания дыр».

Он прочел его вслух, но присутствующие в хате никак на это не отреагировали, лишь Джон на секунду перестал жевать.

Неожиданно послышался тонкий и тихий звук, будто мышья запищала. Что такое? Да это дядя Игнат размокшел после третьей стопки.

— Ты чего, дед?

Но старик не спешит поведать свое горе. Отхлебнул полглотка из кружечки, прикрыл на миг мокрые красные ресницы, покачнулся на табурете. Открыл глаза — в них пустоцветная тоска.

— Высказывайся, Игнат Иваныч! — требует Профессор.

Теперь всем заметно, что и его тоже развозит. Он с нарочитым пренебрежением швыряет в кучу хвороста газетную затычку — ничего интересного в статье нет, обыкновенные советы по выживанию для одиноких пенсионеров. Профессор таращится на дядю Игната и пытается изобразить на своем узком бледном лице мнимый интерес, словно опять сидит в каком-нибудь солидном президиуме и слушает очередного докладчика.

— Лето помните какое было? — Голос старика снова дрожит.

— Какое?

— Дожди были?

— Были.

— Горох намокал?

— Намокал...

Трактористы кивают головами, серьезнеют лицами, припоминая летние неурядицы. Председатель Тарас Перфилович по старинке ходил по дворам, звал народ, который может держать косы, на поле. Стебли гороха размокли, комбайн их не брал. И народ, как всегда, откликнулся: старики вышли косить, старухи и дети ворошили подсыхающие валки. Многолюдно стало в поле, как в старинные времена, зазвенели под небом голоса!

— Так вот: Тарас Перхвилович за мной не зашел! — Дядя Игнат не может продохнуть от слез. — Даже в окошко не стукнул... Тогда я сам взял косу, отбил ее, поточил бруском. Пришел в поле, взял себе рядок, махнул раз-другой — и все... Руки отваливаются. Все наши старики косят, не оборачиваются, а меня будто уже и на свете нетути...

— Это, дедушка, экзистенциализм чистой воды! — толкует ему Профессор. — Твое подсознательное народное «я» хотело утвердить себя именно таким вот актом: посредством косьбы в составе бригады. Этот комплекс очень сильный и древний, с ним очень даже трудно расстаться. Короче,

дед, плюнь ты на эту сублимацию. Ты ведь на все руки мастер: и плотник, и печник, и самогонка у тебя самого высшего качества!

— Так я и побрел с косой в деревню один-одинешенек!

Старик потер ладонью круглый глянецвый нос, разгоревшийся, словно красная лампочка, вздохнул: беда не приходит одна. Была единственная живность в хозяйстве — козел по кличке Трофим, да и того по осени собаки загрызли. В ноябре как раз. Участковый по фамилии Гладкий, приезжавший расследовать происшествие, записал в протоколе, что в деревне Тужиловка «произошло погрызение коз бесхозными собаками».

Поголосив еще немного по умному Трофиму, дядя Игнат вновь приободрился, начал хвастать, что никто в нынешней деревне без него не обходится.

— Одних гробов сколько переделал! Старухи то и дело помирают... — кивнул головой на Джона, бабка которого умерла минувшим летом. — Гробы отстругиваю, что твои зеркала, приходи, кума, любоваться! А сколько работы по дому делаю! За мной, парень, только ходить будешь ради любопытства — и то уморишься. Правда, последнее время руки стали подводить — «не владают», окаянные. Мне умирать, товарищи, стыдно! — выкрикивает он тонким голоском. — Я лягу в гроб, а все будут смотреть на меня как на дурака. И кто мне тут делает гроб, ежели, кроме меня, в Тужилровке нет ни одного плотника?!

— Иван сделает. — Профессор кивает на Митиного отца, раскуривающего новую сигарету. — Он умеет. А доски я в колхозе украду. Да у тебя своих небось припасено на сто гробов вперед.

Митя смотрит на взрослых людей, вздыхает: большинство дел в деревне делается по пьянке и пьяными людьми. Пашутся огороды, строятся сараи, лепятся табуретки... Приходит с утра полусонный человек с позвякивающими инструментами, выпивает «оздоровительную» стопку и принимается за работу. Мир переполнен замутненными болезненными душами. Но Митя не хочет быть похожим на них. Он уже сейчас не такой.

ПЕРЦОВКА

— Скоро пенсию принесут! — мечтательно вздыхает дядя Игнат, забывая о мрачном. Митин отец тем не менее поглядывает на него с затаенным страхом. — Куплю вам, дети мои, канхветак, а себе — бутылочку перцовки! Самогонка надоела, окаянная, а перцовочку, голубушку, весь век бы пил с прино́хом.

И подкрепляет свои мечты парой глотков из пластмассовой чашки. Напоминает Профессору: ты, парень, часто в райцентр ходишь, в библиотеку, купи мне там в киоске перцовочки.

Профессор согласно и в то же время задумчиво кивает головой: в библиотеку позарез надо! Уже три недели туда не ходил — позор! Там, говорят, есть новые поступления книг...

При упоминании о книгах дядя Игнат вновь всхлипывает, оборачивает мокрое лицо к Мите, тонкие посиневшие губы дрожат:

— Вот помру, Митрей, заberi тогда мой плотницкий стру́мент! — произносит он медленно свое завещание и начинает перечислять, какие у него замечательные долота, рубанки, шерхебели, фуганки и полфуганки. Лезвия из старинной стали, такой уж теперь не варят. Солидолом смазаны, без единой ржавчинки, наточенные...

Джон, наевшись, грузно вылезает из-за стола. Неуклюже, словно медведь, забирается на печку.

Митя собирается кипятить чайник. Вода в ведре, на лавке, покрылась сверху тонким слоем льда — Митя проламывает его черенком ложки. Вода выплескивается поверх ледяной, в седых трещинах корки, растекается маслянистой лужицей. Затем берет со стола все ту же единственную пахну-

щую свежей самогонкой пластмассовую кружечку, споласкивает ее, начерпывает в закопченный чайник воду. Вместе с водой в металлическое нутро падают звонкие льдинки, весело скрежещут, звонко ломаются, поддаваясь напору раскрасневшейся Митиной ладони. Вода внутри чайника темная, переливается холодными искрами.

Митя ставит чайник на таган, подсовывает под его закопченные бока свежие щепки. Рядом, на гвоздиках, вбитых в бревенчатую стену, висят пучки сухого зверобоя и чабреца — еще покойная бабка насобирила. Пересохшие лепестки осыпаются при малейшем к ним прикосновении, с тихим стуком пырсают по расстеленной на полу газете. Цветки чабреца давно уже не синие, а серые, пепельного оттенка. Но если сухой зверобой пахнет отдаленно-летне, со сладкой приглушенностью, забытым каким-то здешним лугом, то чабрец все такой же душистый, даже стал еще духмянее, приторнее, ухитрившись сохранить в тончайших своих веточках весь летний зной.

А вот и чайник забулькал, закипел — Митя осторожно, обжигая ладонь паром, пропихивает в отверстие чайника хрусткий пучок травы. Чаберный дух идет по чулану, выползает в комнату. Дядя Игнат припоминающе нюхает своим розовым помидорным носом, озирается, но ничего не говорит.

Профессор, затягиваясь сигаретным дымом, рассуждает на выдохе о «конвергенции» человеческой психики. Глаза его устремлены в провисший потолок, оклеенный пожелтевшими газетами. Пьяные губы расплываются неуправляемой детской улыбочкой. Он пытается растолковать разницу между «глупостью вообще» и «глупостью космического масштаба».

Джон, забавно улыбаясь, показывает на него толстым обслюнявленным пальцем:

— Пляфессаль! Халесий, умный!

Механизатор-философ, сбившись с мысли, грозит идиоту мосластым кулаком.

Дурак переводит палец на этажерку, верхняя полка которой застелена драной кружевной салфеткой, поверх которой стоит ржавый будильник: длинь-длиннь! Профессор спяну обещает купить Джону электронные часы, в которых бегают, как живые, цифирьки и пищат тонкие китайские голоса.

«УШЛА!..»

— Натрескался? — Митя смотрит на Джона с улыбкой и одновременно с жалостью. — На, пей чай. Потом еще кашу сварю.

— Сахаль? — вопит Джон, вопросительно тыча пальцем в стеклянную банку, наполненную чаем.

— Положил... — успокаивает его Митя. — Четыре больших ложки.

Джон хватает банку, обжигаясь и обливаясь, с хлюпом пьет из нее. Голова его то и дело отдергивается назад. Вокруг рта налипают чешуйки заварки. Дурак прислушивается к разговорам, довольно пригыгыкивает.

Каждую субботу Митя водит Джона в баню при колхозной мастерской. Мужикам потеха — то запихнут Джона в парную, на верхнюю полку, где от пара дышать нечем, то брызгают на него ледяной водой. Один раз ради потехи выбросили голого и распаренного в снежный сугроб, чтобы поглядеть, как идиот орет и барахтается. Зато дурачок очень любит душ — встанет под теплые, припахивающие соляровкой струи и блаженно отфыркивается. Лицо с закрытыми глазами обмывается потоками воды. Хоть час будет так стоять не шелохнувшись, пока его не вытолкнет оттуда какой-нибудь намыленный с ног до головы тракторист.

— Вот проведут к нам в Тужилровку газ, будем мыться каждый день! — весело восклицает Профессор. — Да здравствует прогресс!

— Пляглессь... — вторит ему с печки Джон и неожиданно всхлипывает. Сдавленный писк переходит в утробный рев. Опять, наверное, вспо-

мнил свою бабу. Всхлипывания перемежаются одним и тем же словом: «Усла, усла!..»

— Она вернется! — успокаивает дурня Митя. Голос у него, как всегда, серьезный и твердый.

Глаза у Митиного отца, взглянувшего на идиота, хоть и пьяные, но будто стальные. Джон под его взглядом сразу съеживается, перестает хныкать.

— Баба плидет, сахалок даст... — добарматывают пухлые губы.

Окна в инее слегка подтаяли, заблестел золотой от уличного солнца кружочек стекла. Митя трогает иголки инея пальцем, и они вмиг тают, обжигая кожу влажным холодом.

ПРИЗРАКИ

— Да, она ушла... — бормочет Профессор. — Обыкновенная чужая бабка, каких еще мильен осталось, но почему же мне ее так объективно жалко? Вот умерла Джонова хлопотливая бабка, и нарушился онтологический стержень деревни Тужиловка, началась какая-то новая, непонятная эпоха. Вместе с бабкой навсегда ушли в прошлое времена первых колхозов, пятилеток, трудповинностей, голодовок... Кто ты была, бабка?

Профессор притопнул по земляному полу добротным серым валенком — блеснули на войлоке капли растаявшего снега. Резиновые галоши в налипших крошках мякины, в радужных потеках мазута отражали тусклую электрическую лампочку, горящую под потолком. Тужилковский мыслитель рассуждал о русских соломенных крышах и земляных полах. Земляные льдистые бугорки шуршали под подошвами его галош, создавая своеобразный звуковой фон для монолога. Палец философа перемещался в тесном пространстве избушки, останавливаясь на ухмыляющейся физиономии Джона: вот, товарищи, последняя уцелевшая маска крепостничества, которое ничего не хочет и застыло само в себе, перекипая внутри себя брожением первобытной плоти... Корявые и в то же время гибкие ладони взмеси душный комнатный воздух: каждая такая уцелевшая избушка является бастионом темноты и мрака, оплотом нищеты и омрачения свободной мысли в самом ее зародыше... А там... — подрагивающий нервный палец тычется в заиндевелую бревенчатую стену, осыпая на пол крошки мерзлой глины. — Там, под покровом снега, лежат фантомы огромных, плохо возделанных полей.

— А кто пахал эти поля? — иронически улыбается. — Да я же, мастер плуга по прозвищу Профессор. Смейтесь, смейтесь, медлительные люди черноземных пространств... Вам не дано заглянуть в лабиринты моей крестьянско-философской души!

— Помолчал бы ты, приятель, — недовольно покосился на него отец. — Каждый день слышим от тебя одно и то же. Жизнь совсем другая сделалась, а ты нам про крепостное право мозги вправляешь. Ехал бы себе на какой-нибудь московский съезд!

— Не приглашают, — вздохнул Профессор. — Я бы поехал. Хоть и почитываю прессу, однако по живой столичной суете соскучился. В те времена был социализм, а я считался молодым ударником-механизатором, комсомольцем. Я умел выступить, мог сказать весомое общесоюзное слово! А теперь я личность слишком индивидуальная, нужная лишь местным старикам в качестве их пахаря и кормильца... Так уж она устроена, эта Москва, что ей требуется какой-то особенный представитель!

И Профессор заговорил о полете Гагарина, о двенадцатирублевых пенсиях колхозников, которые ввел Хрущев. Он, Хрущев, впервые в истории России начал выдавать паспорта крестьянам, и в этом его громадная заслуга. И было это в начале тех самых знаменитых шестидесятых...

Отец, слушая Профессора, лишь вздыхал, дядя Игнат растерянно разводил неуклюжими заклешневелыми ладонями, которые «не владают».

— Все, отмучились покойнички! — всхлипнул старик, растирая по морщинистой щеке мутную слезу. — Они ведь, бедолаги, ничего не знали, кроме труда. Труд — путь ко гробу, но почему же я так тоскую без всяческой работы? Руки мои стали ручонками и совсем ничего не могут делать... Я сто, а может, и двести гробов смастерил — но мне-то кто спроворит?

— Не горюй, дед, в райцентре купим, в комхозе, — успокоил дядю Игната отец. — Там их по десятку в день выстругивают. По триста рублей за штуку.

— Теперь небось уже за пятьсот, — уточнил Профессор. — Цены ведь на все растут.

На дядю Игната эти факты не произвели никакого впечатления.

— Так, как я стругал-лакировал, никто уже стараться не будет, — проворчал он.

Профессор задумчиво теребил чуб над вспотевшим бледным лбом, перечеркнутым полоской мазута. Вот опять разинул рот, чуть прищулив глаза и взмахивая рукой — словно находился на трибуне всесоюзного съезда.

Отец отодвинул кувырную пластмассовую кружечку, кашлянул в кулак, кивнул в сторону Джона:

— Тоже небось скоро помрет. Дураки долго не живут, хоть с виду крепкие. Без бабки тоскует. А тоска — первый признак могилы. Внутренняя стрелка дрожит — значит, хана человеку!

— Отчего он помрет? — Митя выходит из чулана, в руках у него пакет с манной крупой. — Ведь мы с дядей Игнатом за ним ухаживаем, и трактористы, которые здесь бывают, тоже подкармливают. На днях транзисторный приемник сюда принесу, пусть себе крутит, забавляется — надо лишь батарейки купить.

Отец как-то странно взглянул на Митю, усталые глаза его вмиг сделались злыми и белесыми:

— Я ведь, сынок, тоже сирота! И вовсе не потому, что родители мои давно померли... просто здесь, под сердцем, что-то давит, колет, ворочается. Потому и злость души — от гвоздика! Теперь точно знаю: я проглотил тот самый Андрюшин гвоздик...

И отец рассказал конец истории про быка Андрюшу. В тот день, сдав быка на мясокомбинат, отец заглянул ради интереса в разделочный цех. По конвейеру шли подвешенные парящие туши коров и быков. По изуродованной ноге отец узнал Андрюшу.

«Вот он!» — невольно воскликнул отец.

Рабочий, разделяющий тушу, вынул бычье сердце, воздел на руках, словно чашу, плещущую кровью через края: оно было большое, раздутое от неведомой болезни. Рабочий дал поддержать сердце отцу: «На!..» — вроде бы шуткой.

Но отец машинально и с какой-то небывалой готовностью принял еще живой орган, глядя как замороженный на крупные, жемчужного оттенка сосуды, обвившие алую мышцу со всех сторон. Тепло бычьего сердца, как от печки, мгновенно наполняло ладони. Отец смотрелся в него как в шарообразное, красного оттенка зеркало и видел в нем свое искаженное небритое лицо.

«Больное сердечко-то... — сказал рабочий. — Клади его на стол, посмотрим, чего там у него в нутрах».

Отец плюхнул сердце на деревянный, в розовых потеках стол. Под лезвием огромного разделочного ножа сердце напоследок дернулось, словно от удара электротоком, развалилось на две половинки, хлюпнув почерневшими стуктами крови. Вдруг лезвие ножа визгнуло о металлический предмет: гвоздь! Крошечный, вроде сапожного, чуть искривленный, с острым кончиком, весь отполированный потоками бычьей крови до серебристого сияния. Рабочий растолковал, что такая находка не первая: ост-

рый предмет может проткнуть стенку желудка и вместе с потоком крови через вену добраться до сердца, застряв в работающих клапанах.

Отец решил взять тот гвоздик на память и, пачкая ладонь высыхающей крупитчатой кровью, завернул гвоздик в бумажку, положил в карман. На обратном пути остановились в Лебедяни, купили с шофером на двоих бутылку водки — помянуть Андриюшу. Хотя и вредный был, гад, но помянуть его стоило. Но с того дня у отца стало ежедневно болеть сердце. Поискал в карманах гвоздик — нету! Бумажка цела, а гвоздик пропал. А еще в кармане лежал кусок сыра, которым и закусили. Запросто ведь можно проглотить гвоздик с куском скользкого, размякшего в кармане сыра. А сердце болит с каждым днем все нестерпимее — ноет, жжет, вся грудь от него будто огнем полыхает...

Он вздохнул, рука сама протянулась вперед, взяла кружечку: как выпьет, сразу легчает!

— Вот так мы их всех!.. — Отец ударил кулаком по столу. Крякнул, перевел дух. В распах телегрейки виднелся свитер в полоску. Долгое время он его берег, а теперь стал носить на работу. Ворот свитера потемнел, залоснился.

Дядя Игнат пододвинул кружечку, плеснул себе немного из знакомой бутылки, поднес к обиженно искривленному рту, окруженному пучками седой щетины:

— Тах-та оно и есть — все мы сироты. Власть прежняя дюже за нами смотрела, чтоб мы работали с утра до ночи, а таперя уж никому не нужны. Хотя землю пашите, хоть издыхайтя — дело вашенское. Пензию платить — и то слава Богу. Я, ребята, грешный человек — Богу никогда не молился. И над старухами певчими подсмеивался. Сколько я энтих старух перехоронил — не сосчитать...

— Ты неправильно концептуализируешь проблему смерти, дед! — перебил старика Профессор. — Я знаю, что умру в родной деревне. Но Родина вообще, как субстанция, как внеличностная категория, — где она? Если она заключена во мне... — Профессор шлепнул себя растопыренной ладонью в грудь, по засаленной телегрейке, вязко чмокнувшей от его прикосновения, — то почему я ощущаю себя всемирным, космического масштаба, сиротой? Я, как и дядя Игнат, не верю в Бога, но где-то должен находиться Отец первичных материальных атомов, из которых и создан особый мозг?!

Отец насмешливо смотрел на своего коллегу, но думал о чем-то своем.

Дядя Игнат ничего не понял про «атомы», о которых упомянул Профессор. «Атом» — это бомба. Даже старухи боятся «бонбав», с войны ими напуганы.

— Да! — воскликнул пьяный Профессор, взмахнув рукой, словно опять стоял на трибуне и приветствовал многотысячную аудиторию. Голос его сделался металлически-звонким. — Отгремели съезды, слеты, совещания. И вот теперь где нахожусь я, некогда всеоюзно известный человек? В какой субстанции оказался? Зачем этот замшелый домик, продолжающий существовать на расстоянии четырехсот километров от столицы? Для чего мы — философы чуланних стихий, певцы несжатых полос, творцы некачественной вспашки? Что же в нас есть такое окаянное, ежели от нас, как от чертей, шарахаются рационалисты всех времен... — Профессор почти рыдал, в голосе его проскальзывал давно исчезнувший отроческий подвизг. Окурок дымящей сигареты обжигал пальцы, но Профессор терпел и, дико кругля глаза, всматривался в холмы и впадины земляного пола, тронутого седой изморозью, постепенно тающей и превращающейся в сальную пленку. — Я вижу зал, наполненный аплодирующими призраками! А мне остается лишь овражная тоска полей...

Сигарета прижгла мякоть пальцев, и Профессор сжал розовый сигаретный огонек всей щепотью: кожа привычно дымнулась в межмозольном пространстве.

Митя подбросил тонких дровишек под таган, поставил на него другой чугунок, до половины наполненный молоком, — для манной каши.

Джон сидел на краю печки, болтая свешенными ногами. Белесые глаза его уставились вверх, за пределы желтогазетного потолка.

В комнате наступило молчание, лишь в печке потрескивали дрова.

ПАРТИЕЦ

У трезвого Джона взгляд обычно направлен в никуда. Зато у пьяного зрачки будто проясняются, оживленно блестят. И в разговоре тогда он еще сильнее мычит, ни одного слова не понять. Но вот он, словно дворový пес, вновь насторожился: топот валенок. Кто-то торопливо и небрежно хлюстает по ним березовым веником. Шелестят по мерзлому войлоку голые прутья. Профессор перестает жевать горбушку хлеба, нервно сглатывает.

Дверь, поддавшись после третьего рывка, с морозным писком распаивается, и в клубах завитушчатого пара возникает тощий низкорослый мужичок, карлик даже по сравнению с Митей, а оглоблевидный Профессор рядом с ним и вовсе каланча. На нем замызганная фуфайка, ватная шапчонка, из-под которой пушистой волной выбивается светлый завиток чуба, нахленного еще с юных стилижистых времен. Скотник по прозвищу Батрак. Сам не из местных, хотя живет в Тужиловке уже лет пятнадцать. На ногах огромные, не по росту, серые валенки в бурых пятнах коровьего навоза. Есть у него еще два прозвища: Беспачпортный и Беженец, хотя ниоткуда он не убежал. Но паспорта у него действительно нет. Ни одно из прозвищ Батраку не нравится. Он предпочитает, чтобы его называли настоящим именем, которое значится в утерянном паспорте: Роберт!

Работу свою «говночистную» презирает всей душой, старается от нее увильнуть. Доярки его не любят, всячески матерят.

«Пристрял» Батрак, по выражению тужиловцев, к местной самогонщице Фекле, которая поселила его в закуток, где хранятся порожние пахнущие брагой емкости.

— Дверь получше прикрывай — не лето! — Отец сердито смотрит на вошедшего. Батрак, поддернув дверь, стеснительно проходит к лавке, присаживается на краешек. — Так его и тянет на запах на самогонный, черта приبلудного...

Батрак оправдывается: а что еще делать сегодня? Навоз от коров отчищен, силос раздали, транспортеры исправны, скотники пока еще трезвые. Думаящему политическому человеку в деревне Тужиловка некуда больше и податься...

— Ты нам тут свою политику с агитацией не разводи! — Отец хмуро постукивает по столешнице. — Мы этой бодяги уже наслушались по телику.

Скотник с напускным смирением снимает шапку, приглаживает взлохмаченные, чуть вьющиеся волосы. На губах то ли улыбка, то ли гримаса презрения. Злой взгляд маленьких блескучих глаз устремлен в новое, совсем уже близкое «стальное» будущее. Придет время для наведения «порядка» — и тогда без Батрака не обойтись. С начала перестройки Батрак успел побывать членом разных партий, которые давно развалились или сменили название. Одних членских билетов у него, наверное, с дюжину. Большинство из них с фотографиями и печатами. А в настоящее время Батрак является активным членом Самой Свободной партии, сокращенно ССП. Во внутреннем кармане телогрейки, застегнутом на булавку, хранится новенький партбилет.

Профессор, усмехнувшись, наполняет чашечку. Сквозь тонкую грязную пластмассу просвечивает маслянистый уровень самогонки.

— На, пей, активист!..

Потирая длинные озябшие пальцы, похожие на макароны, Батрак опорожняет знакомую посудину. Выпил, сморщился, цапнул ломтик огурца, нашарил в чугуне еще теплую картофелину, начал очищать ее от кожуры.

Игнат Иваныч, очнувшись от дремоты, тут же подсовывает гостю коварный вопрос: а как ваша партия постановила насчет продажи колхозной земли?

— Мы передадим ее в частные руки, и тогда на полях не будет расти бурьян.

— А что же тогда на ней будет расти? — с интересом тарашится на активиста отец. Дымит зажатая меж пальцев, не донесенная до рта сигарета.

— Что-нибудь да вырастет... — Батрак поперхивается картошкой, голос его звучит полузадушенно. — Не будет больше воровских колхозов. И дураков тоже не будет!.. — Он указывает пальцем на Джона, ковыряющего в носу.

Митя перестает помешивать кашу: как же так? Ничего и никого здесь не будет?..

Дядя Игнат, подняв указательный палец, пытается втолковать Батраку, что землей, чья бы она ни была, торговать грех.

Отец с тупым озлоблением смотрит на Батрака: ты же, чудило, сам ни разу землю лопатой не копнул! Тебе ли, политику вшивому, рассуждать о том, кому она должна принадлежать и кто должен на ней трудиться? Недаром Фекла колошматит тебя чем ни попадя...

Батрак кивает на Митю, на Джона: вот-де молодая поросль. У них такие возможности, что каждый при желании может стать новым русским барином. Или по крайней мере фермером.

— Дзон хочет быть плынцессой! — объявляет дурак своим крякающим голосом. Совсем недавно Митя прочел ему сказку про красивую принцессу. Джон вообразил почему-то, что он тоже «плынцесса», и видит в своем идиотском воображении вместо хаты дворец, в котором полы очень гладкие, как из «ледя».

Зиму дурак не любит. Зато летом «холосо». Небо — «отец», земля — «мать». Летом Джон ходит всегда босиком — так он чувствует свою «матуску». Она прохладная, а когда дождик — «отец» пришел. «Мать» — мягкая. По грязи подошвы шлеп-шлеп. «Мать» чавкает, разговаривает с больным сыночком.

На печке тепло, как летом. Джон показывает пальцем на Батрака, профиль которого напоминает силуэт хищной и в то же время крепко общипанной птицы:

— Батляк! Плисошь! Пальтия! Писяшь Дзона пальтию!

Действительно, Батрак заботится о расширении рядов ССП в подведомственной ему ячейке. Он заполнил анкеты на всех жителей деревни Тужиловка, не спрашивая у них согласия на вступление в партию. Главное — вовремя отчитаться о росте партийных рядов. За это будет премия. Данные пойдут в район, затем в область, оттуда уже в Москву. Партийный механизм четкий, не терпит промедления. Областной комитет неоднократно поощрял Батрака денежными премиями.

Летом в жаркие дни Джон плавает в речке. Плавать сам умеет, никто не учил. Как зверю от рождения дано: зашел в воду и поплыл. Вода — «мачеха». Она хотя и держит, но качает. Не убаюкивает, но тревожит, плохо ласкает. Заласкает, забаякает, да и возьмет к себе на дно.

— Балин! — повторяет дурень услышанное слово. Оно по звучанию напоминает слово «баранина». Летом свадьба была, Профессор неожиданно женился на какой-то странной девице, привезенной из города, которая изменила ему прямо в день свадьбы, когда он пьяный спал в сенях на рас-

кладушке во всем своем жениховском параде. А Джон сидел под раскидистой грушей и ел баранину с косточки.

Через неделю молодая жена от Профессора уехала обратно в город, в какое-то свое общежитие. Бабенка, говорят, спилась настолько, что даже проституцией зарабатывать не может. Но и деревенская жизнь ей не понравилась. Ночью в день свадьбы Профессор, очухавшись, нашел невесту в лесополосе, где она развлекалась с парнями. Отколотил ее слегка и уже в понедельник отвел спозаранку на колхозную ферму: будешь дояркой! Молодая жена быстренько осмотрелась, вернулась домой, вмазала Профессору по роже и собрала свои вещи. В тот же день она уехала.

Над Профессором еще долго подшучивали по поводу его неудачной женитьбы, а тот все пытался растолковать тужиловцам «диалектические противоречия», возникшие между ним и женой.

— По барину говядина, по говядине вилка! — припоминает дядя Игнат старинную поговорку.

Батрак, сделавшись с недавних пор первым секретарем Тужиловской партиячки, крепко заважничал. В голосе его все чаще прорезаются властные нотки. Всем желающим он показывает свой партбилет в красной обложке, припахивающей коровьим навозом. Внутри билета фотография: узкое худое лицо, маленький, похожий на клюв курицы нос. Глаза будто из ямок глядят.

— Да выкинь ты свои бумаги! — сердает отец. — Если опять будешь талдычить про свою «распросамую» партию — ни грамма не поднесу!..

«РАССТРЕЛЬНЫЙ» СПИСОК

Джон достает из печного кутка замызганные игральные карты, перебирает «тятюшки». Губы его от тепла и сытости разбрюзают, лицо становится еще более пухлым, даже отечным.

Митин отец курит, низко наклонив голову. Подолгу не выдыхает дым, позволяя ему отстояться в легких.

Дядя Игнат толкует Батраку о своей незаменимости — одних гробов сколько переделал! Все советское поколение тужиловцев похоронил. А шкафчики, полки, этажерки!.. Дома ставил, сараи. Все крылечки-веранды в Тужиловке — его работа. Резные наличники по заказу...

— Примитивные крестьянские украшения! — сплевывает Батрак. — Колхозные рабы в деревянной нищей стране. Вот уже в третьем тысячелетии живем, а вы какими были, такими и остались.

Профессор дремлет, облокотившись на стол, подперев ладонями бледные, тронутые редкой щетиной щеки, одна из которых испачкана мазутом, а другая — серым налетом комбикорма, полмешка которого они с отцом Мити загнали сегодня с утра одной тужиловской бабке. Подрагивают длинные пальцы Профессора с темными от ушибов ногтями.

Митя сдвигает с огня чугунок с кашей. Угольки в печи переливаются малиновым жаром. Каша должна немного «вздрогнуть», затем в нее надо положить кусочек сливочного масла, отковырнув его от большого сморщенного куска, хранящегося в сених, — Профессор привез откуда-то. Масло просроченное, слегка горчит, но есть его вполне можно.

Батрак раскладывает на коленях свою заветную красную папочку, которую он повсюду таскает с собой, а на ночь кладет под подушку. Нервно теребит разлохмаченные тесемки, углубляясь в изучение важных документов. Сощурились редкие рыжие ресницы, часто моргают. Тонкогубый рот хищно приоткрылся в загадочной полуулыбке, готовой мгновенно превратиться в гримасу презрения.

— А мне все равно, чья она, земля! — Это уже отец воскликнул чуть приглушенным голосом. — Я всю жизнь работал на ней и буду работать,

пока не сдохну, пока меня не закопают в нее... При социализме сидел три с половиной года за тележку украденного зерна, а «новый барин», может, убьет за оброненный колосок... Нет, ребята, не нужна мне эта проклятая земля — ни барская, ни общинная, ни прочая. Чья бы она ни была, задача у нее одна — вытягивать жилы из таких, как я...

— Мне и своего огорода хватает, — бубнит Игнат Иванович. — Сорок соток! Куды там ишшо? Лишнюю картошку сдаю или меняю на сахар. Дай Бог здоровья Прахвессару, кормильцу нашему, — он помогает пахать, сеять, убирать...

Отец толкает в бок Профессора: ты не спи тут. Про тебя небось разговор идет!

Молодой тракторист приоткрывает мутные, как у цыпленка, глаза.

— Щас!.. — бормочет он невнятно. — Я потом...

На обложке красной батраковской папки, если приглядеться, можно увидеть старую надпись, замазанную тушью: «Ударники коммунистического труда». Батрак подобрал ее в разграбленном красном уголке на ферме и приспособил для своих личных партийных нужд. Батраку стало жарко, он снял замызганную, в навозе фуфайчку, положил ее рядом с собой на лавку.

— Что же ваша самая-самая партия не сошьет вам, активистам, приличную одежонку? — Отец насмешливо глядит на Батрака, на что тот с полной серьезностью разъясняет: эскизы верхней одежды и костюмов заказаны знаменитым московским модельерам.

В тонком, в разнообразных пятнах свитерке Батрак выглядит совсем тощим. Под глазом синяк — Фекла вчера достала. Узкие, как проволока, губы активиста презрительно поджаты. Он медленно шевелит ими, словно во рту у него жвачка. Хрящеватый бескровный нос выгнулся набок и закорючился, как у болотной ведьмы. Несмотря на глубоко посаженные глаза, особой хитрости в них не разглядеть — одно лишь злобное упрямство, обида на всех и вся, в том числе и на «родную партию», которая стала придерживать выплату ежемесячных премий. И рост рядов кончился, потому что список жителей деревни Тужиловка иссяк. Все население деревни уместилось на трех тетрадных «расстрельных» листках, которые Митя нашел на полу, когда пьяный Батрак спал на топчане за печкой. В списке не попал Игнат Иванович, который по утрам частенько подлечивает Батрака похмельной стопочкой. Напрасно Батрак уговаривал старика вступить в Самую Справедливую партию. «Куды мне? — голосил старик. — Я даже горох косить в колхозе не годился...»

Вот и сейчас его морщинистое красное лицо, облепленное седой, враспырку щетиной, медленно поворачивается к Батраку. Дрожащий палец указывает на темный, с алым отливом синяк: баба угостила?

Батрак угрюмо кивает: она, сволочь! Наступит час — лично ее расстреляю.

— Угомонися... — Дядя Игнат выливает остатки самогона в кружечку, пододвигает ее Батраку. Тот выпивает, однако вместо того, чтобы размякнуть и замолчать, приходит во внезапное неистовство, ударяет костлявым кулачком по столу: я вызову группу партийных боевиков из самой Москвы! Они быстро наведут порядок в этой грязной Тужилровке! Он, Батрак, не позволит деревенским олухам издеваться над собой и в своем лице над авторитетом партии. По какому праву его заставляют чистить навоз? Почему сожительница Фекла дает ему самую «последнюю» — мутную и некрепкую — самогонку? Почему жители деревни Тужиловка равнодушны к программным установкам партии? Всех к стенке, всех!..

— А в лоб не хочешь? — Отец угрожающе смотрит на разбушевавшегося партийца. По мнению отца, Батрак, конечно, идиот, глупее Джона, но и таких тоже надо ставить на место.

Батрак вмиг съеживается. Но в глубоких глазницах, как в ключичных ямках, мерцает с трудом сдерживаемая ненависть, купающаяся в прозрачных детских слезах.

Профессор открыл глаза, зевнул:

— Слушай, Батрак, еще год назад ты называл себя демократом, по выходным дням наряжался в казацкие шаровары с лампасами, нагайкой размахивал, в других партиях состоял... А теперь какая-то «самая справедливая и свободная», и каждое твое второе слово — «расстрел»? Либо ты политический перевертыш?

Батрак, не скрывая раздражения, оборачивает к Профессору узкое косящее лицо, наливающееся вдохновенной синевой, толкует о «выборочности и пользе» расстрелов. Глазенки его просохли, снова посверкивают тревожно и льдисто.

СОН

— Кальты! — гнусавит Джон, тыча Мите под нос разлохмаченные картонки. — Дзон хочет иглять в дуляка.

Митя со вздохом забирает у него карты, начинает их тасовать. Манная каша сдвинута на загнетку, остывает. В дурака так в дурака! Идиот не умеет играть ни в какую игру, карты швыряет как попало на засаленную мешковину. Король у него «дедуська», валет — «дядя», дама — «клясивая тетенька».

Под разговоры трактористов, под шелест бумаг, перебираемых Батраком, Митя начинает дремать на теплых печных кирпичках — карты валяются у него из рук, порхают, словно бабочки на лугу.

Во сне он видит Джона, похожего на сказочного Емелю, бредущего с порожним ведром к реке. Наклоняется, зачерпывает из черной проруби, окруженной ватным снегом. Дурак вдруг отпрянул от ведра, выставил вперед ладони, словно загоразживается, — рыбина в ведре плеснула, шука волшебная! И говорит она голосом отца: заткнись, партия несчастная!

Джон голосом Батрака лепечет о каком-то плюрализме.

Голос дяди Игната рокочет с хмурых зимних небес: я, хлопцы, отродясь не разбавляю самогонку водой!

«Бабка в шуку превратилась», — говорит во сне поумневший Емеля-Джон.

— Митя заснул, — доносится голос настоящего дурака. А тот, который во сне, гладит шуку по маленькой, в серых пятнышках голове: баба! баба!

В печке потрескивают прогоревшие пеньки. Даже во сне Митя завидует Джону, которому по утрам не надо ходить в школу. «Ты Емеля?» — спрашивает Митя могучего добра молодца в расшитом золотом кафтане, в меховой дорогой шапке с бриллиантом во лбу. Мгновенно царевичем сделался!

Джон снисходительно улыбается, кивает медленно и величаво. Смотрит с улыбкой вдаль, а Митю словно и не замечает.

Сон не сон, а в прошлом году на речке заезжие рыбаки поймали всамделишную шуку. Тут Джон объявился на берегу. Рыбаки обрадовались и такому единственному зрителю: посмотри, малый, на рыбину!

Дурак подошел, разинув от любопытства рот, решил потрогать шуку, а та возьми да и цапни его за палец. Идиот заорал благим матом, побежал, ковыляя, прочь, заспотыкался на речной гальке, упал. Орет, машет руками, а шука мотается на пальце, кровь алыми брызгами.

Начали искать плоскогубцы. Нашли их в мотоциклетной коляске, поймали совсем обезумевшего парня, скрутили и только тогда уже с помощью плоскогубцев расцепили пасть хищницы, все руки поободрали о встопорщенный плавник. Тут же дураку стакан водки накатили, чтобы не вопил. Замотали палец тряпицей — до свадьбы заживет!

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ В ДЕРЕВНЕ ТУЖИЛОВКА

— Хороша ты, русская мать-печка! — восклицает дядя Игнат восторженно-угасающим голосом. — В любые времена согреет сирого да убогого.

Профессор со смехом припоминал, как Джон на прошлой неделе отказался пить денатурат: «Пляхая, вонючая цамагоня!»

Батрак перестает ворошить бумажки, вставляя фразу насчет того, что денатурат полезен для желудка. Жалуется на Феклу, которая дает на ужин неразогретую вчерашнюю картошку, да еще с приговором нехорошим. Капуста у нее в миске перекислая, пузырями, а свежую жалко из погреба достать. Себе колбасу покупает на самогонные деньги — хоть бы раз колясочку отрезала... Но вот, подождите, сменится власть в Тужилровке!.. Маленький белесый кулачок рассекает дымный воздух.

Профессор фантазирует: наступит лето, посадим Джона в поезд, и пусть себе катит в Москву. По телевизору репортаж сделают: идиот в столице!

— Не шути так! — оборачивается отец к Профессору. — Он, худо-бедно, благодаря своему (и твоему тоже!) дурацкому счастью спас тебя от холодной смерти.

Профессор смущенно кашляет в кулак: а ведь и правда. Экзистенциальные моменты, в том числе и ощущение добра, к сожалению, легко забываются.

Батрак трясет перед лицом дяди Игната разлохмаченными листками. Это списки прежних, давно развалившихся партий. Во многих из них Батрак успел состоять полноценным членом. А вдруг что-то переменится в обществе, верх возьмет одна из партий, а списочки-то вот они, господотоварищи!..

— Философия пока еще не объяснила причину заворачивания отдельных человеческих экземпляров назад, к первобытности, — вздыхает Профессор. От дыма глаза его прищурены, чуть слезятся и в упор смотрят на Батрака.

— Чего тут объяснять? — возмущенно воскликнул отец. — Рвется к власти всякая шпана, а народ страдает.

Батрак втягивает голову в плечи, но тем не менее продолжает выкладывать на стол желтые листки с расплывчатым серым текстом: программа и устав ССП.

— Да пошел ты со своей программой... — посылает его Профессор. — Мне старика Гегеля и того перечитать некогда...

Батрак обиженно шмыгает хрящеватым носом, губы шевелятся однообразным жвачечным движением. Все смотрят на его лицо. Есть какая-то замороженность в этих однообразных движениях челюсти.

— Всех за сарай, к плетню! Всех!.. — Звук этот, вылетающий из приоткрытых губ, почти не слышен. Да никто и не хочет его слышать.

ФЕКЛА

— Капризная эта штукавина самогонка! — Профессор с огорчением приподнимает за горлышко порожнюю бутылку. — Хитрая, можно сказать, субстанция: всегда кончается в самый неподходящий момент...

Тракторист многозначительно смотрит на дядю Игната, подмигивает: принес бы ты, старик, еще одну! А я уж тебе ячменю материалистическим образом мешок-другой привезу на следующей неделе. Курам будешь подсыпать. Куры яичек снесут: сам съешь, сироту угостишь...

Дядя Игнат делает вид, что не слышит намека, гнет свое: никогда мы тут, в Тужилровке, никого не признавали — ни бар, ни попов. Жили сами по себе при всех строях. Ни урядника не боялись, ни райкома. Делали вид, что подчиняемся, а жизнь шла по своему пути. Самогонка «сама текет», а она и есть власть деревенская в жидком виде... Пойду, что ли, принесу вам еще гостинчика!..

Старик пытается встать, но не получается. Ослаб, не доживет до весны. И снова мутные торопливые слезы бегут по колдобистым щекам: колхозный горох не смог укусить. Тарас Перфилич подошел к нему на край поля, за руку поздоровался и сказал: иди, навверное, отец, домой, отдохай... Ну разве можно жить на свете и не работать? Как вы, ребята, думаете? На пьяном одутловатом лице Игната Иваныча застыло величайшее недоумение.

Хлопает входная дверь, осыпая на пол белый ворох снежных иголок. В хату врывается Фекла, сожительница Батрака. Ни с кем не поздоровавшись и даже не оглядевшись по сторонам, в два шага пересекает комнату, хватая Батрака за воротник выцветшего свитера, тащит с воплями к порогу, колотит в костлявую, барабанно отзывающуюся спину: одевайся, гадина политическая! Ты почему не почистил закуту у поросенка?

Цыплячья голова Батрака проскочила в воротник свитера, бултыхается в нем, как в мешке. Активист, не желая ронять достоинства, рычит, визжит, ругается тоненькими, хлипкими матерками. Зато Фекла, молотя кулаками, сыплет такими выраженьицами, что даже трактористы рты разинули.

— Не бей меня, оппозиция глупая! — верещит Батрак. — Ведь расстреляю, придет время, гадина!..

Джон с радостным любопытством наблюдает за потасовкой, показывает пальцем, гыгычет:

— Делутся!

Профессор азартно потирает ладони, советует Батраку дать ответного «леща». Тот машет тонкими, как палки, руками, но все время промахивается. Из красной потрескавшейся папки на земляной пол вновь сыплются документы, затапываются грязными подошвами. Изловчился-таки Батрак, чвакнул Фекле в мясистую раскрасневшуюся физиономию. Баба так и взвыла: растак твою партию мать!..

— Кончай базар! — Отец ударяет кулаком по столу с такой силой, что остатки огурцов выскакивают из миски. — А то сейчас обоих на хрен на улицу выкину!

— Долой пережитки деспотизма! — полузадушенно верещит Батрак, пытаясь разжать пальцы Феклы, обхватившие его узкое кадыкастое горло. — Я не позволю тебе, харя самогонная, нарушать мои права человека!

Фекла, уморившись терзать сожителя, хватая со стола чашку с остатками самогона, выпивает одним глотком, крикает, словно мужик, вытирает губы рукавом плюшевой жакетки.

Батрак, всхлипывая, опускается на колени и начинает подбирать с пола затоптанные бумаги, складывает их обратно в папку. Желтый программный документ разорвался напололам. Батрак разглаживает его на остром колене, машинально перечитывает, изображая на лице гримасу мщениия. Побой глупой бабы ничто по сравнению с могуществом *его* партии. Она, партия, еще всем покажет... Фекла с презрением оборачивается: заткнись, подкидыш!

Она сегодня с виду злая, растрепанная, но внутри затаенно-веселая. Вот плюхнулась на лавку, рука сама лезет во внутренний карман жакетки, выставляет на стол темно-зеленую залапанную бутылку с незаменимой газетной затычкой. И молчит, торжественно надув рыхлые щеки, уставясь сверкающими глазами в одну точку. Устанавливается окончательная тишина. Идиот перестает греметь на печи высохшими хлебными корками.

Дядя Игнат брезгливо берет теткинину посудину за горлышко, вынимает приглушенно чмокнувшую затычку, подносит емкость к большому сизому носу, старательно и громко нюхает, всхрапывает, словно старый мерин. На лице его рисуется откровенное пренебрежение к чужой продукции: свеклуха!

— Сам ты свеклуха! — торопливо возражает Фекла. — Из чистейшего лебедянского сахара, вот те крест!

И она, обернувшись к иконам, торопливо осеняет себя крестным знаменем. В глазах у нее появляется грубая и веселая ясность.

Батрак потихоньку откладывает на этажерку свою красную папочку. Чтобы не бросалась в глаза и не раздражала гостей. Авось и его стопочкой не обойдут!

Фекла вырывает из рук дяди Игната свою бутылку, встряхивает: это, господа хорошие, перегон! Вы такую и по праздникам не пьете!

— А вот таперича и распробуем... — со злорадством в голосе произносит дядя Игнат.

Шмыгнув дважды носом, Фекла с отстраненным видом смотрит в заросшее инем окно. На лице у нее обиженное и в то же время торжественное выражение: пробуйте!..

Все по очереди выпивают, жмурятся, торопливо зажевывают огурцом. Самогонка крепкая, «дёрзкая», по выражению Игната Иваныча. Старик мотает головой, бурчит что-то себе под нос. Но самогонку больше не корит, и Фекла облегченно вздыхает, расстегивает пуговицы — ей тоже стало жарко.

И Джону глотка два плеснули. Идиот выпил, прислушивается к самому себе, склонив голову набок, удовлетворенно мурчит. В зрачках его наливаются водянистый блеск. Дурак улыбается, растягивая рот от уха до уха.

Митя накладывает в алюминиевую гнутую миску манную кашу. Вон какая: парит, искрится! Подливает немного холодного молока, чтобы скорее остывала, посыпает сверху сахарным песком. Белые крупинки тают, превращаясь в оранжевые пятнышки. На, Джон, ешь...

Дурень хватает миску, пристраивает ее на коленях, торопливо работает ложкой, пачкая кашей щеки, рубашку, штаны. На земляном полу такие же белые комочки. Ложка скрежещет по корявым бокам посуды.

— Иссе-о! — Джон возвращает опорожненную миску.

Профессор рассказывает про недавний медосмотр. Один хмурый тракторист на традиционный вопрос доктора: «Почему пьете?» — ответил весьма уклончиво: «Пью, когда захочу и когда мне только захочется!» В этой фразе Профессор слышит отголоски великого русского анархизма, заведомо нигилистический оттенок «народного индивидуализма».

Фекла в свою очередь похвалила огурцы Митиной засолки:

— Чаво ты ишшо у кадку ложил, акромья хрену и самародинных листьев?

Из угла доносится трескучий, обиженного оттенка кашель.словно собачонка тявкает. Батрак! О нем-то все забыли. Фекла, глубоко и картинно вздохнув, покосилась на сожителя, плеснула в чашку определенную дозу: трескай, гадина демократическая!

— Я теперь не демократ, скорее наоборот... — лепечет Батрак вроде бы благодарно и в то же время с затаенной ненавистью. Плещется в чашке быстрая легкая жидкость, отражая огонек лампочки.

ПЕЧКА-РОБОТ

— Была бы печка-робот, поехал бы ты, Джон, на ней путешествовать, как Емеля... — фантазирует Митя, прикрыв глаза, давая им отдых от печного жара. Он и себе положил немного каши в фаянсовую тарелку с отбитым краем.

— Тусепествовать... — эхом отзывается дурак, уминающий вторую порцию.

Дурак боится ехать. Никуда не хочет. Ездил с бабкой на комиссию в Елец, дети в вагоне показывали пальцем, смеялись: дурак! Швырялись в него комочками жвачки. Комиссия в Ельце смотрела, щупала, била мягким черным молоточком. Джон хныкал, бабка радовалась: пенсию прибавили!

Вот опять усталился на дверь, ждет, что бабка принесет «капустью».

— Я самогонкой не торгую! — визгливо выкрикивает дядя Игнат.

— А за зерно? Это как? — ехидно тарашится на него Фекла, тоже слегка запяневшая.

— Зерно не деньги, его куры клюют, — ворчит старик.

Захмелевший Батрак чувствует себя в полной безопасности и улыбается своим мечтам о будущей партийной карьере.

— Дуралей наш живет как робот, зато нюх у него собачий! — Профессор уже в который раз припоминает, как Джон минувшей осенью спас его от неминуемой смерти.

Ночью по пьянке Профессор забурился на своем тракторе в овраг на границе двух районов — такой крутой и глухой овражище, что у него до сей поры никакого прозвания нет. Овраг, одним словом, — что твоя скала, только глиняная, склоны лозинками да орешником поросли. В этом овраге самолет можно схоронить — никто не найдет. Вот и в Профессоровом тракторе кабина в плюшку, а самого зажало так, что ни рукой, ни ногой не шевельнуть.

В бригаде и в самом колхозе Профессора тоже не сразу хватились: парень-то со странностями! То в районную библиотеку на гусеничном ДТ поедет за каким-то Ницше, то с попутной машиной в Металлоград укатит — к очередной «невесте»...

В течение двух суток организм медленно остывал, хотя осень на редкость теплая стояла, по ночам заморозков не было. К утру лицо Профессора, прижатое к холодному, пахнущему мазутом железу, покрывалось липкой, как клей, росой. Тонюсенькие ручейки стекали к уху и за шиворот. С полей доносился запах раскиданного навоза. Чем-то сладким припахивала поднявшаяся неподалеку озимь, которую Профессор сеял еще в августе. Иногда доносилось взмыкивание коров, которых пасли в соседней пологой балке. Но как Профессор ни кричал, никто ему не отзывался.

Лежит тракторист, сам себя не чует. Под свитер залезли букашки-таракашки, кусаются, щекочут самым отчаянным способом — поневоле от них завоюешь. Терпит механизатор, кусает губы, ругает колхоз, забывший его в трудную минуту. И себя, конечно, упрекает: недооценил могучий материалистический эффект алкоголя, который любого мыслителя может скovyрнуть в бездну физического недумания. Слышно, как разные невидимые твари и зверюшки царапают в металлические стенки кабины, роют под ними норки, осторожно, с хрустом пожирают зерна пшеницы, высыпавшейся из-за голенищ сапог.

«Почему меня не ищут? — недоумевал Профессор. — Хоть бы матушка моя прошла по этим местам, как ходила когда-то по ягоды. Неужто сердце не подскажет ей, где меня искать?.. Умираю, братцы, час за часом, минута за минутой. Чувствую, входит Она в меня — белолицая, улыбчивая, красивая! Такая, что не вмещается ни в какие философские определения, зато глаз от Нее отвести невозможно...»

«Нет! — крикнул Профессор ей, очнувшись. — Погоди... Объясни сначала, зачем вообще была нужна моя жизнь с ее каждодневным трудом от темна до темна, с редкими выходными, когда я наконец мог заглянуть в книги великих мыслителей и ученых? Зачем пахал огороды старикам и старухам, пил их бедные магарычи? Зачем выступал с трибуны Всесоюзного съезда молодежи? Кто меня услышал? Кто понял, что я — особенный человек? Пройдет еще день, и ночь наступит, и меня заживо будут грызть осмелевшие лисы и еноты...»

Через сплющенное окошко кабины Профессору был виден кусок сияющего утреннего неба, разжегшего свет истины над миром, в котором очень много людей и машин и где ты, настоящий, в сущности, никому не нужен. Таково уже предназначенье индивидуальной личности, ее судьба, кем бы она ни была, эта личность...

На третье утро Профессор неожиданно услышал шорох веток. Решил, что волк ломится через кусты или медведь. Раздалось близкое сопенье звериных ноздрей. А это Джон, оказывается, собственной персоной спускается по глиняному откосу, чтобы набрать горсть боярышника. В тот день Джона попросили подменить запившего второго пастуха. Увидев знакомый трактор, лежащий вверх гусеницами, Джон затрясся от страха, хотел убежать, но человек застонал, и голос человека был очень знакомый.

«Пляфессаль! — завопил идиот, карабкаясь вверх и царапая глину ногтями. — Убильси, плящить! Пляфессалю бо-бо!..»

Первый пастух, грозно матерясь, подошел к обрыву: куда тебя, глупого, занесло? Заворачивай коров, мать твою распротак... Но, заметив в кустах на дне оврага покореженный трактор, выронил кнут: вот он, Профессор, которого все обыскались...

— И вот я, братцы, опять живу, размышляю о мироздании, и та красавица Смерть с белым лицом не тревожит меня даже во сне... — Профессор взволнованно потрясал ладонью в жарком воздухе. Наполнил щедрой рукой полчашки самогона, протянул дураку: — На, Джон, дружище, спаситель мой нечаянный, выпей за поддержание живого, бессмертного в определенной системе координат человеческого духа. Пусть твоя душевная болезнь диалектически перетекает в духовное здоровье грядущих поколений!

— Вы не знаете... — икнул запьяневший Батрак. — Темные люди, вы не знаете, что политик обязан уметь ненавидеть, иначе он не политик.

— Вот! — удивился Митин отец. — Один ахиною нес про смерть и бессмертие, теперь другой хрен про политику чушь несет.

— А я вот его сегодня пришибу, — засмеялась Фекла. И тут же заплакала, зашмыгала носом, вытирая лицо серой тряпицей, извлеченной из кармана жакетки. Когда она пьяная, ей всех жалко.

НЫРЯЛЬЩИК

Профессор припомнил еще один, забавный на его взгляд, случай, приключившийся опять-таки в том же декабре, через неделю после сражения отца с быком Андрюшей.

— Влекущая сила эпохи не позволяет мне, сидящему за рычагами трактора, задумываться о второстепенных предметах. Поэтому и решил поехать напрямиком через пруд. Лед вроде бы ничего, прочно встал. Уверенности придали следы от колесного трактора — кто-то здесь прежде меня проезжал...

Он изумлялся своей мгновенной реакции, проявившейся в тот миг, когда на середине пруда под гусеницами трактора послышался едва различимый треск. Прыгнул на лед, глянул, а в полынье черная вода пенится...

Народ тут же стал собираться на берегу. Пальцами привычно указывают: опять этот Профессор!.. Как легко народ забывает заслуги своих кормильцев и всегда готов над ними посмеяться!

Как на грех, вывернулся откуда-то на своем потрепанном «уазике» председатель, Тарас Перфилович. Старик, почти под семьдесят, орденоносец прежних времен. Вышел из вездехода, хотел врезать Профессору по морде, но рука после недавнего инсульта ослабла и потеряла всю свою воспитательную силу. Сунул трактористу под нос багровый, в крупных веснушках кулак, сам весь трясется: ныряй, черт задумчивый, в пруд и доставай трактор как хочешь! В колхозе нет лишних денег, чтобы из-за тебя, балбеса, каждый год трактора новые покупать.

Бредет Профессор по деревне сам не свой, пригорюнился. Ведь только что восстановил за свой счет смятую тракторную кабину, а теперь вот надо нырять-добровольца искать, чтобы утонувшую машину тросом подцепить. Идти больше некуда — к Митиному отцу: выручай, Петрович! Сам нырять не могу — остудился, лежа в овраге, хроническую пневмонию за-

работал. Если я сам в ледяную воду нырну, тогда крест надо ставить не только на материалистической картине мира, но и на всей моей не такой уж бессмысленной жизни.

«А я три с половиной года в тюрьме откантировался!.. — вскинулся на него Митин отец. — Она мне что — здоровья прибавила?»

Профессор слезу пустил, на колени хотел становиться, и сжалился Митин отец над Профессором: безвредный парень, а что с завихрениями, так ведь кто из нас без маленькой хотя бы бусыри? Велел сразу идти к Игнату Иванычу, брать в долг, объяснив ситуацию, литр первача. Да такого, чтоб дух забирал и назад не отдавал!

Профессор побежал к старику, и тот, повздыхав, достал из кладовки запыленную бутылку: для своих похорон берег...

На берегу пруда зевак к тому времени прибавилось. Смотрели, как Митин отец раздевается. Сам Митя с ранцем за спиной как раз возвращался в это время из школы по тропинке, ведущей мимо пруда. Отец, прилюдно выпив наполненный доверху стакан самогона, снимал уже майку, оставаясь в новых трусах в горошек.

Поодаль от толпы стоял председатель в облезлой норковой шапке, которую носил, наверное, пятому уже зиму. Лицо Тараса Перфиловича было перечеркнуто сеткой проступивших фиолетовых сосудов, и каждый сосудик своим хитрым извивом словно бы пытался рассказать о совершенно открытой для всех и в то же время загадочной жизни этого человека.

Отец сделал шаг к полынье, взглянул зачем-то на маленькое зимнее солнце. На бледной коже его ярко синели неуклюжие разлапистые татуировки. Ступни, толокшиеся по белой рассыпчатой пороше, были красные и большие, как лапы у гуся. Все смотрели, как он берет из рук Профессора и выпивает второй стакан крепкой дядь Игнатовой самогонки. Сам дядя Игнат бродил, покачиваясь, по берегу, хвалил свою продукцию: «Благодаря ей человек в пучину лезет без боязни! Тарас Перхвилич — вон он стоит! — и тот мою „свойскую“ откусывал-похваливал!..»

— Олухи вы деревенские! — воскликнул Батрак с презрением на лице, перебивая рассказ Профессора. — Куда уж вам к звездам стремиться, если вы последнюю колхозную технику сберечь не хотите...

— Цыц! — прикрикнул на него дядя Игнат. — Не тебе нашу жизнь менять-перестраивать... Говори дальше, Прахвессар!

Старику нравилось слушать воссозданную историю, в которой и он сам был далеко не последним персонажем.

...Отец согнулся над полыньей, тяжело задышал, отплевываясь, словно бешеный бык, тупо смотрел в качающиеся зеркальные воды. От нагретой солнцем выхлопной трубы, торчавшей над водой, шел легкий парок, а тень ее покачивалась на воде, как живая. Казалось, отец морщится не от горечи выпитой жидкости — даже закусывать не стал! — просто в его крови гуляла-бродила собственная давняя желчь, жгучие отходы прошлой жизни, про которую Митя почти ничего не знал. Ранние морщины — словно жгуты на смуглом отрешенном лице. Отец стоял как приговоренный к смерти, не обращая никакого внимания на выкрики из толпы. Взлохмаченные волосы в крапинах седины — будто перышки куриные воткнуты. А над прудом и над берегами раскинулось лазурное небо, похожее на старинное бабкино платье, вынутое из сундука и развешенное над заиндевевшим неподвижным лесом.

Отец зачерпнул горсть снега, растер крепкую, в седеющих волосах грудь. Бледная кожа пошла мелкими пупырышками, лицо налилось краснотой. Теперь уже все смотрели не на отца, а на маслянисто поблескивающую поверхность воды.

«Иван!» — воскликнула приглушенно Митина мать, объявившаяся вдруг на берегу. Лицо ее, как и в момент недавнего сражения отца с быком, стремительно побледнело.

Но он даже не обернулся на чересчур знакомый голос, хотя и вздрогнул, застыв на мгновение. Затем сделал шаг к полынье, качнулся, поднял со льда трос с крюком — его-то и надо было прицепить к серьге утопленного трактора.

Мать, закрыв лицо ладонями, повернула прочь и ушла в сине-снежное поле, как бы вовсе и не домой. Но некогда было смотреть ей вслед, даже если бы она была Снежной Королевой, с презрением покидающей этот примитивный галдящий мир.

Полынья дышала снежным паром. Отец сделал шаг и блюкнул в нее «солдатиком», почти не подняв брызг. На поверхности, замутившейся донной грязью, пошли живые круги, словно на дне играл матерый сом. Трос заскользил, шевелясь в снегу и воде, кольца его поднимались и падали, стремительно распрямляясь. В секунду-две возникло затишье. По воде расплывался узор белой, как слюна, пены.

Митя уже волноваться начал, но отец вдруг вынырнул. Мокрые волосы свешивались до носа, седина в них почти не была заметна, каждый волосок блестел, все лицо ныряльщика будто стеклянной пленкой покрылось... Профессор подал ему руку, помог выбраться на лед. Дали сигнал трактористам: дави на газ! Два тяжелых трактора в спарке взревели вразнобой дизелями, дернули с места, заколыхались — трос натянулся, задрожал, разбрызгивая налипший снег, но крюк неожиданно вылетел, невидимый в воде, из серьги трактора, с хряском расколошматил кромку льда, осколки которого, радушно сверкая, полетели в толпу, с гулом медленно отпрянувшую назад.

«Вашу гробину мать! — заругался отец на трактористов. Сорвавшийся крюк просвистел в сантиметре от его головы. — Тянете, как дохлую кобылу...» — и побрел подбирать крюк. Труссы, хоть и новые, сползли, обвисли до колен, он на ходу подтянул их нервным движением. Кто-то из женщин хихикнул, но трактора вновь взревели, давая задний ход. Трос свивался мокрыми ленивыми кольцами.

Отец налил еще стакан первача, но отпил лишь половину, остальное отшвырнул вместе со стаканом в снег: да пошли вы все!.. И снова нырнул, на сей раз бесшабашно, вниз головой. Сидел под водой, как посчитал Митя, ровно тридцать две секунды.

«Утопила!» — всхлипывали боязливые старушки. Жаль человека. Да пропади он пропадом, этот трактор! Их, машины разные, и в прежние годы топили, жгли, гробили бессчетно.

«Сами вы глупые!» — смеялся над бабками дядя Игнат. — От моей самогонки еще никто не утопал. Тарас Перхвильч почти в такой же холод на Пасху на спор речку туда-сюда переплывал. Тоже после моей, „своейской“!»

Среди зрителей на берегу возник откуда-то тощий, словно привидение, зоотехник Михал Федотыч. Звенящим от ненависти шепотом он выговаривал отцу, находящемуся под слоем замутившейся, с коричневым оттенком воды:

«Это тебя Бог за Андрюшу наказывает! Ты доставил мучению животному и сам теперь залез в адские глубины...»

Старухи, слушая голос Михал Федотыча, крестились на происходящее еще торопливее и старательнее. Вытянув длинную шею, замотанную неопределенного цвета шарфом, зоотехник изо всех сил вглядывался в пространство полыньи, словно видел в колыхающейся воде, в ее тенях и бликах элитных животных, замордованных человекоподобными обезьянами. Живой мир погибал на глазах, теряя свою душевную красоту и генетическую целеустремленность.

О чем думал Митин отец, очутившись под слоем ледяной воды в течение невыносимо долгой полуминуты своей жизни? Конечно, не о том, что затонул всего лишь трактор, а не подводная лодка. Размышления такого рода всегда были ему чужды. Холодная водяная стихия укротила отца. Он

брел по дну, увязая в еще более холодном, чем вода, иле, утопая в его засасывающей вязкости, отыскивая на ощупь одной рукой серьгу трактора, а другой подтягивая крюк с тросом. Щекотнул ногу зимнего ныряльщика скользкий карась, тыркнувшийся липкими губами в теплое и живое. Пятка втоптала в грязь неуклюжего рака, всплыли надорванные бледно-зеленые водоросли, пахнущие чем-то сладким.

Вынырнул вроде бы такой же, как и прежде, отфыркиваясь светлой почему-то водой, словно пил на дне из родника. Но что-то в нем изменилось, надломилось. Выполз на бахромчатую от снега кромку льдины, и на всем бледном татуированном теле высветилась вдруг какая-то болезнь, немощь — не старость, а нечто другое, большое и невидимое, но чувствуемое даже издали. Такой человек уже никогда больше не будет драться с быком.

...О чем думает отец сейчас, облокотившись на стол и положив на ладони голову? Митя видит перед собой знакомое с детства, идущее одинаковым обликом сквозь все времена детства, неизменное лицо отца. Наверное, там, в мутной холодной воде, закоулки полутрезвого мозга пронзила какая-то вспышка, в свете которой он увидел себя со стороны. Отвечать надо за все, в том числе и за свою загубленную душу, которой всюду тесно: в поле, в воде, в этой вот хате...

После второй попытки крюк был зацеплен более основательно. Спарка тракторов, управляемая «тверезыми» трактористами, вытащила стальную машину на мелководье. Образовалась водяная дорожка, на которой покачивались крупные куски зеленого, как бутылочное стекло, льда.

Отец зашел за лозину, ветви которой обвисли от тяжелого инея, снял трусы, неспешно их отжал. Тихо плеснул водяной ручеек. Народ на берегу начал расходиться по домам.

Забрав от полыньи остатки выпивки в большой пластиковой бутылки, отец побрел в Джонову избушку — допивать заработанный магарыч и отогреться. Следом за ним ковылял Профессор с радостно-виноватой улыбкой на лице. И дядя Игнат приколтыхал, многозначительно шлепая себя по карманам драной шубы. А вот уже и трактористы смущенно затопали у порога, курили, покашливали. Всем нашлось место за этим вот столом, даже тучному Тарасу Перфиловичу. Он тоже пропустил стопку, хотя ему по болезни нельзя.

«УРОДА»

Фекла тоже была когда-то знатным свекловодом. По четыре гектара тяпала, и урожай у нее всегда был высокий. От всех колхозных наград осталась одна — цветной телевизор, к которому она Батрака и близко не подпускает: вдруг сломает?

Пьяно всхлипнув, Фекла признается всей честной компании:

— Очень уж красивые женчины у телевидири ходють! Смотрю, аж жуть пробирайт! Неужто такие бывають? Почему же я смолоду некрасивой делалыся? В телевидири такие богатые и счастливые люди ходють, что мне, грешнай, и жить не хотца!

Все примолкают, не зная, что ответить чудной тетке. Баба-то глупая, хотя сказала что-то приблизительно верное. Поправила яркий, купленный лет двадцать назад полшалок, шмыгнула крупным мясистым носом.

Батрак поглядывает на свою сожительницу редкими осторожными взглядами, зато с огромным затаенным презрением.

— Неси, тетушка, еще один пузырек! — Профессор едва ворочает языком. Похоже, ему все надоело: и разговоры, и сидение в жаре, и даже выпивка. О ней он заводит речь лишь по привычке. — А я тебе по весне тележку навозу притараню. Материалистическая компенсация ввиду отсутствия идей.

Фекла смеется, машет ладонью: зачем? У нее и так весь огород завален кучами навоза. Вам, удальцам, любому лишь намекни — не только навоза, золота притащите! Что толку-то? Бурьян из этого навоза так и прет, огород в сорняках, тяпать уморяюсь. И почему жизнь так чудно устроена: всю жизнь тут горбишь незнамо ради чего, видишь вокруг лишь пьяные хари, а в телевизоре «женщины будто плывут — ходють!».

— Ты уж нагорбила... — сплевывает Батрак с презрением.

— Цыц! — Фекла оборачивается к нему побагровевшим лицом.

Батрак отъезжает на лавке к двери, словно бы отшвыриваемый силой страха и ненависти. Того и гляди они снова схватятся. Фекла встает со скрипучего табурета:

— Ладно уж, принесу еще бутылочку. Чтой-то мне пондравились ваши посиделки. Схоронила заначку для гостей, да уж ладно — вам подарю...

— «Подарю!» — Батрак шепотом повторяет давно забытое слово.

Поправив шаль и застегнув жакет, Фекла уходит к себе домой.

— Ушла моя НЛО! — облегченно переводит дух Батрак. Голос у него нормальный, сохранившийся с юношеских «стильных» времен, с чуть высокомерным оттенком. Он оживился, пересел на теплый нагретый табурет, где только что сидела его хозяйка. — Хорошу самогонку, сволочь, принесла, почти неразбавленную... Что это сегодня с ней случилось? А то ведь за копейку удавится. НЛО в натуре! Пузо полуклином, осталось рога ей приставить...

Прежнее прозвище Феклы — Урода. Теперь ее в насмешку зовут Демократкою. Она злится, обещает убить Батрака утюгом: из-за него, «активиста паршивого», опозорилась!

Профессор с шутливой улыбкой склоняется к уху Батрака: она, НЛО твоя, ревнует тебя к дояркам. А ты возьми да назло ей найди себе в райцентре какую-нибудь «карлу-анархистку»!

Дядя Игнат весь во власти конкурентных страстей: моя-де самогонка все равно лучше и вреда от нее меньше. И вообще он гонит свою продукцию «из уважения к человечеству». В годы «сухого закона» сам Тарас Перфилич, председатель, посылал к нему гонцов, чтобы попотчевать первачом различные делегации и журналистов с телевидения.

— Ты Фекле не конкурент, потому что сам выпиваешь половину своей продукции, — ехидно замечает Батрак. — Вот у нее самогонная экономика действительно экономная. Ты, дед, столько вина попил, что весь проспиртовался и еле ходишь. Куда уж тебе горох колхозный косить!

— Замолчи! — Дядя Игнат багровеет, весь трясется. — Да я тебя, негодяя, больше ни разу не похмелю... Вот! Будешь страдать, слезы лить — к порогу не подпущу!

Батрак смущенно покашливает в кулак. Ссориться с добрым стариком он не хотел.

Джон отыскал в углу печки фантик от жвачки.

— Цям-цям! — радостно вертит его в ладонях. — Дзон зеваль. Митя купит Дзону цям-цям.

— Куплю, куплю... — успокаивает его Митя. — Вот завтра пойду в школу и принесу.

— Купишь тут чего... — ворчит отец. — Зарплату уже который год сахаром да зерном выдают.

— Сахар я продам! — обещает заранее Профессор. — Загоню в одно хорошее место по приличной цене. Я уже договорился с ребятами. Весь тужиловский сахар пойдет к ним... А Джону я куплю целый мешок гостинцев. Ведь он самый настоящий мой спаситель!

Фантик от жвачки вылетает из рук идиота и, винтясь в жарком воздухе, падает на стол. Батрак машинально подхватывает его, подносит к лицу, жадно разглядывает. На фантике изображения небоскребов, автострада, пальмы, шикарные автомобили.

— Жить! Сейчас! — восклицает неожиданно Батрак тонким взвизгивающим голосом. — Не хочу прозябать под пятой Уроды, которая никогда не станет Демократкою... Моя партия обеспечит мне безбедную жизнь!

— Фекла — твоя судьба! — толкует ему Профессор, стараясь придать своим размышлениям философский оттенок. — Она — твой рок.

— Какой еще рок? — огрызается бывший стилиста, вспомнивший на мгновение о шестидесятих годах, когда он был молодым. — Я признаю лишь один рок — музыкальный. Мое поколение воспитывалось на роке. Вам тут никому не понять, что такое рок.

Митя смотрит на отца, подпершего щеку ладонью и задремавшего в этой позе, и почему-то припоминает, что дома в шифоньере висит на деревянных плечиках единственный отцовский костюм — серый, в полосочку, купленный еще в советские времена, по словам матери, за девяносто рублей. Болгарского производства, с глянцевого невыброшенной этикеткой в кармане. Отец и надевал-то его раза два-три, когда ездил на совещания передовиков. Костюм давно пропах нафталином, на складках материи тонким серебристым слоем собралась пыль...

«В гроб меня в нем положите!» — пошутил как-то отец, когда мать однажды напомнила ему о давно не надеванном костюме.

ЛЮДИ ИЗ МАЛЕНЬКОЙ ЖИЗНИ

А вот и Фекла вернулась, вваливается в дом в клубах пара. Достает из-за пазухи бутылку, с глухим стуком угрождает ее посреди стола: натая вам!

Батрак изумленно смотрит на грозную сожительницу: вот это да! Робко уступает ей табурет, занимая свое прежнее место в уголке.

Профессор вынимает газетную затычку, читает вслух заголовок: «Россия у края пропасти». Отбрасывает с пренебрежением бумажку, весело подмигивает: не так уж и плохи наши дела!

Батрак на цыпочках подходит к Мите и, осторожно указывая пальцем на мощную спину Феклы, говорит: эту вредительницу надо расстрелять в первую очередь! Вчера купила в автолавке приличный кусок колбасы, а ему, единственному мужчине в доме, даже ломтика не отрезала. А позавчера посмотрелась в зеркало, да и заревела во весь свой пьяный коровий голос: какая-то дамочка в райцентре, на базаре, обозвала ее «квашней».

Джон будто бы прислушивается к словам людей, заполнивших хату. Короткие ресницы его чуть прикрыты, губы выпячены, словно у персонажа газетной карикатуры. Из всех комков глыбистой фигуры выглядывает несказанная лень.

— Нашла мой галстук, скотина... — веется возле Митинога уха злой шепоток. — А я в этом галстукѣ хожу на собрания. И порвала. Напополам своими ручищами. Хороший галстук, весь блестками усыпанный, мне его в поезде подарили...

Игнат Иваныч, выпив «плохой» Феклиной самогонки и как-то сразу окрепнув, говорит о том, что Россию-де никто не «перегнетит», ни одна вражья сила.

— Что Россия? — загадка! — Профессор тоже выпил, губы его лоснятся от жгучей жидкости, кривятся самым забавным образом. Митя удивляется, что человек, глотнувший такой невыносимой дряни, может еще о чем-то и рассуждать. Тракторист даже закусывать не стал, сразу закурил «Приму», выпуская изо рта и одновременно из ноздрей клубы едкого дыма — Фекла поморщилась, замахала ладонями: что же так дымишь, окаянный? — С философской точки мысли, — продолжает Профессор, — если тыркнуть малость в экзистенциализм, то все, что нас окружает, в том числе и эти поля, холмы, овраги, — все это есть нелепость, мни-

мость. — Он тычет дымящей сигаретой в заиндевелое стекло, роняя крошки пепла. — Все: и деревня, и тракторы, и сугробы — зачем все это? Нет ответа... Иногда мне, товарищи, кажется, что я сам вовсе не существую в данной субреальности... Будь вы, ребята, пограмотней, я бы вам растолковал, что истинного движителя для нашей подсознательной жизни нет, есть лишь иллюзия застывшей вечности, которая всегда впереди. Поверх колхозных вялых фактов можно различить лишь слабые контуры объективной действительности. Понятие «красота» ложное. Оно есть фактическая хреновня. Существует, правда, еще одна неосязаемая иррациональная опора — закон! Еще старик Гегель утверждал...

Отец при слове «закон» встrepенулcя, открыл глаза. Пухшее лицо его вмиг стало сердитым:

— Если закон моей души — чужой для России, то кто же лишний? Если я вырастил зерно, а потом взял себе полтележки без спроса, то, значит, я вор и меня надо сажать в тюрьму?.. Нет, здесь что-то не так. Никакая партия, даже самая «справедливая», не изменит смысла слова «взять». Поэтому я и закон никогда не станем друзьями. Закон должен обижаться сам на себя за то, что такой гордый и независимый. И откуда он, такой неподступный, возник? Почему он, закон, жестокий и ударяет лишь по мелким людям?

— Да, мы люди из маленькой жизни, — кивает головой дядя Игнат. Седой пух на лысой макушке вздулся жарким воздухом, идущим потоком от печки. — Мы никому не нужны, но и без нас всему на свете крышка.

Помолчали. Джон заворочался на горячих кирпичах, захопал мокрыми от слез ресницами ржаного оттенка. Опять, наверное, перед ним возник образ умершей бабки. Идиот радостно улыбался, будто видел перед собой не призрак, а живого и самого родного человека. Взрычал и всхлипнул одновременно. Грязная пятерня встопорщила и без того всклокоченные волосы, с хрустом почесала гулкую, как пустая коробка, макушку.

— Баба! Баба! — сдавленно клокочетcя в бочоночной груди.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

— Доставай, Митек, балалайку! — жмурит глаза Профессор. Поднятые вверх над столом пальцы заранее начинают дергаться, в серых диковатых глазах самого начитанного жителя деревни Тужилровка особый блеск. Помимо все прочих талантов Профессор еще и природный балалаечник. У них вся порода такая «профессорская» — все не дураки выпить и порассуждать о затейливых вещах. А уморившись говорить о том о сем, требуют подать им балалайку.

Митя вздыхает: воскресные посиделки, как правило, всегда завершаются балалаечной музыкой. Привстав на цыпочки, Митя нашаривает в расщелине под потолком ключ — темный, гладкий, стариннойковки. Подходит к сундуку, вставляет его в замочную скважину — слышится мягкий щелчок. Кто-то из механизаторов смазал замок солидолом, механизм безотказный!

Джон насторожился, смотрит, как Митя обеими руками поднимает тяжелую, выгнутую желобом крышку. Внутри стопками сложены платя, вышитые полотенца, которым, наверное, лет сто, но до сих пор белые, будто сахаром обсыпанные. Вышивка простая: то ли птички, то ли диковинные существа, а вот-вот, кажется, прыгнут с полотна и пойдут себе разгуливать по стенам.

Идиот, завидев яркие платя, прыгивает с печки, чвакает босиком по маслянистому оттаявшему полу. Твердый подбородок, заросший юношеским пухом, зеленым от хлебной и картофельной пищи, ложится на Митино плечо. Дурак шумно втягивает ноздрями запахи мяты, ладана и прочей слежавшейся старины, скулит, чихает несколько раз подряд.

Запустив ладонь под стопку прохладных одежд, Митя нащупывает лаковую деревяшку, холодные струны приглушенно тенькают.

— Баляляйка! — восклицает Джон. На его рыхлой физиономии возникает улыбка, он тянет грязные ладони к инструменту.

— Невостребованность человека как духовной личности мы заменим звуками народного инструмента! — восклицает Профессор, принимая из Митиных рук балалайку. Взял, склонился к ней, загадочно осветляясь лицом. Длинные волосы свешиваются на бледную щеку спутанными косицами. Кисть правой руки напрягается, пальцы вздрагивают, застывают над струнами. Не играет Профессор, откинулся задумчиво спиной к стене, смотрит в пустоту обиженным младенческим взглядом. — Но жизнь моя, товарищи, еще не кончилась! Я пытаюсь понять чернозем, я хочу, чтобы он заговорил моим голосом...

Отец поворачивается лицом к Профессору, кулаки его сжимаются: играй, болтология!..

— Эх!.. — Профессор с размаху бьет по струнам, и комнату наполняет старинная тужилковская плясовая. И больше он ни на кого не обращает внимания. Глаза его становятся большими, слегка выпучиваются, и кажется, что этот странный рыбий взгляд музыканта и в самом деле равнодушно взирает до самых подноготных глубин мира.

Джон приседает в коленях, шлепает пухлыми ладонями: он начинает вертеться, «выкуделивает» нечто осмысленное.

Со скрипнувшего табурета поднялась Фекла, шагнула в центр хаты с выворотом вперед всего колодообразного туловища. Раскрасневшееся лицо ее вмиг вспотело, из-под платка выбились седые, желтого оттенка волосы, словно вторая печка стронулась с места, выкрикнула хриплым, тревожно-веселым голосом не в лад музыке матерную частушку. Джон громко захотал, как будто чего понял.

Вышел на круг Батрак, фасонисто, на манер восточного человека, поднял ладони в дымный воздух и жеманно завертел ими туда-сюда, задергал узкими плечами под обвисшим свитером. Электрическая лампочка, висящая под потолком на витом шнуре, золотистыми всплесками отражалась в его лирически заводянившихся глазах.

Дядя Игнат, притепетьвая по земляному полу большими серыми валенками, взметал полами облезшей шубы пыль со старинных икон. Испуганный паучок убегал в темноту своего уголка, карабкаясь, как альпинист, по закопченной цепочке лампы.

А вот и Митин отец, выкатив глаза и как-то неестественно напрягшись, встал с табурета, упавшего с полумертвым звуком. Митя вздрогнул: каким-то мертвым показался ему звук падения предмета. Ему и самому было странно, что в разгар балалаечной игры, перекрываемой горловым, с придыханием, очередным куплетом Феклиной новой частушки, он слышит одновременно и прочие звуки: потрескивание в печке прогорающих поленьев, позвякивание сломанного будильника на этажерке.

— Эх-ха! — выдохнул из себя отец. Какая-то горечь прозвучала в этом восклицании и в то же время бесшабашность. У него и вприсядку получается. Но движения какие-то чудные, словно вымученные, даже какие-то никчемные. Смотришь на такого танцора — и нерадостно становится на душе. Будто не человек пляшет, но замаскированный робот из американского фильма ужасов.

Даже Профессор, продолжая тренькать на балалайке, не вытерпел и ринулся в круг, приволакивая длинные ноги. Лицо его, и всегда-то имеющее слегка блаженный вид, совсем расплылось и стало масляным, в зрачках будто веселые кожурилки завертелись.

Митя, притиснутый пляшущим народом к теплой шероховатой печке, удивлялся тому, что вся эта разгомонившаяся компания помещается в та-

кой тесной избе. Да когда же они все по домам разойдутся-то? От жары, копоти, дыма и всяческих перегаров голова у него закружилась, и он словно бы наяву увидел призраки прошлого, настоящего и будущего, населяющие эту вековечную избушку... Сам того не замечая, Митя притопывал ногами, шевелил руками. В ладонях у него были миска с ложкой — собирался подложить Джону добавки, но дурак ринулся в пляс и забыл о сладкой каше. Митя не догадывался, что на лице его плавает загадочная улыбка, возникая помимо его воли. Такую улыбку здешний край всегда прилепит своему человеку в неожиданный момент. Зато Митя почувствовал *ее*, вот эту самую *жизнь*, из которой ему уже никогда не вырваться, даже если он станет великим ученым или путешественником; потому что вот *это* всегда с ним — до гроба и дальше гроба. Ведь даже в газетах пишут о загробной жизни, в которой человек осознает себя причастным той или иной стихии... Митя закрывает лицо ладонями, алюминиевая миска почти бесшумно падает на пол. Он, Митя, будет, будет осознавать себя. Даже если он останется жить здесь, он станет совсем другим!

ЗАЧЕМ ОНА ПРИШЛА?

Митя изумлен: так неожиданно мать возникла посреди комнаты, словно вышла, появилась, как призрак, из толпы танцующих. Мать! Митя не может оторвать от нее взгляда. На ней забавная, будто из ее пионерского детства, пушистая шапочка с помпоном. И дубленка с опушкой, гамаша с начесом на ногах, отчего они кажутся лохматыми и богатырскими, как у колхозной лошади, грозы быков по кличке Сестра. Обута мать в белые праздничные валенки — красивые, хоть и залежалые, из тонкого, ручной валки, войлока. В старину в таких валенках, наверное, щеголяли девушки из зажиточных крестьянских семей... Вошла в комнату и остановилась, будто ударилась с ходу о стену жаркого воздуха, насыщенного разнообразными запахами.

— Опять сборище? — Она пытается вложить весь свой гнев в одну короткую фразу. Выхватила из рук оторопевшего Профессора балалайку, размахнулась ею, собираясь разбить инструмент об угол печки, но передумала: отшвырнула ее брезгливо на топчан, застеленный разным тряпьем. Балалайка тихо и благодарно гуркнула.

Все отвернулись, разбрелись по углам, присели. Трактористы натягивали телогрейки. Профессор заталкивал в карман недопитую бутылку самогона. Один лишь идиот остановился посреди комнаты в позе истукана и таранился на женщину округлившимися, распаленными пляской глазами.

— Убью, гадина! — Мать ткнула Джону в лицо большим розовым кулаком, но не ударила. Идиот попятился, брякнулся задом на топчан. Послышалось болезненное хрумканье. Джон чуточку привстал, не переставая глазеть на Митину мать, а под его увесистым задом продолжали потрескивать балалаечные ребрышки.

— Да слезь ты!.. — Митя сдернул дурака за шиворот в сторону, схватил поскорее балалайку. Кажется, и на сей раз уцелела. Открыл сундук, положил ее поскорее под тряпку, закрыл крышку на ключ, спрятав его на прежнее место.

Первой с лавки неуклюже поднялась Фекла, перекрестилась пьяной рукой на криво висящие иконы. По лампадке, облепленной клочками паутины, деловито ползал паучок, ремонтирующий свое сложное хозяйство.

Старая самогонщица ковыляет к выходу, поправляя седые волосы, выбившиеся из-под пестрого праздничного платка. Ее слегка пошатывает...

Следом семенит Батрак. В руках у него красная папочка, старательно зажатая тонкими, как у старинного чиновника, руками-лапками. Он затравленно и в то же время озлобленно косится на непрошеную гостью — в «расстрельном» списке она стоит на одном из первых мест...

Профессор помогает подняться с лавки обессилевшему дяде Игнату. Совсем плохой стал старик, хотя и бормочет себе под нос о собственной незаменимости: «Вы все ко мне еще обратитесь...»

Последним из хаты выходит отец. Возле порога он останавливается, поворачивает голову, пристально смотрит на свою жену, словно сто лет ее не видел. Взгляд его полон злобной насмешливости и еще чего-то такого, чему нет названия. У матери от такого взгляда сжимаются кулаки. Румяное с мороза лицо ее идет бледно-синими пятнами. Красота женщины наполняется вдруг каким-то зловещим оттенком...

Все ушли. Мать машинально присаживается на лавку. Яркие, подкрашенные сухой помадой губы искажаются непонятной гримасой. Закрывшись ладонями, она начинает то ли выть, то ли хохотать на всю комнату.

Джон, как пес, подняв к низкому потолку лохматую голову, подвывает в лад женщине. Точно так же он только что притягивал частушкам Феклы. Взгляд идиота рассеянный и обнимающий, словно у старой жабы на солнцепеке. И так же раскрылась алая с серым оттенком ротовая полость.

В жарком зеве печки стрельнул, рассыпая искры, прогоревший пенек, похожий на древнее чудовище, подмигивающее алым рассыпчатым глазом.



МАРИНА БОРОДИЦКАЯ



К ПОГОНЕ ЛИЦОМ

* *
*

Двенадцатилистовая тетрадь
Еще лишь начата, и все возможно:
Случится ли страничку измарать —
Ты скрепы отгибашь осторожно
И грязь — долой. Затем листок двойной
Вставляешь из тетрадки запасной
И пишешь вновь. Учитель не заметит.
Ай, молодец! Тебе пятерка светит.

И так — до середины. А уж там —
Все набело, и строгий счет листам.

На посту

На посту, в краю пустынном,
Мерзну с верным карабином
В кем-то выданном пальто.
Я чего-то сочиняю
И, наверно, охраняю
Что-то нужное — но что?

Тут кругом глухая местность,
Где-то гордая словесность
Мчит в гудящей мгле ночной.
Ты ль, небесный разводящий,
Посмеялся надо мной?

Не сменили, не убили,
Может, просто позабыли
И не взяли даже слова,
Как с мальчишки в том саду.
Видно, знали: не уйду.

* *
*

Попросили меня раз в «Иностранке»
перевести современного поэта,
англоговорящего, живого, —
«Ведь не все ж мертвецов тебе толмачить!»

Вот раскрыла я живого поэта —
ах, какой же он красавчик на фото!
Веет смертью от его верлибров,
смерть сочится из каждого слова,
я прочла и умерла, не сдержалась.

Тут пришли ко мне мертвые поэты,
всё любимчики мои, кавалеры.
Поклонился дипломат, Томас Кэрю,
громко чмокнул шалопай, сэр Джон Саклинг,
и сказал мне ловелас, Ричард Лавлейс:
— Слышал в Тауэре свежую хохму:
«Коли снятся сны на языке заморском —
с переводчицей ложись!» Ловко, правда? —
А Шекспира незаконный сыночек,
Вилли Дэвенант, сказал:
— Брось ты киснуть!
Сшиб я в «Глобусе» пару контрамарок
на премьеру «Идеального мужа», —
этот педик, говорят, не бездарен.
— Ну а после все пойдем и напьемся.
— И сонеты почитаем по кругу!
— Хорошо, — сказала я и воскресла.

Я воскресла, поглядела в окошко,
отложила современного поэта.
И не то чтобы я смерти боялась,
просто вечер у меня нынче занят.

* *
*

У старинных норвежских кроватей
имелись створки:
их задвинешь или захлопнешь —
и ты в каморке,
в деревянном ларе, да попросту в сундуке,
репетируешь смерть на тощем своем тюфяке.

Можно пялиться в темноту
и молиться Одину или Христу, —
даже ноги не вытянешь, если постель коротка,
в деревянном ганзейском городе — ни огонька.

А еще в каждой спальне была веревка с крюком:
сигануть из окна в рубашке и босиком,
если вдруг пожар. Ох, какие пожары бывали!

Чуешь, вяленой рыбой пованивает в подвале?
Слышишь, бал крысиный? Вот так они зимовали.

Что возьмешь, капитан, чтоб на час, на минуту сгонять
в тот вечерний, игрушечный Берген —

подслушать, понять:
отчего не брала их эта вселенская тьма?

Что за песни им не давали спянуть с ума?

* *
*

Вот и брошены через плечо
Гребешок и нашейный платочек:
Гребешок, приземлясь на бочок,
Чашей встал, где и зверь не проскочит.

А платок расстелился и лег
Снежным полем, сплошной целиною,
Чтобы даже конек-горбунок
Не сумел бы угнаться за мною.

Вот и зеркальце брошено вслед —
И раскинулось море широко:
Ни скалы в нем, ни острова нет,
Даже птица устанет до срока.

...Надо опытным стать беглецом,
Чтоб, еще не достигнув предела,
Обернуться к погоне лицом
И спросить — в чем же, собственно, дело.

* *
*

Говорят, что я — *того*,
В голове, мол, каша.
Это правда, я *ТОГО*,
И все больше я — Его,
И все меньше ваша.



ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ



УЛИЦА

Рассказы

ЗОВЫ

О пять окликнули в метро. В золотистом сумраке длинного зала с тускло мерцающими гладкими мраморными стенами, сквозь шум проходящего поезда. Имя произнесли. По имени назвали. Рукой еще, кажется, помахали — сделали знак. Всмотривался долго, глаза щурил: кто? А человек взмахнул еще раз, повернулся — и был таков. Удивительно: второй день его окликали и махали, а потом — никого. То есть народу много, а того, кто звал, — нет.

Неловкое такое чувство — вроде вины: кто-то приветствует, а ты лишь руку чуть приподнимаешь, не уверенный, что тебя, хотя и похоже. А если нет, то... Смешное положение. Согласитесь, нелепо, когда зовут не тебя, а ты тем не менее радостно машешь в ответ или, еще хуже, что-нибудь приветственное выкрикиваешь.

Потом долго мучаешься, кто же это мог быть: издалека вместо лица белесое пятно — не разобрать. Может быть, женщина, но не исключено, что мужчина. Скорей мужчина, чем женщина, хотя никакой уверенности.

На третий день там же, на станции, все повторяется, и это не просто удивительно, а как-то тревожно. Надо бы приблизиться, но человек испарялся так быстро, что не успеть. Сначала показалось, что уезжает на эскалаторе вверх, потом — в исчезающем в туннеле поезде. Женщина или мужчина. Один раз женщина, в другой — мужчина. Или наоборот.

Опустевшая платформа словно дразнит, огоньками таинственно мигает из глубины туннель.

Человек едет на работу, возвращается домой или направляется в гости. Обычное дело. Увидел знакомого — поздоровался. Руку приветственно поднял. Помахал прощально. Улыбнулся.

Все-таки загадка. Раньше ведь не встречались, не здоровались, а теперь чуть ли не каждый день. И главное, его узнают, его окликают по имени (точно), а он, значит, оглядывается, но напрасно. Смотрит и не видит. Нехорошо. Ведь будь он на месте того, кто окликал, а ему бы вот так не отвечали, то, конечно, обидно.

Впрочем, не важно. Его окликали, он оборачивался, всматривался пристально, делал шаг навстречу, смущался, неловко поднимал руку, делал судорожное неопределенное движение... Окликание становилось постоянным, он уже ждал, спускаясь в метро, что вот-вот... сейчас... Готовно оборачивался. Замедлял движение. Надо же в конце концов увидеть, разгля-

Шкловский Евгений Александрович родился в 1954 году. Закончил филологический факультет МГУ. Автор книг прозы «Испытания», «Заложники», «Та страна». Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Живет в Москве.

деть, ответить... Имя вспомнить... А если так и сиделся в поезд непозванный, неназванный, то неуютное такое ощущение, словно забыл что-то очень существенное.

Когда называют по имени, себя вдруг по-новому узнаешь: да, ты вот тут, идешь, как обычно, в контору, живешь среди многих, но — ты есть. Есть и еще кто-то, для кого ты не случайность в толпе таких же, как ты, движущихся куда-то. Удаляющихся. Исчезающих. Бывают, впрочем, и другие с тем же именем, но если назвали тебя — голос не разобрать, мужской или женский, и фигуру окликавшего не разглядеть — может, мужчина, может, женщина, даже странно.

Неужели Саша Гуров?.. Был такой, да. Давным-давно, еще в юности. Сосед по двору. Полноватый, с прямыми светлыми волосами и шрамчиком на лбу — результат падения с дерева. Учились в разных институтах. Что-то намечалось вроде дружбы. Стихи писал. Однажды случайно оказались вместе в компании, подвыпили сильно, а после часов до двух ночи бродили по Бульварному кольцу (июнь был) — читали стихи. В основном Саша Гуров (свои, но не только). Дважды привязывалась милиция, но как-то обходилось. Вроде и захмелевшие, но не настолько... Гуров и патрулю начинал декламировать, когда те все пытались дознаться, чего это они шляются по ночам, как бомжи, и даже вроде некоторое время слушали (недолго) с насмешливо-недоверчивым выражением (на мякине не проведешь), но потом отпускали, сочтя достаточно безобидными для общественного порядка.

Саша Гуров после той поэтической ночи звонил, куда-то звал его, приглашал на какие-то вечера, он даже на один какой-то выбрался, однако этим и ограничился, не тянуло почему-то больше — не до того, и потом еще пересекались пару раз, но тоже как-то скомканно, обрывисто, такого общения, как в ту ночь, больше не получалось. Да и находилось всегда что-то более важное — он как-то и не придавал значения... Имя мелькало в прессе — стихи, статейки о литературе, все духоподъемно, возвышенно, чуть приторно... Время от времени звонки повторялись. Гуров говорил о себе, о том, как хорошо принимают его стихи, сколько у него напечатано там-то и там-то, про предложения издательств, делал многозначительные паузы, приглашал к себе... Не удалось. Чего-то не хватало в отношениях, какого-то моторчика. Ну, стихи, ну, «в стране, как в космосе, — пустота» (запало: то ли строчка из стихотворения, то ли признание в ту июньскую ночь), ну, вопросительный взгляд, словно ждал от него какого-то ответа... Почему от него-то?

Так и сгнуло, рассосалось в никуда. И Гуров пропал, из прессы и вообще, никто про него ничего не знал: то ли жив, то ли нет... То ли здесь, то ли в иных пределах.

А ведь сколько раз сам проходил мимо, как бы не замечая, как бы не узнавая — потому только, что не был уверен: его узнали. Человек идет, погруженный в свои мысли, сосредоточенный. Или смотрит в другую сторону. Если не замечают или не узнают, то надо ли окликать или напоминать? А может, он изменился так, что действительно узнать трудно. Словно это уже не он, а кто другой. Словно уже не эта, а некая иная жизнь, только место то же. Стоит ли возвращаться?

Пробежал, проходил, проплывал на эскалаторе, скользнув взглядом и мысленно отметив: ага... Ну и ладно, ну и что успеешь сказать, если вообще будет, что сказать, потому что и раньше-то перемолвились разве что одним-двумя словами.

Все-таки терзало: кто же? А вдруг действительно *та* женщина? Но ведь ее давным-давно не было в городе, в стране... Маловероятно. В желтой такой курточке, рюкзачок через плечо, короткие, под мальчишка, темные волосы, тонкие усмешливые губы (не красила) и сумрачный, слегка настороженный взгляд, светлеющий при улыбке. Такой и запала, когда вышла из поезда на станции «Шаболовская» — он давно ее поджидал у эскалатора. Хорошо так, белозубо вдруг улыбалась, сразу как бы приблизясь из дальней дали, и лицо смуглое озарялось, словно выступало из тени, — только в эти минуты с ней и было хорошо, легко. Однажды, вдруг весело, лукаво на него оглянувшись, запрыгала на одной ноге, как бы играя в классики. Словно руку ему протянула, через годы, подглядев, — он ведь тоже в детстве играл, прямо возле подъезда во дворе мелом были начерчены.

А так вынашивала замкнуто что-то в себе, тревожное, словно какую-то проблему решала.

Они недолго встречались, затягивало ее в сумрачность, может, незаметно для самой. Замыкалась и молчала, а ему что оставалось? Только ждать, когда вдруг займется рассвет, когда сквозь тучи сверкнет солнечный луч. У моря погоды. «Ни с кем мне не было так спокойно...» Приятно, но как-то слишком многозначительно, а главное, обязывающе. Спокойно — это как? Про нее (да и себя) так бы не сказал. Сумрачность тревожила. Червячок глодал где-то в самом нутре: все ли в порядке? *Она* в порядке?.. Неизвестно, что можно ждать от человека, если он что-то таит. Не высказывается весь.

Не было ощущения полноты присутствия. Ее присутствия. Где-то обрывалось, погружалось во тьму. Не находилось каких-то слов, приоткрывающих, высвечивающих. И что за проблема ее допекала — с ним ли связанная (вот решит — и тогда! А что тогда?), с жизнью ли вообще?..

И пресеклось все внезапно, с какой-то странной недоговоренностью: он закрутился, не позвонил (почему?), она не позвонила...

Отчего-то уверенность, что зовут именно тебя, а не кого другого. Не понять, почему тогда не остановиться, не приблизиться. Окликать, а потом исчезать. Дурацкая игра в прятки — не дети же! Поток людей, правда, действительно большой — что ни говори, а час пик, толпа несет, толкает, не дает свернуть, настойчиво и упрямо влечет в одном направлении. Если уж попал, изволь двигаться вместе со всеми. Однако ж можно, если захотеть. Остановиться, упираясь ногами, плечом раздвигая поток, своевольно двинуться в противоположном направлении. Дождаться, когда двери сомкнутся и набитый битком поезд, предупреждая рывкнув сиреной, скрежеща колесами, заполнит на минуту голубым телом мглу туннеля.

Минчевский здесь совсем уж был невероятен — и прежде-то почти не выходил из дома, когда он бывал у них с Олимпиадой Владимировной на Ордынке. Самое большее, что мог, — это передвигаться (и то с трудом — лицо багровело от напряжения) по их небольшой двухкомнатной квартирке. Из своей девятиметровой комнатки в кухню или туалет — и все. Иногда даже с помощью Олимпиады, подставлявшей под большое мосластое тело худенькое острое плечо. Суставы ныли, ноги отказывали. Все болячки, что скопились за жизнь, особенно за годы на Севере, вылезли и начали изъязвляться. Собственно, так и познакомились — Минчевскому стало плохо в церкви во время литургии (душно было), и он, случайно оказавшись возле, вместе с худенькой, но очень прямоспинной женщиной (не старой), помог ему выбраться (тело тяжеленное), а потом, когда тот чуть-чуть пришел в себя, отдышался, поймать машину и отвезти домой.

Поразило лицо Минчевского — все из углов и теней, морщинами изрезанное, словно с картины Эль Греко. Величественное. А улыбка — за-

стенчиво-жалкая, извиняющаяся: дескать, вот учудил... Сразу не отпустили. Минчевский, проглотив кучу таблеток, отлеживался на казавшемся маленьким под его грузным телом диване, занимавшем большую часть комнаты (остальное пространство — стеллажи с книгами, много книг), а Олимпиада хлопотала на кухне, собирала на стол.

Потом довольно часто бывал у них, слушая рассказы Минчевского — про Север, про жизнь, про случайности, которые вовсе не случайности, а «производное их отношения к миру». Хирург по профессии, он много всего повидал и до лагеря, и после. Возле дивана на полу столбиком высились одна на другой пухлые общие тетради — многолетние записи, которые он вел, «отчет» (большая красивая рука нежно поглаживала коленкорную обложку). И, рассказывая, когда сидели у него в комнате, кивал на них, словно те должны были подтвердить его слова.

Почему вот только — он? Ведь были, наверно, и более близкие.

Хотя, возможно, не складывалось. Претензий у Минчевского было много. Чересчур. У каждого, с кем пересекался раньше или позже, обнаруживались какие-нибудь неприятные изъяны или огрехи — суд его был нелицеприятен и строг. «В человеке нет правды». Насчет «выше» — только намеки, но и без того понятно, что если опора, то только *там*. Похоже, выговориться надо было. «Как-нибудь дам почитать» (поглаживание тетради) — быстрый многозначительно-внимательный взгляд. Вроде как: дать — не дать?.. А осознает ли?

По всему, однако, выходило, что уже определился, дело за удобной минутой. Вкрадчиво-властный. Уже ощущалось как некое обязательство: приезжать, слушать... Вероятно, в скором времени читать... «Я вам доверяю». Если же долго не появлялся, то непременно раздавался звонок, глухой низкий голос: «Что-то вы нас подзабыли...» Или тихий голос Олимпиады: «Вы нужны Вацлаву...»

Так бы все и продолжалось по начерченному не им плану, если бы однажды у кого-то в гостях не услышал скептическое: Минчевский? Весьма сомнительная фигура. Хирург хороший (был), характер невозможный, амбиции непомерные и... (пауза), не исключено, *сотрудничал*...

Слово такое — «*сотрудничал*». Оно-то и выросло вдруг стеной. Мало ли кто что сказал, этак можно про любого, даже и про того, кто сказал... Попробуй опровергни. Но сколько доводов против ни находилось, слово все разьедало, как кислота. И потом, уж слишком строг, слишком требователен.

Так и сошло на нет — реже и реже стал бывать (раздражала вкрадчивая власть)... Звонки еще были (не случилось ли чего?) — сначала самого Минчевского, потом только Олимпиады (видимо, по его просьбе), но ими и ограничилось... Потом и вовсе.

Какие-то еще тени мелькали...

Странная фантазия: персонажи, выходящие из туннеля, из-за стен, обликованных мрамором, за которым жирные сырые пласты желто-коричневой глины. Из бегущей толпы людей. И туда же скрывающиеся. Эманация растревоженного сознания, подпавшего под власть каменных сводов. Теперь тревога меньше. Загадка загадкой, но уже понятно, что встречи могут стать частыми. Ночью снилось, как утром окликнут в метро, он подойдет, и они наконец-то поздороваются нормально, как действительно хорошо знакомые люди. Пожмут друг другу руки. Может, даже обнимутся и поцелуются. Толпа будет обтекать, как вода обтекает случайный большой валун. Столько лет не виделись! Какими судьбами! Дружеское похлопывание по спине, поглаживание по плечу. Шаг назад, чтобы получше рассмотреть: надо же!

А был ли мальчик?

Невысокая худенькая фигурка, время от времени маячившая возле их калитки. Узко посаженные глаза, длинный буратиновый нос. Егор. Проходя, поворачивал голову в сторону их двора, как бы высматривая. Любопытный. Стоило выйти на улицу — тут же и он, словно нарочно поджидал. Его дом был через два по той же стороне. «Вы в магазин? Можно, я с вами?» Не запрещать же. «А я сегодня перелетел через руль, ехал по лесу и на спуске наткнулся на корягу. Бок до сих пор болит. Думал, ребро сломал». Однажды поздно вечером вышел с фонариком погулять в поле — темень, ни звезды. Внезапно шорох по сухой песчаной дороге, силуэт велосипедиста, «здравствуйте». Оказывается, любил кататься по ночам («Я всегда катаюсь в такое время»). Ночью он якобы лучше видит, чем днем. Фантазер. Катил рядом на велосипеде, поскрипывая цепью. «А вы читали?..» Так вот он, Егор, тоже умеет дышать под водой, ну не совсем дышать, а все равно может продержаться очень долго, минут пять-семь. Дольше никто не умеет среди мальчишек. Один раз даже думали, что утонул, хотели спасти. У него легкие необычные, не как у всех. И слух тоже. Он под водой слышит разные звуки, ну, как рыба с другой перекликается, хотя говорят, что рыбы немые. Что-то вроде свиста, но не совсем, как бы звук от разряда тока. Так может быть? Это Егор у него спрашивал, может ли так быть.

Пятнадцать лет. С бабушкой жил. То ли друзей не было среди сверстников, что он к нему, взрослому, намного лет старше его человеку, тянулся, то ли зацепил его чем-то, пойдя пойми. Не оттого ли, что как с ровней с ним разговаривал и не смеялся над его фантазиями? Высунувшись из-за забора, спрашивал: «А вы пойдете сегодня гулять? Можно, я с вами?»

На следующее лето снимали дачу в другом месте — и парнишки там, понятно, не было, а через год к концу весны неожиданно звонок: «Здравствуйте, это Егор. Помните? Если хотите, можете жить у нас с бабушкой. Знаете, я научился водить автомобиль. Если хотите, могу и вас научить».

Надо же...

Забывтая радость встречи! Почему-то все чаще горечь расставания, разлуки, иногда надолго, иногда навсегда. И вдруг — знакомое лицо. А казалось-то, что все, только память, мимолетное воспоминание, эфемерный образ... В метро так в метро. Тайна подземного царства. Духи туннельной тьмы, пронсящиеся желтые огоньки, которые нравилось считать в детстве, прижавшись лбом к прохладному стеклу автоматических дверей, прямо рядом с надписью: не прислоняться. Стиралась сначала приставка, потом суффикс и частица...

Не-слон-...

ЛЮБОВЬ К КОРОЛЕВСКИМ КРЕВЕТКАМ

Люблю креветки. Крупные, розовые, мясистые, с колко щекочущими длинными растопыренными усами...

Королевские.

Это во сне приснилось — что креветки. Но дело даже не в них, а в том, что — «люблю».

Люблю... Такая фраза, которую приятно почему-то произносить, словно любить креветки — подвиг или благодеяние. Хотя никакими креветками тут даже не пахнет, им просто неоткуда взяться в этом углу.

Автомат в руки — и пошел! Какие, блин, креветки!

Впрочем, все дело именно в «люблю», а вовсе не в креветках, хотя и в них тоже. Солонатовый ароматный сок стекает по губам. Если любишь — с пивом, понятно, особенно, — то, значит, как-то глубинно связан с этой

странной, чужеродной жизнью, даже если она имеет тебя в лице старшины и прочих военачальников. Это как-то по-настоящему, не то что игра с оружием: собери-разбери, все эти марш-броски по пустынным туманным лесам и полям с нахлестывающей по мягкому месту саперной лопаткой и натирающими в кровь ноги кирзачами, под капающими с веток крупными серебристыми каплями утренней росы... Даже если в горящую избу или под танк с гранатой — все равно по-игрушечному.

Если любишь креветки, пусть даже отсутствующие (в здешних краях они точно не водятся), то, значит, существуешь. Именно ты, а не кто-то другой, который мог бы любить что-то другое или, наоборот, не любить, и это тоже была бы некая аутентичность. Значит, еще не полностью тебя выело, кое-что осталось. Хотя бы креветки...

Нежно-розовые, как лепестки цветка, бледнеющие к краям, на белой тарелке рядом с уринно мерцающим пивом. Фламандской школы пестрый сор... Как-то съели с приятелем под пиво столько (пива тоже было много), что по телу поползли розовые, похожие на этих самых креветок, небольшие, зазубренные по краям пятнышки и потом никак не хотели исчезать, чесались противно. Но это будто не с ним, а с кем-то. Вообще все, что на гражданке, казалось, было не с ним, а с ним — ничего, и вообще непонятно: с ним — с кем?

А вот с тем, кто никак не может нормально намотать на ногу вонючую портянку, отчего на ноге потом кроваво-розовые креветки, то бишь мозоли, и мучительно ступать — не то что ходить строем и тем более бегать. Больно ведь ему, а не кому-то другому.

Вообще с этим «люблю — не люблю» тоже непонятно. Как и с вопросом: хорошо или плохо? Задавать его — значит обрекать себя на постоянный выбор: что получше, где получше... Нос держать по ветру. Место занимать поскорее в автобусе — где трясет поменьше, солнце не жарит, не толкают и не давят, не нависают, не дышат в лицо, на ноги не наступают, сумки на колени не ставят, колбасой с чесноком не воняют, свет не застят и проч., и проч.

Найди-ка такое место!

Нет, ко всему в жизни надо относиться иначе: сборы так сборы, мозоли так мозоли, стрельбища так стрельбища, через два дня так через два дня... Опять же: что ни делается — все к лучшему. Могло быть хуже. Но если хуже (где мера?), то все равно хорошо, потому что могло быть еще хуже.

С запасом нужно мыслить!

Гогоберидзе, князь (может, и в самом деле), простодушно интересуется, сильная ли при выстреле отдача. Никто ему не верит, что князь, потому что тогда бы не шлепал кирзачами в густом облаке пыли под одышливым смурным северным небом. И потом, был бы князь, жил бы себе в особняке с красной черепицей под чинарами или мандариновыми деревьями, услаждался бы горным звонким воздухом, снежными бы вершинами любовался.

— Не дрейфь, парень, не убьет. Главное, правь в землю, когда заряжаешь, — насмешливо инструктирует Витя Попов, в прошлом десантник.

О том, что он — десантник, знают все, даже те, кто не знаком с Витей. Легенды ходят про то, как он ходил в разведку, а посмотреть, как он работает на турнике или даже просто разминается, сбегаются из других взводов. Мышцы — и продольные, и поперечные — почти как у Шварценеггера. Такому и автомат ни к чему. Однако его беспокоит возможное соседство с Гогоберидзе на стрельбищах.

Князь обиженно отворачивает смуглое горбоносое лицо с нежной, как у девушки, кожей.

Гогоберидзе хуже, чем Олегу. Его густо поросшее черным аристократическим волосом холеное тело страдает буквально от всего: от желто-серой

пыли по дороге в столовую, взбиваемой их решительными шагами, так что в двух метрах ничего не видно, от писклявых юрких комаров и жирных кабанистых слепней, от ночного мозглого холода и сырости, от полутухлых рыбных консервов десятилетней давности и салоподобного комбижира вместо мяса... Его изящные небольшие ноги органически не выносят жестяных кирзачей, как, впрочем, и бодрой ходьбы строем, — князю никак не удастся попасть в такт. За десять дней лагерной жизни нарядов у него на три месяца.

Так вот, кровати... Верней, стрельбища.

Это им предстояло — стрельбища.

«Калашников» вычищен, смазан, можно теперь и просто посидеть, установив автомат меж колен и опершись руками на дуло, как старичок на палку. Они здесь все старички. Теперь нет молодых — все старые. У кого животик, у кого порок сердца, у кого печень на грани цирроза. Тело вяло сгибается, отдельное. Прилечь бы, скользнув с узкой, крашенной в зеленый, жестко врезающейся в ягодицы скамейки, которую и скамейкой-то грех называть — так, жердочка для птицы. Чтоб не рассиживались. А славно бы вытянуться на травке, на песочке, на кровати, да где угодно — чтоб горизонтально.

Впрочем, угнетает не столько даже усталость, не такая уж страшная — после позавчерашнего марш-броска вроде оклемались, — сколько шут его знает что. В ночных королевских кроватках — что-то загадочное. Кого это он во сне убеждал, что любит их?... И с чего вдруг? Ничуть ему их не хотелось — ни с пивом, ни без. Они с приятелем смачно высасывали из них сок, зажевывая солоноватой вкусной упругой плотью, похрустывая попавшейся на зуб ломкой роговой оболочкой.

Сми-и-ирн-а! Шаа-а-гом м-а-арш!

Между прочим, ничего особенного: ну, грязь, ну, жратва поганая, ну, мерзло по ночам (можно не раздеваться, в гимнастерке даже удобнее — по тревоге вскочил, ноги в сапоги — и вперед)... Немного совсем продержаться. Дни бесконечно длинные, тягучие...

Главное — зачем?

Вокруг же лето, земляника уродилась на удивление крупной, сочной, тает во рту, оставляя алые подтеки возле потрескавшихся от жары и пыли губ, небо то серое, то голубое над высоченными соснами, но все опять же отдельное, — мимо. Как будто из зарешеченного окна.

Впрочем, иной раз и удавалось — вытянуться на травке, земляничку подхватить, растереть языком о небо, высасывая сладкий сок и вдыхая божеественный бархатный аромат.

Однако ж не то. Не получалось. Иногда вроде и прорвется, но как-то быстро и потухнет.

— А что ты думаешь? В свое время я делал из пятидесяти сорок восемь. — Бойцы (Витя Попов) вспоминают минувшие дни.

Князь вяло иронизирует: вах-вах...

Попов хмурится грозно и поигрывает узловатым мускулом. На открытый конфликт ему идти лень, да и бесславно: не князю с ним тягаться, хоть он и князь (будто).

Возносятся над головой мачтовые сосны, покачивают верхушками, от их покачивания там, в вышине, от поскрипывания стволов нисходит успокоение. Вдруг забывается каждодневная муштра, бег с полной выкладкой, со стучащим где-то в горле сердцем и резкой колющей болью в правом боку, тухлые консервы... Но в эти же минуты внезапно наступает и странное астматическое замешательство, похожее на отчаяние, тоже тихое, — чудится: вся жизнь такая — тягучее серое волокно; вроде и в прошлом ничего, и в будущем, и вообще...

Кроватки — что это?..

На поляне перед палаткой дневальный — подбирает шишки. Время от времени замирает на корточках, глубокомысленно склонившись над редкой шишкой, и все тянется, тянется к ней рукой, никак не может дотянуться. Вроде обряда — то ли гадает, то ли колдует. Что-то древнее в его жесте, забытое, довековое. Привстав, разрастается он до немыслимых размеров, зеленым силуэтом врезаюсь в голубую полосу неба...

— На построение!

Народ сморенно поднимается, прихивая и пристанывая. Солнце высоко, жарко. Капельки пота скатываются под гимнастеркой, пощипывая просолившуюся запревшую кожу.

Князь по обыкновению ворчит:

— Только присядешь — сразу вставай, что за жизнь? Может, Гогоберидзе отдохнуть хочет. Может, он устал. Только и слышишь: давай быстрей, беги, вставай, иди... Нет чтобы: полежи, Гогоберидзе, отдохни!

— Меньше рассуждай, ё-к-л-м-н, легче жить будет, — тонким немужским голоском блеет Костя Суров и нежно рассыпает такую матерную ругань, что любой грузчик позавидует.

Костя крупен телом, но безмускулен и женственен в движениях. Голос его мягок и мелодичен, когда он напевает что-то, но с той же мелодичностью (чаще, чем поет) он сыплет забористой матерщиной. Не мат — песня!

— Ты, князь, не рассуждай, — неожиданно для себя встревает Олег, — лучше спивай, как Суров. Или матерись. Авось полегчает.

— А тебе что, не нравится, как я пою? — мрачнеет Суров, и уши у него кривоточно вспыхивают.

Нравится — не нравится. К сердцу прижмет...

Живые, они шевелят длинными своими усами. Возможно, это вовсе и не усы, а щупальца. Что-то вроде рачьих клешней, только поменьше. И томные выпученные глазки.

Ясное дело, лучше, когда ветер шумит в верхушках сосен, когда поскрипывают трущиеся друг о дружку ветви, когда свиристит цикада или чирикает пичуга, а еще лучше — когда все вокруг онемевает внезапно, замрет, как в предгрозовую минуту.

Именно здесь к нему пришло, в лагере, такое желание, чуть ли не жажда — полной, едва ли не окончательной тишины. Настолько полной, какую и представить себе трудно. Тишины-немоты. В нем уже была (свернулась клубком), и странно, что вокруг еще что-то говорит, пиликает, скрипит, попискивает, напевает, скрежещет, дребезжит, дрынькает, тенькает — живет...

Два следующих дня Олегу отчетливо плохеет.

То есть опять же вроде ничего, но вдруг ни с того ни с сего насморк, платок насквозь мокрый, липкий, так и таскает его скомканным в кулаке — поближе к носу, в голове раздражительно-мутновато, как обычно при насморке. Внезапно нахамил взводному, неплохому, в общем-то (не выслуживается), парню. Впрочем, в тот момент и в мыслях не было: хороший — плохой... И когда чуть не сцепился с Витей Поповым из-за князя, тоже ни о чем не думал, а напрасно — быть бы ему размазанным по ближайшей сосне. Глаза у Вити такие, словно он собирался в штыковую атаку. Не случись рядом обходившего палатки майора, наверняка бы не кончилось взаимным угрюмым переглядыванием.

Жизнь на глазах кособочится: до конца сборов далековато, а у него два наряда в запасе, многозначительное почмокивание и покачивание головой в его сторону бывшего десантника (чтоб Олег не забывал), а в довершение бед — натертая до крови нога (проклятые кирзачи!)...

Погода тоже портится. Долгий косой, с резкими порывами ветра дождь — не спасает никакая плащ-палатка. И без того похожи один на другого — лопухие и гололицые, а теперь в капюшонах и вовсе не узнать. Пыль на дороге в столовую превращается в густую чавкающую грязь, вспухает до щиколоток, засасывает, как болото. Словно не было вчера солнца, жары, ленивого писка комаров над ухом. Жизнь стягивается, съезживается в один-единственный расплзающийся до бесконечности мглистый угрюмый день.

Олега тоже нет. Верней, есть, но как-то невнятный.

Скидываются, посылают гонца, переодевшегося в цивильное — одно на всех, предусмотрительно припрятанное кем-то, — в поселок, в продуктовый магазинчик за водкой или портвейном. Иногда обходятся чифирьком, разводя в укромном лесном овражке маленький костерок и поставив на него закопченную до черноты кастрюльку с отломанной ручкой.

Однажды пустили по кругу сигаретку, с виду вполне обычную, хотя что там разглядишь в темноте? Ломовая оказалась сигаретка, с начинкой, прежде не доводилось. И башка на следующий день разваливалась, словно две бутылки водки выпил, еле поднялся, а потом все норовил выпасть из строя, присесть на корточки, предаться отвлеченному созерцанию — такой философический стих нашел.

Раздражение уже не разрастается, а просто медленно накапливается — кап-кап, откладывается плотным липким слоем где-то возле диафрагмы, эдаким сталактитом-сталагмитом. Олег заглядывает в себя, как спелеолог в неведомую пещеру, пытается протиснуться сквозь ледяные и каменные наросты... Еще б знать, что это такое — *самость*, то есть его *самость*, его «я», ну да, то самое...

Креветки. Люблю — не люблю. Аллергия у него на них — небольшие розовые пятна по коже, словно ободрался обо что-то. О розовый ноздреватый панцирь.

Может, и не было никогда у него этой самости, а только казалось. Какая, к самость? В ногу идут — хочется песни, хором, под гулко отбиваемый шаг: не плачь, девчонка, пройдут дожди... Славно, когда хором, в одну глотку — прохладные щекотливые мурашки по потной коже. Восторг, чуть ли не счастье — подхватить, подхрипеть, подгугнить! С надрывом, с присвистом, с притопом — левой, левой (кто там шагает правой?), левой!.. Гогоберидзе, мать твою, ну-ка подтянулся, тебе что, нарядов мало, левой, левой, не плачь, девчонка, левой...

Дожди не проходят...

В палатке вечером включают карманный фонарик, подвешенный к одной из распорок. Кто-то подшивается, кто-то корябает письмецо. Взводный, педант, лепит пластырь в места, где палатка подтекает — кап-кап...

— Ну и погодка! — бурчит кто-то.

— Да, погода дрянь, — сумрачно откликается взводный. — Я когда служил, у нас парень один в такую погоду застрелился. Осенью.

— Как это? — интересуются.

— А вот так, — почти сердится взводный, — пошел на пост к складу, «калашников», естественно, с боевыми. Дуло в брюхо, ногой на курок... И привет. Так никто и не узнал, отчего. Вроде парень как парень, ничем не выделялся, не замечали в нем ничего особенного. И на тебе!

— Псих наверняка, — презрительно сплевывает Витя Попов. — Неврастеник. Все они такие.

— Сырость не разводи — не в хлеву! — неожиданно свирепеет взводный. — Расхаркался тут...

— ???

— А то... На улицу иди плеваться!

Во как.

Ну да, вяло тянется мыслительный процесс в Олеге (никак не устроить ему поудобнее на жестких нарах), все просто. Ничего того парня, значит, не держало. И не прельщало. Ну а его-то *самого* что держит, собственно? Да, вот его лично? Там ли, здесь ли? Там — все равно что здесь, и здесь — почти как там. Даже если здесь, то запросто можно оучиться там или где-нибудь еще. Все элементарно, никому не нужно и без разницы...

Смутно в нем ворочается, тяжело, тоскливо, но на каком-то очередном витке внезапно, в одно мгновение, взрывает и проясняется: ему тоже не надо...

Не хочет он!

А главное, решить-то все можно скоро и легко, не откладывая в долгий ящик. Хоть бы завтра!

Так любит он криветки или нет? Хорошо это или плохо — стрельбища? — вертится дремотно под мерный круглый перестук дождевых капель. Автомат «калашников». Пистолет «ТТ» с тремя боевыми. Взять и выйти из игры — сразу. Может, не выпадет больше такого шанса. Единственное право, на которое не приходится никаких обязанностей. Вообще ничего. Вышел он, извините...

Взводный будет рассказывать: в один дождливый день... Десантник Витя Попов презрительно сплюнет. Князь ворчливо вздохнет: эх, жизнь!

На самом краю сна всплывают в розовом сполохе топорщащиеся в разные стороны острые усы креветок: *ничто* — хорошо это или плохо?

Утро стрельбищ пасмурное, но теплое. Тучи ползут низко и небыстро, хорошо, хоть без дождя. Мир с затерявшимся небом сузился, оплотнел, затяжелел, словно насквозь пропитался влагой. Тихо и как-то глуховато, и в тишине этой со стороны полигона — гулкие, дробные удары. Бух, бух...

Олег напряженно прислушивается — то ли туда, то ли внутрь. Вчерашняя полусонная ясность замутнела, как будто не с ним. И весь какой-то тусклый, невыспавшийся, нетвердый — даже на ногах. Левая побаливает в икре — ночью свело судорогой, вскочив, лихорадочно тер ее, пока наконец не отпустило, но остаток ночи получился размазанный, почти бессонный.

На опушку, где расположился, дожидаясь своей очереди, их взвод, шумно вываливаются уже отстрелявшиеся — гам и гомон, страсти-мордасти, кто куда попал и сколько очков выбил, раскрасневшиеся азартные лица, веселые, ты куда целился, под яблочко нужно, мушка скособоченная, на курок надо плавнее нажимать, не дергать...

Воинская доблесть распирает, берedit...

— Тренируешься? — спрашивает князь, присаживаясь рядышком на пенек.

От неожиданности Олег вздрагивает и непонимающе на него смотрит.

— Репетируешь, говорю? — Князь медленно поднимает руку с вытянутым вперед указательным пальцем — вроде как целится, ребячливо пыхает губами.

— А... — Олег смущенно отводит взгляд. Даже не заметил, что действительно как бы пробует, машинально вскидывая руку и словно держа в ней...

После стрельбы из «калашникова» все чрезвычайно возбуждаются. Оказывается, и у них во взводе народ не без способностей. Майор расцветает на глазах. Даже князь не оплошал, такие чудеса, не говоря уже про Витю Попова.

Олегу, увы, похвастаться нечем. При стрельбе он нервничал, никак не мог приладиться к автомату, ноги мешали, все мешало, он дергался, ворочался, как на нарах, пытаюсь поудобнее поставить локоть, елозил ногами, в результате пули уплывали куда-то вверх, в какую-то невидимую небесную мишень. А ведь ему хотелось, правда, очень хотелось попасть, просто позарез (если даже Гогоберидзе). Самому противно — так хотелось.

Как же все-таки получилось с тем парнем? Что он думал, что чувствовал в те минуты? Особенно в предпоследнюю, когда решилось для него. Так Олег и брал автомат, словно не он, а кто-то другой, может, именно тот парень, из той дождливой осени, из той жизни.

Туда, где стреляют из пистолета, они идут вдоль леса. С сосен слетают на гимнастерку, на лицо запоздалые капли, густо, хмельно пахнет землей и хвоей. Кое-где между ветками застрял и медленно истаивает туман. И вдруг словно пронизывает от кончика носа до мизинца левой ноги: все это непременно кончится, и даже не когда-нибудь, а гораздо раньше, через пару месяцев, меньше, через полтора, он сможет пройти по такому вот лесу вольным казаком, ну да, он будет свободен, как никогда в жизни, и лес будет принадлежать ему, и поле, только ему, никому больше. И вообще все, о чем он не думал никогда и в чем, оказывается, так остро нуждался. Вдруг доходит (словно разменял сразу пару десятков лет), что можно, вернее, нужно, просто необходимо — иначе, по-другому, а как по-другому — это он еще сообразит, успеет...

Теперь же — почти счастье: вот он, лес!

Пронзило и исчезло, как не было. Только зябко и отрешенно сделалось. Словно солнечным лучом просквозило. Правда, лес все-таки был, вот он, стоит, прицелившись соснами в небо.

...Стреляют по трое. Заходят в дощатое строенье — то ли ангар, то ли амбар, и потом там бухает: раз, два, три... Опять же по три на брата. Ровно три патрона. Ровно столько, сколько достаточно. Встать, крепко упереться ногами в землю, медленно поднять напряженно вытянутую руку, совместить прорезь прицела с крошечным бугорком на конце ствола (мушкой)...

Осень была, когда тот парень... Грибами, наверно, пахло и палыми сырыми листьями.

Пока тянется и доходит до Олега, до его тройки, он уже раз сто выстрелил и раз сто промазал. В ушах гул и как бы заложило — так втянулся в стрельбу. Трах-бах-бабах! Падай, а то играть не буду! И опять неотвратимо: трах-бах-бабах! На самом же деле нужен всего один, один-единственный, взаврадашний, прямо в яблочко, к нему и подкрадывается-примеривается. Как бы понарошку, но неотвязно нащупывает момент, когда все совпадет, когда должно совпасть: озноб и решимость, непреклонность и дрожь, когда уже нельзя назад, поздно.

И когда наконец наступает их черед и они идут — примеривается, когда спотыкается о порог (какой ногой?) — примеривается, майор, славный, объясняет в который раз, как заряжать, как целиться, а потом выдает каждому по три, тускло поблескивающих, золотистых, нестрашных вовсе, — примеривается.

Когда же распределяются по позициям — подкрадывается.

«ТТ» лежат на белых табуретках возле каждой позиции, вполне эстетично: черное на белом. Он любит, любит кровати, особенно королевские. Омары, кальмары, трепанги, миноги... Черное на белом. Розовое. Патроны, как кровати. Красное на зеленом. Серо-буро-малиновое-в-красинку...

Натюрморт.

Подкрадывается.

— Эй, ты куда? — ловит за рукав гимнастерки майор, по-житейски так, запросто. — В центре твое место.

— Почему в центре? — сбивается Олег, заприметивший для себя крайнее левое, дальнее от входа, и туда целеустремленно направляясь.

— Со второй стреляешь, — майор подталкивает настойчиво, — повнимательней давай!

Приткнули его. Он и сам приткнулся, завис над черным и белым — примериваясь.

— Второй рукой не придерживать! И дулом, дулом от себя, слышите?! — беспокоится майор.

Главное — что?

Не торопиться! Тише едешь — дальше будешь. Дальше — где?

Олег сосредоточенно закладывает патроны в обойму. Рукоятка удобно вливается в мгновенно вспотевшую ладонь, освежая металлической прохладой. Отделившись и подрагивая, рука тяжело поднимается. Теперь — совместить, как их наставляли.

Рядом неожиданно бухают один за другим выстрелы.

Олег плавно тянет пальцем курок, рука дергается. Он зачем-то вглядывается, щурится напряженно в черный кружок мишени — пойдешь разбери, что там. Капельки пота щекотно скатываются по вискам, по лбу. Он поднимает ту же правую руку и рукавом смахивает их. Рука предательски дрожит. И весь он дрожит, буквально трясет его мелкой противной дрожью.

— Один остался, — вдруг прямо над ухом голос майора. — Заканчивай стрельбу, отдыхать после будешь!

Один! Когда это успели? Значит, теперь все ждут его, смотрят, как он... Театр одного актера. Так что там с криветками? Ах да, люблю.

Даже теперь, в эту секунду ему не добраться до себя, до того самого-самого, до *самости* — чтоб совпало, чтоб решилось, чтоб *он*...

После последнего выстрела его и в самом деле как будто нет. Совсем. *Кто-то* плетется на ватных ногах снимать мишень, а потом терпеливо-рассеянно вслушивается в негромкий хрипловатый голос майора, итожащего результаты: семь, девять, пять... Палец тыкается во вспученные на темном круге отверстия: перетянул, братец, отдыхал долго...

Братец.

Олег кивает.

Снова мелкий колкий дождик. Под сосной мирно покуривает отстрелявшийся взвод. Олег садится на сырой мох, медленно передвигается поближе к толстому пахнущему смолой стволу, к ребятам. Достает сигарету, прикуривает. С прикрытыми глазами (веки тяжелые, не поднять) видит отчетливо, как по сапогу, по голенищу, карабкается большой рыжий муравей, пухлый, как разварившаяся криветка...

УЛИЦА

Мы часто бывали на той, главной, улице. Конечно, она была самая-самая. Самая красивая, самая загадочная, самая манящая...

Время от времени, поближе к вечеру или даже еще позже, выпив или просто так, от нечего делать, садились в автобус и пилили через весь город. Какая-то непостижимая сила влекла туда. Уже загорались к этому времени высокие фонари, светились за чуть запыленными стеклами витрины с выставленными на них всякими экзотическими товарами, сияла неоновая реклама... Лиловый сумрак стелился над всем этим благолепием, сквозь который осторожно заглядывала нам в глаза подступающая ночь.

Мы погружались в это сияние, как в морскую ночную глуть, изнутри подсвечиваемую зыбкими таинственными огоньками. Мы проходили по краю этой крутизны, этих неясных, но ощутимых каждой клеточкой возможностей, как по краю бездны, испытывая сладко-тревожное ощущение ее близости — сделать только шаг! Мы были готовы...

Но кроме общей атмосферы было еще кое-что (или, верней, — кто), что особенно притягивало.

Разумеется, женщины.

Мы знали, что на этой улице всегда есть *те самые*...

Старшие опытные ребята говорили, что их там полно, снимай — не хочу. Некоторые за деньги, а некоторые и за так (кому нравится), только и ждут, чтобы кто-нибудь их позвал, а иные сами предлагают, чуть ли не за руку хватают.

Понятно, что нам это не светило — чтобы за руку, не доросли, но факт, что женщина может сама взять тебя за руку с вполне определенным намерением и куда-то повести, просто зомбировал.

Бог знает сколько километров мы исходили по этой довольно длинной улице, мы паслись на ней часами, но так и не могли обнаружить тех, про кого говорили наставники. Да, попадались женщины, постарше и помоложе, даже просто девчонки — стайками, парами и в одиночку (реже), но как было определить — *те* это или не *те*?

Нет, правда, их, как и вообще народу, вечерами на этой улице всегда бывало достаточно — кто-то куда-то целеустремленно спешил, кто-то просто шел, но могли и просто фланировать, как и мы, глаза по сторонам и никуда не торопясь. Попадались и такие, кто стоял с мороженым или бутылкой пива в руке и без — в одиночку, парами или опять же стайками, что-то обсуждая между собой или как бы ожидая чего-то... Но были ли это *те самые* — кто сказал бы наверняка? Ни по одежде, ни по чему другому.

Поди разберись...

А нам очень хотелось разобраться.

Конечно, слово «б...» было ругательством и употреблялось чаще всего именно как ругательство. Однако порой в его льдистой звонкости вдруг проступало нечто вкрадчивое, знобкое, почти магическое — оно и звучало тогда совсем по-другому. В нем был — призыв, иногда тихий, как ночной шелест листьев, а иногда оглушительный, как раскат грома, отчего охватывала странная, неудержимая дрожь...

Мы останавливались возле какой-нибудь витрины, в которой отражался заинтересовавший нас участок улицы (где как раз маячила *показавшаяся* нам особа, одна или несколько), и, делая вид, что погружены в созерцание выставленных напоказ тряпок, обуви, бутылок или электроники, внимательно наблюдали.

Это было даже увлекательно: девица могла прохаживаться, задумчиво курить либо нетерпеливо посматривать на часы, лицо ее то закрывалось тенью, то вдруг резко высвечивалось, тело то устало изгибалось, то принимало, как нам казалось, вызывающую позу (одна нога выставлена вперед или чуть вбок), то... В каждом ее, может, даже вполне случайном, произвольном жесте нам мерещилось то самое, зазывное...

Впрочем, всякий раз плоды наших наблюдений оказывались весьма незначительными: увы, уверенности, что мы не ошиблись, что наконец-то обнаружили, по-прежнему не было. Чаще всего девица дождалась своего ухажера, радостно спешила ему навстречу и вместе с ним уходила в кафе или еще куда-то, неведомо куда (может, в театр или в кино), и ничто не свидетельствовало, что она... вот именно...

А ведь часто случалось, что кто-нибудь из нас вдруг восклицал (как Архимед из учебника: «Эврика!»): вон-вон, точно... И мы в очередной раз разыгрывали если не сцену из фильма про шпионов, то что-то в этом роде. Выстраивались возле витрины и в ее зазеркалье жадно рассматривали искомый объект.

Иногда, увлекшись, мы теряли ощущение времени и места, мы забывали, что смотрим на отражение в стекле, — мир незаметно выворачивал-

ся наизнанку, и мы были уже не здесь, а *там*, среди мерцающих огоньков *той* улицы, в тревожной пляске теней и бликов, среди *тех* женщин, которые потом таинственно исчезали, оставив в нас горьковатый осадок обмана. Ведь это не кто-то подходил к ним, а мы, или они подходили к нам, и мы вместе шли куда-то, чтобы окунуться в самую глубину этого зазеркалья.

Эта тайна преследовала нас.

Однажды мы сидели поздно вечером в скверике — не на той улице, а неподалеку от своего двора. Было пустынно, никого, кроме одинокой парочки на скамейке метрах в пятидесяти напротив, заслоненной большим кустом разросшейся цветущей сирени, от которой тянулся к нам сладкий дурманящий аромат. Мы курили, взрослев с каждой затяжкой, и глядели в темноту напротив, где то ли обнимались, то ли что... И тогда кто-то сказал: «Точно б..., я ее знаю. В соседнем доме живет, и всякий раз с разными. Может, она и деньги берет».

Парочка, почти невидимая за сиренью, сразу обрела некоторую определенность, в воздухе повисло напряжение.

Между ними еще что-то происходило, какое-то шевеление.

Но зато шепот мы слышали четко (вместе с порывом легкого теплого ветерка): «Мальчишки смотрят...»

Кусты дрогнули. Вышедший из-за них мужчина сделал шаг в нашу сторону — не трудно догадаться, с какой целью. «Не надо», — раздалось вслед, уже не шепот, а голос, и просквозившая в нем тревога прозвучала для нас как сигнал опасности.

Мы встали, не дожидаясь, когда он к нам подойдет. Мы не собирались ни с кем связываться, нам это было не нужно. Лицо женщины бледнело в темноте сквозь мерклый отсвет далекого фонаря, и была в этой бледности какая-то болезненность.

После этого случая мы иногда встречали ее в нашем дворе, одну или с каким-нибудь человеком, провожая пристальными взглядами до самого подъезда, пока она не исчезала там.

Однако тайна все равно оставалась тайной, и то, что мы все хотели прочесть, было зашифровано гораздо искуснее, чем все подбираемые нами коды. Набор примет: густой слой пудры, ярко накрашенные глаза и губы, немного напоминавшие маску, короткая юбка, черные колготки, низкий вырез на груди — все это было очень условно (откуда взялось?) и ничего еще не доказывало...

Улица, улица...

В какой-то момент мы вдруг заметили, что неподалеку от нас, где бы мы ни расположились, толчется один и тот же господин — невысокого роста, худой, в синем плаще. Откуда-то он возникал.

Поначалу мы не придали этому особого значения: стоит и стоит, мало ли... Может, ждет кого-то, может, за кем наблюдает, как и мы. Не исключено, что за теми же девицами. Вдруг у него свой интерес к ним (тем более, если они *такие*)? Мы к нему и не приглядывались (он не отражался в стекле витрины, а виден был сбоку), пока не стало ясно: человек здесь не совсем случайно... Как-то странно он на нас поглядывал, слишком внимательно, не уловить этого было нельзя.

Настроение у нас стало портиться. Как только мы появлялись на этой улице, тут же объявлялся и он, причем не только там, где мы останавливались, но и когда просто шли по ней, — он следовал за нами, пристраиваясь где-нибудь неподалеку и делая вид, что просто гуляет или рассматривает витрины. Он следил за нами, это было ясно.

Но зачем?

Мы знали, что у *тех* девиц бывают охранники или как их там. Но он не был похож на охранника — невзрачный, с узким худым лицом и ма-

ленькими черными усиками, в надвинутой на глаза кепке. Нет, ничего такого уж особенного в нем не было, однако чем дальше, тем больше вселялась в наши сердца тревога. Если ему что-то надо, почему не подходит? И какой ему прок следить за нами, если все равно мы ничего особенного не совершаем? Или он ждет, когда что-то произойдет?

Он нам досаждал. Очень неприятно, когда за тобой следят, особенно таким вот непонятным и, главное, назойливым образом.

Это было как наваждение: стоило выйти на ту улицу, как в любой женщине сразу начинало мерещиться...

Сколько раз казалось, что на нас призывно смотрят. Мы оглядывались и действительно замечали неподалеку какую-нибудь женщину, ловили внезапный цепкий взгляд. Но дальше все равно ничего не происходило.

Многое нам уже было известно про отношения между мужчиной и женщиной, больше, правда, по рассказам старших, все уже постигших ребят. Но в этом было что-то невзаправдашнее, похожее скорей на вымысел, чем на правду. Улица же сулила нам эту правду, и мы к ней стремились, как мотыльки на пламя, в сверкании огней, витрин, мелькании лиц и шуме проезжающих машин.

Мы искали — и не находили.

Но всякий раз надежда вновь оживала в нас, едва мы садились в автобус, нестерпимо медленно тащившийся по огромному городу. Во всяком случае, тайна должна была открыться и нам — неведомо каким путем, но должна. Нужно было только набраться терпения. Пространство, в котором мы обитали: двор, школа, окрестные переулки и улочки — все было другим, нежели та улица. Все у нас было, как у всех: быт, учеба, крики, ссоры, драки, игры, — однако ж не так, как на той улице.

Там был праздник.

Стоило высадиться из автобуса, пройти пару кварталов и свернуть налево, как сразу — блеск ярко освещенных витрин, проплывающие фары автомобилей, сияющая реклама, снующий взад-вперед народ... Значит, предстояло и нам, но когда и как — никто не знал.

Такая получалась игра: ищи женщину.

Верней, определи — *та* или не *та*. Стоило лишь проскользнуть намечку, как мы сразу притормаживали и начинали вглядываться. Зазеркалье витрин служило нам верным подспорьем, но если витрины не было (женщина могла стоять в полутемной арке, или на углу дома, или еще где-нибудь), то приходилось искать какие-то другие способы для наблюдения: прятаться за газетным киоском или театральной кассой, устраивать различные конфигурации тел: кто-то — спиной, кто-то вполборота — вроде как просто так стоим, без всякого умысла.

Непонятно, откуда он возникал.

Вдруг, будто специально дожидался нас... Может, жил он здесь, а может, работал, шут его знает. Но возникал почти сразу, едва мы ступали на мостовую этой улицы. Теперь мы не сомневались, что он следит за нами, хотя и делает вид, что сам по себе. Поскольку он ничего не предпринимал, то все этим и ограничивалось. Хотя весь кайф от нашей игры он нам перешибал. Чувствовать на себе постоянно чей-то пристальный взгляд — радости мало, особенно если не понимаешь, что за ним кроется.

Поначалу мы думали, что ему в конце концов надоест: походит-походит и отвяжется, потому что какой толк ему таскаться за нами? Никакого толку. Вели мы себя вполне скромно: не били бутылок, не цеплялись к прохожим, разве что иногда стреляли у кого-нибудь сигаретку. Денег у нас тоже не было, если его это интересовало.

Однако не отклеивался.

Мы остановимся — и он где-нибудь неподалеку, в своей низко надвинутой на глаза кепчонке, вроде пялится на что-то постороннее, однако ж взгляд обязательно цепляет и нас — чувствовалось. Не нравился нам этот взгляд, жесткий, как бы насмешливый. Будто понимал, что мы его вычислили. И догадывался, зачем мы здесь. И это было самое тревожное — какая-то неведомая угроза для нас.

Каждому, наверно, не раз в жизни казалось, что на него смотрят — именно в ту минуту, когда не хотелось бы. Когда стыдно. Положим, лезешь в холодильник, пока никого нет в кухне, и берешь без спросу что-нибудь из приготовленного к празднику. Или копаешься в отцовском архиве. Или рассматриваешь мамины бусы. Или подсматриваешь за фигуристой соседкой по даче, которая загорает в купальнике прямо посреди участка. Ты за кем-то подсматриваешь, и за тобой вроде кто-то подсматривает, и оттого, что тебя кто-то видит за этим неблагоприятным занятием, — не по себе.

Правда, можно вступить в противоборство с этим неведомым, кто на тебя смотрит. Можно сказать: а пошел-ка ты! — и продолжать заниматься тем, чем занимался: подравнивать уменьшившийся почти на треть торт, алкать замутившимся взором поджаривающуюся соседку или еще что-нибудь в том же роде. Можно плюнуть и сделать вид, что все это тебе только мерещится, тогда как на самом деле никто на тебя не смотрит.

Вопрос: кто смотрит?

Некоторые считают, что ангел-хранитель (к каждому приставлен свой). У кого-то более бдительный, и тогда почти все время ощущаешь его присутствие, особенно если норовишь совершить что-нибудь неблагоприятное. А у кого-то мышей не ловит, и тогда многое может поломаться в жизни, по собственной вине, и все только потому, что ангел вовремя недосмотрел, не обнаружил себя предостерегающим взглядом. Кто знает, во что может перерасти, казалось бы, совсем невинное подглядывание за соседкой, если ангел отнесется к своим обязанностям спустя рукава? Или копошенья в чужих вещах, даже если это вещи твоих собственных родителей?

Но, может, это вовсе и не ангел, и тем более не хранитель, а грозный и праведный Судия. И он не просто следит за тобой, а собирает все твои оплошности и провинности в отдельную папочку, подшивает одно к другому, чтобы в конце концов предъявить тебе неоплатный счет.

А может, и еще кто-то...

С непонятной целью.

Однажды этот в кепочке оказался с нами совсем рядом, близко-близко, так что стала видна синева под глазами, тонкие ухмыляющиеся губы и розовая родинка на подбородке.

Мы стояли возле витрины спортивного магазина, как бы любуясь импортным спортивным снаряжением — всякими там мячами, ракетками, тренажерами (и вправду любуясь), но на самом деле, как обычно, пасли двух телок, торчавших возле газетного киоска с яркими глянцевыми обложками журналов. И вдруг увидели...

Да, вдруг увидели прямо перед собой — сквозь стекло. Он смотрел прямо на нас изнутри магазина, из-за этих самых мячей и ракеток, отразившись в отражении тех двух, в коротких юбках и черных колготках, за нашими спинами... Получилась как бы тройная композиция: он — в нас и в них, они — в нас и в нем и так далее. Как при гадании со свечами — когда в зеркале возникает длинный-длинный коридор и оттуда, из мутноватой глубины, кто-то туманно обозначается.

То ли потому, что лицо его возникло так неожиданно и ошеломительно близко, то ли — что смотрел прямо в лоб, почти не скрываясь, то ли что-то такое в его выражении, в остренькой беглой ухмылке, но нас про-

брало мгновенной дрожью, словно застучали на месте преступления (а ведь, собственно, ничего и не...).

Это уже не лезло ни в какие ворота. Похоже, он и в самом деле ждал от нас чего-то, какого-то решения или поступка, он нас звал куда-то, тянул в свою игру, смысла и правил которой мы не знали.

Теперь, в тройной проекции, мы вдруг почувствовали себя вроде тех самых, в коротких юбчонках и черных колготках возле газетного киоска, которые тоже, не исключено, просекли, что за ними наблюдают — с непонятной целью, — и оттого беспокойно оглядывались вокруг.

Что-то нас вдруг соединило, словно нанизав на один невидимый стержень, совместив на одно мгновение. Но этого было достаточно, чтобы вдруг стало не по себе. И в этот миг за нашими спинами, повернутыми к газетному киоску, выросли, также отразившись в стекле витрины, закрыв все остальное, еще три фигуры — мужские.

Они стояли позади нас, рослые, крепкие, один в джинсовой куртке, другой в пиджаке, третий в бейсбольной шапочке, загородив своими торсами девиц возле киоска и отсекая нас от улицы, которая продолжала, ничего не ведая, жить своей суетливой жизнью. А тот, с усиками, все так же смотрел на нас и на фигуры-тени (или скорей теперь мы были их тенями) за нашими спинами, как бы замыкая образовавшийся круг.

— Ну что, ребятки, хватит уже баловаться. Пора заняться делом, — прогундосил кто-то из этих трех, и они крепко (не вырвешься) взяли нас под руки. — Прогуляемся?



ЮРИЙ ГРУНИН



ИЗ ПЛЕНА — В ПЛЕН

Поэт, прозаик, художник, архитектор Юрий Васильевич Грунин родился в Ульяновске 26 мая 1921 года. Печататься начал в 1939 году. Воевал, в мае 1942 года попал в плен, после трех лет немецких лагерей десять провел в сталинских (Соликамск, Джезказган). Участвовал в Кенгирском восстании (см.: А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ» — «Сорок дней Кенгира»); автор повести о нем «Спина земли» (Алматы, «Жалын», 1999). Не имея возможности записать стихи, он многие годы хранил в памяти несколько тысяч строк и перенес их на бумагу лишь в конце пятидесятых.

После освобождения Грунин остался в Джезказгане, строил город на месте бывшего лагеря. Оригинальных стихов не печатал; попытки опубликоваться в шестидесятые годы ни к чему не привели, хотя восторженные отзывы Грунину прислали Твардовский (ему Грунин в 1965 году послал лагерный цикл для «Нового мира»), Сельвинский, Слуцкий. Уникальный эпос о плене и лагере, насчитывающий более трехсот стихотворений, существовал только в самиздате, в самодельных книжечках, которые автор сам иллюстрировал и рассылал друзьям. Первые книги Грунина («Пелена плена», «Моя планида») появились только в девяностые годы в Казахстане. Несколько стихотворений опубликовано в сборниках «Средь других имен» и «Строфы века», в «Литературной газете».

В этом году живущему в Джезказгане Ю. В. Грунину исполняется восемьдесят... Это его первая обширная публикация в столичном журнале.

* *
*

Я пишу стихи не для славы —
это суть моя в зоне смерти.
О несломленных и о слабых
я пишу стихи кровью сердца.

В них печаль моя по убитым,
гнев молчания, счет обидам,
и пока есть кровь в моих венах,
я пишу о мужестве пленных.

Здесь и ненависть, и молитва.
Песня-летопись говорит вам:
да осветятся, встанут судьбы,
как свидетели и как судьи.

Я шепчу стихи, угасая,
но свечусь еще верой смутной,
что в стихах своих воскресаю —
это суть моя, это суд мой.

1943.

Deutsches Brot

Мы слушаем прекрасный блеф,
что кушаем германский хлеб.

Зерно моей несчастной Родины
по договору к немцам шло,
на наше горе было продано —
и вот вернулось нам во зло
буханками трехлетней давности,
с тавром «тридцать девятый год».
Не знали мы, что нам достанется
наш хлеб под маркой «Deutsches Brot».

Режим жесток, а хлеб тут реже все —
ведь жрет его германский сброд!
Нам здесь на восемь пленных режется
буханка эта — «дойчес брот».
На нашем хлебе вторглись к нам они.
Спесивый, придержи свой жест!
Землей своей, всей жизнью знаем мы —
кто, что, и чье, и сколько ест.

1942.

Клоунада

Ну и клоунада — нету сил!
Стал я обезьяной дрессированной,
чтоб эрзац-подштанники носил
из бумаги мелкоффрированной.

Новая немецкая фигня:
не белье, бумага туалетная!
Тех кальсон — от силы на три дня,
впрочем, тут и жизнь недолголетняя.

Сунул ноги в ступы я голландские.
Поступь — сарабанда барабанная.
С банкой за постылюю баландой стою —
Буратино, кукла балаганная.

1943.

Мосты

Я шел на войне сквозь кусты
чужими глухими местами,
чтоб к счастью разведать мосты.
А счастье лежит за мостами.

Копал я породы пласты,
чертил я листы за листьями,
чтоб к счастью построить мосты.
А счастье лежит за мостами.

Но слева и справа, пусты,
застыли погосты с крестами,
и взорваны кем-то мосты.
А счастье лежит за мостами.

И я не твержу про мечты
потрескавшимися устами —
в душе сожжены все мосты.
Да было ли что за мостами?

1947.

Из плена в плен

Родина, все эти годы снилась ты.
Ждал я, что к рукам твоим прильну.
Родина, по чьей жестокой милости
мы сегодня у тебя в плену?

На допросах корчусь, как на противне.
Что ни ночь — в ушах свистящий шквал:
— Ты — предатель, изменивший Родине! —
Только я ее не предавал.

Офицер — собой довольный, розовый,
чуть взбодренный, оживленно свеж,
мягко стелет нежными угрозами:
— Ты узнаешь, что такое СМЕРШ!

«Смерть шпионам» — воля повелителя.
СМЕРШ, как смерч, основой основ.
О, триумф народа-победителя
с тюрьмами для собственных сынов!

Слушали в строю еще на фронте мы
чрезвычайный сталинский приказ:
каждый, кто в плену, — изменник Родины.
Плен страшнее смерти был для нас.

Кто в плену — над тем висит проклятие
тяжелее вражеских цепей.
Дай вам Бог не знать проклятья матери!
СМЕРШ страшнее смерти нам теперь.

Мы — репатрианты. Ходим ротами.
С ложками. В столовую. Раз-два!
Кто нас предает сегодня — Родина
или власть земного божества?

Где же он, предел сопротивления
в следственной неправедной войне?
Что же здесь творят во имя Ленина?
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

1945.

Я, з/к Грунин, СО-654

Я — Юрий. Не то чтоб юродивый,
а Юрий из Юрьева дня
и тихо молю мою родину:
верни в свое лоно меня!

Нелепо своими останками
здесь стыть мне под вечностью лет.
Ветрами, плетью казахстанскими,
исхлестан я, сил моих нет.

Не знаю, каким заклинанием
дойдет до тебя эта весть.
Успею ли перед заклинанием
сказать тебе: *я еще есть?*

1949.

Заклинание

Такие строки не умрут.
Их вещей смысл постиг теперь я:
во глубине сибирских руд
храните гордое терпенье.

Во глубине. В углу. В себе.
В Сибири. В сером серебре
своих висков. Во льдах, в граните
к своей земле, к своей судьбе
терпенье долгое храните.

1952.

Автобиографическое

Был сыном единственным,
был для родителей перлом.
Родился в Симбирске
весной в девятьсот двадцать первом.

Прийти до войны я хотел к вам —
прийти было не с чем.
Я рос простаком-недоделком,
поэзии нищим.

В Казани студентом-
художником начал: пойду, мол!
Но Гитлер об этом
немного иначе подумал.

За горький ломоть я
киркой грохотал да лопатой
да прятал в лохмотья
билет комсомольский помятый.

Потом, в сорок пятом,
домой собирался в дорогу —
но Сталин об этом
подумал иначе немного.

И тут передряг,
может, даже поболее стало:
корпел в лагерях,
каменел на камнях Казахстана.

В руде и породе
слагал я стихи про невзгоды:
мол, годы проходят —
все, стало быть, лучшие годы.

Так я отзвонил,
оттянул, отпахал свой червонец —
и вышел, как был:
не считая стихов, ничего нет.

Мне было прийти с чем.
Однако не знал я покуда,
что вышел нечистым,
персоной нон грата — оттуда.

Пишу я стихи.
От стихов — ни мышиноного писка:
застыли, тихи,
только в копиях машинописных.

И все ж я приду к вам
строкою единой хотя бы.
Приду не придурком,
приду тем, кем был, — работягой.

Пускай эпигоном,
гонимым весь век графоманом.
Пускай эпилогом
того, что не стало романом.

Прошел я все двери,
все бури не в лаврах героя.
Поэтому верю
в пришествие это второе.

И вы мои строки,
пожалуйста, раз хоть прочтите.
Меня в свои строки
своим человеком сочтите.

1969.



ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ

*

ГЛУХИЕ СНЕГИ

Фотограф

Он бегаёт по городу, обвешанный
аппаратами.
Ловит клиентов.
Было у него крошечное ателье
в облезлом парадном.
Выгнали за неуплату аренды.
А мастер он от Бога!
И, как все талантливые люди,
всегда без денег:
дружков-собутельников много —
угощает бездельников.
Что удивляет на его фотографиях —
ракурс.
По-своему увиденные переулки, улочки...
Под прозрачным слоем речной воды —
настороженная тень хариуса.
И тянущаяся к ней коварная тень
удочки...
...Меня он шелкнул ещё прошлым
летом.
Разворошил приятельских карточек
невыстребованную залежь.
Разглядывая снимок, я спросил:
— Кто это? —
Улыбнулся:
— Кого ты меньше всего знаешь.

Как птичка божья

Тень любит плоскость,
мухи — сладкое.
Ну а пьяный в лоскут —
скамейку городского сада.
...Я распластался на неудобном,
ребрастом лежаке
неподалеку от шумной площади.
И чувствую себя, как жокей,
сорвавшийся с лошади.

Мы остались в двадцатом веке

Ю. К.

Мы остались в двадцатом веке —
остановились часы маятниковые.
Нас заносят глухие снега,
как попавших в ловушку
мамонтов.
И когда-нибудь гиблую яму
вскроют смельчаки бескорыстные.
Не в поисках мамонтов —
истины.

Воодушевляющий препарат

В переполненных трамваях, автобусах —
пропади они пропадом! —
я часто слышу сетования пассажиров
на нынешнюю жизнь, беспросветное завтра.
И, чтобы оградиться от них, мысленно
переношусь за колючую проволоку —
иду по этапу, стыну в штрафных изоляторах.
И сразу становятся детскими
людские горести, мытарства.
Тюрьма оборачивается
чудодейственным средством,
воодушевляющим лекарством.
Прикидываю с прищуром: а что, как
несложную его формулу
власть имущие посчитают высшей истиной?
Оденут всех в лагерную форму
и, как вашего покорного слугу,
лет через двадцать выпустят?

Сложная штука

Я в гостях у набившего мошну друга:
камин, породистая собака,
заснеженный сад за стеклом.
Даже за картами, когда идет пруха,
трудно мечтать о таком.
Что случилось — сработала карма?
Лицом к корешку повернулся Хронос?
Вчерашний карманник —
и несусветная хоромина!
Серьезные вроде вопросы:
окружающее довольство — результат перевоплощения
или времени прииз?
И все-таки хорошо — с коньячком отходить у огня
от мороза.
Сложная штука жизнь!

Дятел

Переполненный общественный транспорт
 в сердцах ругая,
 я приезжаю в сосновую рощу не смолой подышать
 или цветущей мятой.
 Прихоть другая — послушать дятла.
 Когда бы я ни появился — он всегда на месте.
 Умолкнет на время, приглядываясь к прищельцу,
 и вновь начинает свою рабочую песню,
 столь близкую участникам пролетарских шествий.
 А что привлекает меня в этих однообразных звуках?
 Он не зовет на помощь, не просит прийти на смену.
 В усердных, истовых, упорных стуках
 я улавливаю надежду настырного одиночки
 пробить непосильную стену.

Холодным маем

Борису Екимову.

Начало мая.
 Заболоченная речка посреди города.
 Сухой камыш, точно опыленный
 грязной известкой.
 Солнечно и нестерпимо холодно —
 ветер злостный.
 Я иду по берегу речки. В коричневой воде
 консервные банки, пищевая фольга
 поблескивают, как блесны.
 И другой след пиршества людей:
 подле кострища — останки песьи.
 Бродяги, бомжи, приглядевшие эту клоаку,
 что птицы гнезда,
 наверное, разделили тут на шашлык
 уже не одну собаку —
 лечатся от туберкулеза.
 Пугаясь обнаружить в здешних местах
 человеческий труп
 и оказаться свидетелем в милицейских лапах,
 я было дал тягу отсюда. И вдруг —
 черемухи запах!
 Он налетел откуда-то с той стороны,
 бодрящий, чуточку с горечью, —
 долгожданный хлебный грузовик
 времен войны,
 живительным ароматом встряхнувший
 иззябшую за ночь очередь.
 Исчезла, сгинула душевная паника.
 Вернулась уверенность,
 подавленная неприятной погодой.
 Народная примета всплыла, проявилась в памяти:
 «Май холодный — год хлебородный».

МИХАИЛ КУРАЕВ

*

ЗАПИСКИ БЕГЛОГО КИНЕМАТОГРАФИСТА

ОБЕД В «ЗАПОЛЬЕ»

На старых картах, середины пятидесятих годов, этого города еще нет. Будет ли он на новых?

К концу века он выполнил свое предназначение, исчерпал руду, ради добычи которой был с завидной быстротой построен, и тем самым исчерпал и себя, свой смысл. Может быть, теперь его обживут военные, устроившиеся без особенных удобств в приполярных гарнизонах. Может быть... А вот в середине семидесятых город переживал свой расцвет.

Днем в ресторане «Компас» было пусто.

Командир танковой роты капитан Вальтер и сопровождавший его в местной командировке старший лейтенант, командир второго взвода, облюбовали столик, где скатерти были, на их взгляд, посвежее.

Едва войдя в просторный зал, офицеры заметили за шестиместным столом у окна молодую особу, судя по посадке, рослую, лет девятнадцати — двадцати, и ее живописного спутника, сидевшего не напротив, а рядом. Он был в толстом свитере с широким вырезом, в модной черной водолазке, плотно обнимавшей его шею. Малому было хорошо за тридцать. Шевелюра кустилась, хотя и залысинки уже начали свое неукротимое движение, расширяя пространство и без того высокого лба.

Днем оркестр не играл. На невысокой эстраде стояла стремянка и стол с банками краски, какими-то тряпками, кистями и непонятным для непосвященных инструментарием. Оборудование это служило для создания настенного панно, уже больше чем наполовину завершенного. Мастер изобразил на нем суровую полярную природу, как бы продолжавшую вид за окном, и бесстрашно вззирающих на нее покорителей. Оленевод был, как и положено, в малице и с хореем в руке, горняк — в шахтерской каске с фонарем, девушка рядом с ними была еще неопределенных занятий, но с лицом покорительницы. Воин же с автоматом, как и пейзаж за ним, существовали лишь в контурном наброске.

— Узнаешь? — Старший лейтенант кивнул на молодую женщину, завороченно внимавшую своему спутнику.

Забыв о развернутом перед ним меню, мужчина не спеша, словно что-то преодолевая или выуживая внутри себя в глубинах, рассказывал о важном. Не зная, о чем говорит человек, за ним можно было просто с интересом следить. Он произносил фразу, будто ронял ее перед собой на скатерть, разводил над ней ладони с растопыренными длинными пальцами, удивлялся как бы увиденному, улыбался, разглаживал ее ребром ладони,

Кураев Михаил Николаевич родился в 1939 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский театральный институт, с 1961 по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии «Ленфильм». Автор сценариев 7 кинофильмов. Первая публикация — «Капитан Дикштейн» («Новый мир», 1987, № 9). Автор книг «Ночной дозор» (1990), «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» (1996), «Питерская Атлантида» (1999) и др. Проза М. Кураева переведена на 12 языков и издана во Франции, Италии, США, Германии, Корее и т. д. Живет в Санкт-Петербурге.

потом жестом другой руки как бы скидывал и провожал ее взглядом. Улетевших таким образом слов ему иногда было жалко, судя по выразительной гримасе выгнутой губ. Женщина не только кивком как бы подтверждала глубокое понимание услышанного, но и участвовала в мимическом сопровождении рассказа, улыбаясь и жалея об улетевших словах. Так повторяют движения футболистов увлеченные матчем болельщики и на трибунах, и перед телевизором.

— Я ее не знаю, — сказал капитан Вальтер.

— Товарищ капитан... — Старший лейтенант указал глазами на панно.

— А у вас глаз! — Капитан посмотрел на женщину, потом на ее изображение на стене и признал полное сходство.

Заметив, что на нее смотрят, что ее узнали, она невольно улыбнулась. Рот ее, казавшийся непропорционально большим, вспыхнул белым светом крупных ослепительных зубов. Она поспешила сжать губы, видимо, ей еще никто не говорил, как она необыкновенно мила со своей улыбкой, со своим сияющим ртом, который, по-видимому, считала своим изъяном. Она что-то быстро проговорила, не поднимая глаз от скатерти.

Спутник ее выудил в своих недрах, извлек и расправил ладонью на скатерти еще одну сокровенную мысль, потом посмотрел в сторону появившихся офицеров, их попросту не увидел и, придав ладонями лежащей на скатерти мысли форму шара, начал перекачивать ее слева направо.

К офицерам подошел официант.

Он потоптался у стола, не выпуская из рук синюю папку с меню, и, не здороваясь, произнес:

— У меня к вам просьба: не могли бы вы пересесть за тот столик, — и указал на стол у окна, где уже сидели двое.

— Но он же занят, — возразил капитан Вальтер.

— Да мне бегать туда-сюда... А так бы рядом, если не возражаете, конечно.

В сущности, офицерам было предложено ответить на вопрос, чьи интересы и удобства, официанта или клиентов, первоочередны в ресторане. Двух ответов на этот вопрос не бывает, если клиент не хочет получить в лице официанта своего врага на ближайшие час-полтора.

— А молодые люди не будут огорчены, не будут против? Они, может быть, вдвоем хотят побыть, — предположил старший лейтенант.

— Еще побудут, — хохотнул официант. — Он у нас стенку разрисовывает, а с ним моя сестра, она возражать не будет.

— И все-таки спросите их, пожалуйста, мы не хотели бы с товарищем капитаном оказаться в ложном положении.

— А чего тут ложного? Но если хотите, могу специально спросить. — И официант направился к сестре и художнику.

— А в натуре-то она получше, — сказал Вальтер, уже без стеснения наклонившись за столом, к которому шел официант.

— Никаких возражений! — после кратких переговоров объявил официант издали и сделал приглашающий жест.

— Извините, но... — попытался оправдаться старший лейтенант, когда офицеры подошли к столику и отодвинули стулья, чтобы сесть.

Державший в руках развернутое меню живописец только поднял на военных невидящие глаза, как бы пытаясь определить, откуда это донеслись сейчас звуки, пожал в недоумении широкими плечами в великолепном грубоватом ирландском свитере и стал комментировать своей спутнице прочитанное в меню.

— Чахохбили из кур... Не верю, как говорил Станиславский. Нарубят костей и зальют томатом. Знаешь-ка, друг, вот что. Сделай нам по рыбной соляночке и по хорошему куску мяса... Мне можно с кровью... А вам?

О, они еще на «вы», офицеры переглянулись. Интересно. И неужели

не видно, что, закажи живописец жареные гвозди под масляной краской, она и в этом случае не рискнула бы предпочесть одиночество хоть бы и с черепашкой в трюфелях.

— Мне тоже с кровью, — выдохнула миловидная женщина, чьим чертам на панно живописец придал, видимо от себя, много мужества и непреклонности.

— Закусочку... на свой вкус... — явно не доверяя написанному, сказал живописец, сложил папку и передал офицерам.

— Я думаю, — не раскрывая меню, сказал старший лейтенант, — товарищ знает этот ресторан лучше нас и нет оснований не доверять его вкусу. — Здесь был сделан легкий жест ладони в сторону незавершенной росписи. — Давайте, товарищ капитан, тоже по соляночке и по хорошему куску мяса с кровью.

К типовому заказу командир роты прифантазировал по двести грамм водки и две порции семги на закуску.

— Офицеры без водки не обедают, — прокомментировал этот заказ своей спутнице непьющий художник. — Кстати, может быть, вы вина хотите?

— Мне же еще на службу... — Женщина поспешила стянуть губы.

— А на вашей службе ни-ни?.. — недоверчиво спросил живописец.

Женщина рассмеялась, ни на минуту не допуская, что камешек брошен совсем в другую сторону. Воины его мирно проглотили.

— Товарищ капитан, разрешите разлить? — заботливо, с участием произнес старший лейтенант, когда на столе появился графин. Капитан было потянулся к сосуду сам, но командир взвода его опередил: — Нет-нет...

Демонстрируя знание этикета, старший лейтенант отлил из графина чуть-чуть в свою рюмку и только после этого налил капитану. И юная дама заметила это.

— Быть может... рюмочку? — предложил танкист соседу напротив.

— Спаси-и-бо, я работаю. — Благодарность была преувеличена не только протяжной интонацией, но и широким жестом, словно предлагалась не рюмка водки, а медвежья шуба.

— Ну что, товарищ капитан, — проглотив слюну, произнес старший лейтенант. — Не каждый день танкистам удается встретить вот так вот рядом мастера и модель, как говорят на гражданке, Пигмалиона и Галатею... И как бы на месте преступления, шучу, в мастерской. Для настоящего художника весь мир мастерская. Вы уж нас извините, но для нас с товарищем капитаном, так сказать, приятная честь и большая неожиданность...

— А в танковых училищах еще и мифологию преподают? — с улыбкой спросил художник.

— Ну что вы! Какая мифология? Марксизм-ленинизм — вот и вся, как говорится, наша мифология. Так что мы за ваш союз, всеблагого вам поспешения во всех делах ваших и предприятиях.

Офицеры чокнулись, выпили и обратились к закуске.

— Вы прямо как батюшка заговорили... — коротко улыбнулась женщина.

— А вы не смейтесь, у кого еще русской речи учиться? Где она сохранилась? Впрочем, и туда уже скверна заползла. И в поповских речах угнездилась. Отпевали мою бабулю, стоял, проповедь слушал, и батюшка вроде не из молодых, а что несет? «Осуществляйте повседневный контроль...» Речь-то о душе, о душе! А слова, будто о технике безопасности. А помните, как монахи у Чехова разговаривают? Благозвучнейше! «Радуйся, древо благосеннолиственное». А? Каково?

— Это что же за «сенно-лиственное»? — спросила женщина.

— Вот так, товарищ капитан, и живем, русские слова скоро переводить нужно будет. Есть слово «сено». Есть слово «сени», а есть еще слово «сень». Древо осеняющее, под благую сень зовущее...

— Чехова любите? — спросил художник.

— Не турок же я, чтобы Чехова не любить. Это Ахматова, поэт такой есть, его не любила. А нам, как говорит товарищ капитан, чин и звание не позволяют.

— Воля ваша, вы бы и в устав записали Чехова любить?

— И записал бы, а что такого? И раньше записывали любовь в устав, и ничего, никто не возражал.

— Прямо в устав? — недоверчиво улыбнулся художник.

— Пожалуйста: «Всем офицерам и рядовым надлежит священников любить и почитать, и никто не дерзнет оным, как словом, так и делом, досаду чинить и презирать и ругаться...» «Устав морской», автор Петр Первый, 1720 год. Вот и решайте: долгополых этих полки и батальоны, а Чехов один на весь свет.

— Записываем в устав: любить Чехова. А кого из художников?

— Репин, конечно, — не задумываясь, сказал старший лейтенант. Художник и его модель переглянулись. — Суриков, если не возражаете... Если не возражаете, Рембрандт ван Рейн...

— Суриков, Репин — понятно, а Рембрандт-то зачем? — И в голосе художника прозвучал вопрос так, как спрашивают взрослые у детей, взявших в руки вещь дорогую и бьющуюся.

— Не мне вам говорить — художник громаднейший, даже в Эрмитаже в Ленинграде представлен. А у нас в роте о нем особый разговор.

— В вашей роте? Может быть, у вас в роте «Даная» висит?

— Чья Даная? — простодушно поинтересовался старший лейтенант.

— Рембрандта ван Рейна. Картина у него такая есть, как раз висит в Эрмитаже.

Спутница восхищенно смотрела на живописца.

— А вы, я заметил, тоже поклонник Рембрандта. А в роте-то вкусы разные: одному тициановская «Даная» нравится, а заряжающий Ширинов, это мой заряжающий, предпочитает Корреджо. В репродукциях, по альбомам. У нас этот вопрос одно время обсуждался, а потом резко сняли. Я сам же и снял. Если бы у меня не было вперед взглядов, а у меня всегда вперед взгляды были... Мы тут как бы люди взрослые, можно рассказать. Жизнь, знаете, есть жизнь, ее никуда не спрячешь, она о себе заявляет самым неожиданным образом. В казарме в расположении каждой роты, это никакая не тайна, положено иметь портрет члена Политбюро, на видном месте на стене в широком проходе. Желательно над тумбочкой с дезинфицирующими растворами, нитки-иголки, солдатская мелочевка, место посещаемое. В четвертой роте, это не у нас, повесили портрет Екатерины Алексеевны Фурцевой. Женщина красивая, представительная, может быть, чем-то и на Даная похожа, все, как говорится, зависит от воображения. И что же? Пришлось снять. Вы уж извините, но солдаты на нее... онанировали. Культура, сами понимаете, не у всех на высоте, а слабаку в танке делать нечего. У нас замполит, талантливейший человек, сочинил в суворовском таком, знаете, лаконичном стиле, а художник исполнил, и вывесили: «Броня не терпит дряхлых мускул!» Так что народ, с одной стороны, на здоровье не жалуется, но, с другой-то, как-то нехорошо, и эстетически и нравственно. Как быть? И порицания выносили, и комсомольское собрание закрытое провели, все перепробовали. Пришлось перевесить Екатерину Алексеевну в третью роту. Казалось бы, кофточка застегнута у горла, правда, товарищ капитан? — обернулся старший лейтенант за поддержкой и получил ее в виде двух кивков головы. — Там, где грудь, депутатский значок, Верховный Совет... И в третьей роте то же самое. А ведь как еще на все это посмотреть? С одной стороны, ну, мальчишество, ну, максимум мелкое хулиганство. А с другой, можно взглянуть и как на политическую демонстрацию. А что? Пропагандист в полку уже хотел именно так вопрос ставить, надо же было как-то это все пресечь. Но замполит, мудрейший

человек, велел перевесить Екатерину Алексеевну в Ленинскую комнату, и все. Вопрос закрыт. В Ленинской комнате не побалуешься. А вот к Рембрандту у нас, военных, особый интерес. Возьмите «Ночной дозор». Как офицеры представлены великолепно. Опять же любовь народа к армии. Отличная картина. Мы сейчас с вашего позволения по рюмочке еще пропустим, и у меня будет к вам вопрос. Знаете, с настоящим художником не так уж часто вот так вот приходится встречаться. Может, вы наш спор как раз и решите.

Офицеры выпили.

— Вы уж извините, что мы вашего собеседника на себя отвлекаем, — сказал капитан Вальтер, как бы присоединяясь к своему командиру взвода.

— Ничего-ничего, мне интересно...

— У нас есть в полку, конечно, художник, — закусив, сказал старший лейтенант, — но, можете себе представить, мазилка. Из тех, что шабашкой промышляют, столовые, коровники расписывают. Руку он набил, конечно, но такого, как у вас, чтобы прямо душа просвечивала, этого и близко нет. Я ж сужу, может быть, и примитивно, но по-другому не умею. Смотрю — это повторимо? Нет, неповторимо. Все, значит, это настоящее искусство. Не совсем, конечно, так, но это для краткости. Вон у вас краски какие — благородные, сдержанные. А про нашего покороче сказать — «Гоген замороженный». Но речь-то не о нем, о Рембрандте. Спорим, а с места ни на шаг. Я вам напомню, да вы и сами лучше нас знаете, есть у него картина, называется «Апостол Павел». Ну, Павел и Павел. А в чем вопрос? А он с мечом! Не в руках меч, нет, конечно, за пазухой, а рукоятка торчит...

— Апостол Павел? Вот так сразу и не вспомню...

— Но вопрос в мече. Тема нам, военным, близкая. Кто отсек в Евангелии, когда Христа брали, ухо какому-то рабу? Известно — апостол Петр. А при чем здесь Павел, вернее, меч у Павла?

— Если уж у вас в роте про Пигмалиона знают, думаю, и с апостолом Павлом разберетесь, — заподозрив какую-то ловушку, ушел от ответа живописец. — Вот у меня встречный, так сказать, вопрос есть, я ведь тоже с военными не каждый день вот так встречаюсь...

— Это как товарищ капитан, все вопросы к нему.

— Спрашивайте, конечно, только, раз уж мы разговариваем, может, и представимся? Меня зовут Анатолий. Старший лейтенант — Михаил...

— Очень приятно, — сказал художник, но руки не подал. — Юрий. Елена. И вопрос мой как раз на эту тему. Вы же сейчас не на службе, насколько я понимаю, а обращаетесь друг к другу как будто в строю.

— Вы совершенно правы, — поспешил с ответом старший лейтенант. — Это ведь в каждой роте, в каждом батальоне по-своему. Как в народе говорят, в каждой избушке свои погремушки. А что в нашей избушке? Что у нас за окном? — И, не услышав ответа, сказал: — Нор-ве-гия! Страна натовская. Вам скажу доверительно: машины у нас в парке стоят с полным боекомплектом. Мало ли что. Тревога. Приказ. Массу воткнул. Давление масла поднял. Двигатель запустил — и вперед, за Родину!

— И вы верите, что Нор-ве-гия может на вас напасть?

— А это то же, что с Чеховым. Не наш вопрос. Наша задача — любить и защищать. Все. А теперь сами рассудите, сможет ли товарищ капитан, если будет меня Мишей звать, не моргнув глазом приказать мне со своим взводом пойти туда-то и умереть там с честью? Он мне скажет: Миша, иди... А я скажу: Толя, ты что, там убивают. А если он не может приказать мне умереть, то какой же он командир? Кое-где, конечно, все эти «Толя-Миша» бывают, но в случае чего ничего хорошего из этого не выйдет.

— Верно говорите, товарищ старший лейтенант, так что можно еще по рюмочке.

— Дело-то у нас крайне простое. Учимся убивать, правильно, товарищ капитан? — разливая водку, спросил командир взвода.

— Ну зачем же так резко, учимся поражать цели, с места и в движении.

— Товарищ капитан, как видите, у нас человек деликатный, а я еще добавлю — наблюдательный. Это он с порога заметил сходство между Еленой и мужественной покорительницей Заполярья. Сходство поразительное. Вот все бы художники так рисовали!

Польщенный мастер расхохотался явно иронически, женщина зарделась.

— Может, за знакомство? — Старший лейтенант приподнял графин.

Юрий, продолжая смеяться, как бы отгородился от предложения ладонями.

— Похвалить художника за сходство, — отсмеявшись, сказал живописец, — это как певца похвалить за то, что ноты знает.

— А ведь вы правы, — сказал командир взвода, — художников надо хвалить умеючи. А спели вы Леночку ого-го. Можно сказать, воспели. Мы же в полку тоже часто обсуждаем формы поощрения. Здесь методика важна, даже у нас. А у вас, там, где эстетика, там же черт ногу сломит. Вы ж меня понимаете...

Художник поощрительно кивнул.

— Принято как считать? Для правильной оценки художественного произведения очень важно умственное и душевное развитие. Вы, Юрий, со мной согласны?

Судя по тому, как Лена взглянула на живописца, ожидая, что он скажет, у нее своего суждения на этот счет не было.

— Обе эти вещи, конечно, желательны, — примирительно сказал Юрий.

— Вот видите, желательны, и только. Стало быть, не самое главное. И здесь с вами согласится датский ученый Серен Кьеркегор. Вы его небось как облупленного знаете? Говорят, он считал, что для тех, кто судит об искусстве, для эстетиков, главное не умственное и даже не душевное развитие, а непосредственность.

— И где же это так о Кьеркегоре говорят? — без улыбки спросил художник.

— Да хоть у нас в роте. Нас же, военных, валенками считают, ну, сапогами, все равно, и забывают, что мы имеем досуг. Незапланированный досуг. В армии же свободное время случается самым неожиданным образом. Вышли в поле, это так у нас называется, здесь-то сопки в основном. Вышли. Развернулись. Замаскировались...

— Караул, — напомнил капитан.

— Правильно товарищ капитан напомнил, обязательно караул. Динамики нет. Приказа на движение. Карты только полевые, азартные игры запрещены. Что делать? Ну, политбеседа. А потом? Вот и говорим, о чем только не говорим.

— И о Кьеркегоре?

— Да кто о чем может. Вы библиотеку нашу видели, полковую? Нет, конечно, — как бы жалуясь и с надеждой на понимание, проговорил командир взвода. — Хочется же хоть понемногу, но знать побольше. Солдаты такие вопросы иногда задают. Народ-то у нас, слава богу, грамотный. А ты офицер, военная интеллигенция, надо марку держать. Раз не ответил, два не ответил, он к другому пойдет. А вдруг ему неправильно ответят? Вот зачем у нас в библиотеке четыре экземпляра «Философии общего дела» Федорова Николая Федоровича. Кому у нас в полку нужна его загробная заумь? А вы говорите — Кьеркегор. Конечно, заряжающий Ширинов у меня и понятия не имеет, что у этого датчанина есть труд под названием «Наслаждение и долг». Листали небось?

Лена обернулась к Юрию, ожидая признания.

— Не имел счастья, — сказал художник.

— Ой, по глазам вижу, что листали, листали, — настаивал на своем старший лейтенант.

— Вам же говорят, что не читали и не листали, — заступилась за друга Елена, предполагая, что под сомнительным названием и содержание не лучше.

— Ну, раз так, конечно, верю. Но эта же мысль у него и в «Дневниках» есть. Уж «Дневники»-то знаете. У нас в роте тоже так: один одно читал, другой другое. Народ разный. Кто чем увлекается. Поэзией, например. Вот Федоров, у нас свой Федоров есть, тоже капитан, командир разведроты, так он Баркова всего наизусть знает.

Юрий отпрянул и выжидающе посмотрел на офицера.

— Баркова? — переспросила Лена. — Он в «Юности» печатается?

— В «Юности» его не могли печатать, он старый, — убежденно сказал капитан Вальтер, поклонник журналов «Крокодил» и «Огонек».

— Товарищ капитан совершенно прав. В «Юности», Елена, — это Бортков, не Барков, а Бортков, Николай, из Краснодара. «В Черном море в общей ванне все купаются подряд...» Это как раз Бортков. А Барковых было два. Один, Иван, сподвижник... Можно так сказать, товарищ капитан?..

— Можно, — чуть подумав, сказал капитан.

— Мнения расходятся, считать его сподвижником Ломоносова или не считать. Юрий наверняка про Баркова получше всех нас знает...

— Н-но... — опасаясь, что хватившим водки танкистам придет на ум припомнить что-нибудь из Баркова, хотел предотвратить опасность Юрий.

— Их же часто путают, Ивана и Дмитрия, друга не Ломоносова, а Пушкина, можно так сказать, товарищ капитан?

— А ведь, пожалуй, нет, — сказал Вальтер, не подозревавший о существовании еще одного Баркова, поскольку капитан Федоров о нем никогда не упоминал.

— Вы правы, конечно, но я почему так подумал — «друг», — стал оправдываться старший лейтенант, — у молодого Пушкина есть стихи «Желал бы быть твоим, Семенова, покровом...». Он там как раз Дмитрия поминает. Но для дружбы, ясное дело, маловато. А я вас, Юрий, как раз хочу спросить про феномен Баркова, только не знаю, как правильно говорить: «феномён» или «фенóмен»?

— Я говорю «феномён», — сказал Юрий.

— Вот вы правильно говорите, но в словарях пишут «фенóмен».

Лена посмотрела на своего портретиста, ожидая возражения, но танкист заговорил так быстро, что художник успел лишь улыбнуться.

— Конечно, «феномён», мы и в школе так говорили, а теперь такая ученая молодежь в армию идет, скажешь «феномён» — в батальоне на смех поднимут. А потерять авторитет офицеру — что художнику лицо. Но я про Баркова как про явление. Скажите, Юрий, вот у вас, у художников, есть что-нибудь аналогичное, сходное? — И старший лейтенант придвинулся вперед и даже чуть пригнулся, чтобы не то что слово, но и букву в ответе не пропустить.

— В каком смысле? — ступая на тонкий лед, спросил художник.

— Я не в том смысле, как вы, быть может, подумали, я в смысле судьбы. Сколько Барков прожил?.. Дай бог памяти...

— Тридцать шесть, — сказал командир роты уверенно. Капитан Федоров знал не только стихи Баркова, но и его подноготную.

— Командир всегда подскажет. Спасибо. Так вот о чем хочу вас, Юрий, спросить. Большую часть своих произведений, как известно, Барков создал после смерти, в том числе и знаменитую поэму о Луке, но не евангелисте, — как бы предупреджая вопрос Елены, поспешил уточнить старший лейтенант. — В поэме стих уже не восемнадцатого века, сравнения, эпитеты... А что ж говорить о подражаниях Лермонтову, Фету, если сам-то он умер уже как бы сто лет назад? Как ни крути, а получается, что Барков умер, а дело его живет. И творческое его наследие растет и при-

умножается. С этим и Федоров согласен, не философ, а наш, из разведроты. Вопрос в чем: есть ли такой же феномен у художников, чтобы какой-нибудь прославленный живописец, график предположим, умер, а произведения под его именем все продолжали бы появляться?

— Считайте, что я к вопросу полностью присоединяюсь, — сказал капитан Вальтер.

Увидев, что Юрий затрудняется с ответом, Лена поспешила с вопросом:

— Михаил, я вижу, вы любите поэзию, скажите, а какой вам лично Барков больше нравится — Иван или Дмитрий? И где их можно почитать? Меня ваш рассказ очень заинтересовал, — увлеченно сказала молодая женщина.

— Дмитрий хоть и не поэт, но он мне, Леночка, ближе. Почему? Наш брат военный, кадетский корпус окончил, в лейб-гвардии служил. А Иван что? Сын священника, а беспутный, его из университета выставили. За дисциплину. Ну что такое: напился, пошел к ректору отношения выяснять, драться. И стихи его, знаете, на любителя, как вы считаете, товарищ капитан?

— Капитану Федорову нравится, а замполиту не нравится, — сказал капитан Вальтер.

— Это при том, — подхватил командир взвода, — что замполит у нас умнейший человек. Шутите! Два «поплавка». Калининский педагогический институт и Высшее львовское политическое училище, — то ли с завистью, то ли с гордостью произнес старший лейтенант.

— Леночка, а вы рыбу любите? — вдруг спросил капитан.

— Очень. Только у нас ее готовить, честно говоря, не очень-то умеют, — обрадовалась перемене темы разговора раскрасневшаяся женщина.

— А мы рыбой объедаемся. Вот товарищ старший лейтенант напомнил, что народ у нас разный. У нас даже великие люди есть в полку. У нас на кухне в офицерской столовой срочную проходит паренёк из ленинградского лучшего ресторана «Метрополь». Рыбу делает как бог! А почему старается? Мне, говорит, нельзя квалификацию терять. Если, говорит, я здесь себе руку испорчу, меня обратно не возьмут. А в столовую идти, по третьесортным ресторанам — это он никогда не согласится. Я, говорит, лучше с голоду умру, чем буду в каком-нибудь ресторане третьего разряда треску майонезом украшать. Повар с большой буквы, можно сказать. Мастер. И во фритюре делает, и на вертеле. Это на нашей-то кухне, где кашу-то толком сварить не могут, а он держит свой фасон.

— Вот закончите позировать, — подхватил старший лейтенант, — и прав товарищ капитан: Ленинград далеко, в рестораны там очередь... А у нас свой «Метрополь». Как до танкистов на автобусе доехать, наверняка знаете, а там встретим. Это серьезно. И Юрий вас поймет. Это я же открытие сделал, что в полку на кухне настоящий мастер появился. Они ж ели и ели, даже не понимая, что им подают. Вот товарищ капитан не даст соврать. А я как первый раз за ужином попробовал — и за второй порцией, и за третьей. Ты кто, спрашиваю повара, ты ж гений! Вот он и признался тогда. Если б вы знали, как ему нужны люди понимающие! Пианист может в одиночку днями и ночами тренироваться, но ему надо хоть раз в месяц, чтобы зал ахнул, чтобы люди заплакали. Мы воины, мы не художники, но понимаем, что каждый мастер — это личность. А в армии как раз личность попридерживать надо. Устав. Дисциплина. Котловое довольствие. У художников этого нет. Художнику где развернуться?

— Юрий, а вы в какой школе работаете? — спросил капитан.

— В школе я ни в какой не работаю, а если вы имеете в виду направление, манеру, то вопрос поставлен, извините уж меня, не очень правильно, неграмотно. Грамотно было бы: к какой школе принадлежите. Правда, это немножко торжественно.

— А к корзуновской школе вы не принадлежите? — Анатолий попробовал было обжигающую солянку и отложил ложку.

Лена, отлавлившая в тарелке ускользящий каперс, подняла глаза на художника, но уже с любопытством, во взгляде не было той тревоги, того подчас едва уловимого напряжения, с каким женщина невольно обнаруживает свою душевную солидарность. Ученые спорят до сих пор, отчего это люди краснеют. Но отчего покраснел Юрий, капитан Вальтер не то чтобы догадывался, а просто знал наверняка. Речь шла о школе в поселке Корзуново.

— Да, в корзуновской школе моя работа, я им там делал...

— Налейте, пожалуйста, товарищ старший лейтенант. Тесен мир, черт возьми!

Старший лейтенант с готовностью исполнил приказание командира и снова предложил Юрию:

— Может быть, под соляночку?

— А-а, давайте, — махнул рукой мастер. — Вы так аппетитно пьете.

— Леночка, может быть, и вам? Мы еще закажем.

— Нет, нет, нет... — Предчувствие какой-то важной перемены настояжало женщину.

— Я почему говорю «мир тесен», — пояснил капитан Вальтер. — Я же с вашей корзуновской фреской, или панно, знаком. У нас там 23 февраля встреча была со школьниками. А я смотрю на этих ребят, и в малице, и в каске с фонариком, думаю-думаю, где я их видел, до боли знакомые лица... Только там, в школе, этот, в малице, нарисован летчиком. Верно? А тот, что здесь в шахтерской каске с фонариком, там вроде ученый, что-то, не помню, у него в руках, что-то умное. А вот девушка там как раз другая!

— Естественно, — поспешил подтвердить Юрий.

— Там вам десятиклассница позировала, старшая дочь штурмана полка, стала местной знаменитостью, вы ж ее так прославили...

— Товарищ капитан, — подхватил старший лейтенант, — поскольку это тост, как бы тост, можно, и я скажу? — Капитан кивком передал эстафету. — За почерк мастера! Художник всегда имеет возможность выбора. У нас какой почерк? Куда ткнут, там и кувыркайся. А художник всегда выбирает и остается при этом самим собой. Грубый пример. Все тот же Рембрандт. Вроде, с одной стороны, Саския, а с другой стороны, Хенрике, а все равно — Рембрандт! Так что, как у нас в роте говорят: за флорентийское кватроченто!

Теперь, наверное, следует ответить на вопрос, который давно уже занимает читателя.

Как это в будний день двое офицеров танкового полка, не будучи в отпуске, оказались в городе Заполярном, именуемом для простоты в полку Запольем, днем в ресторане?

Как мы оказались в этот день и в этот час вдаль от расположения нашего гвардейского ордена Суворова второй степени и ордена Красной Звезды танкового полка, без санкции моего командира, а инициатива принадлежала ему, я сказать не могу. В конце концов, и у военных должны быть свои тайны, хотя их с каждым днем у нас в стране становится все меньше и меньше.

Старших лейтенантов, естественно, в полку было довольно много, но я был *старейшим* из старших лейтенантов и лет на десять старше своего командира роты капитана Вальтера, до танкового училища игравшего за дубль в команде мастеров «Крылья Советов» (Куйбышев). Вальтер был полузащитник типа Месхи, легкий, нервный, азартный, хитрый, с отличным рывком. С обводкой у него были проблемы, но он умел открываться и, когда ему выкидывали на выход, мог подхватить мяч чуть не в цент-

ральном круге и довести дело, как говорится, до логического конца, то есть пробить в сторону ворот. Блестящее футбольное прошлое укрепляло авторитет Вальтера среди личного состава не меньше, чем звезды на погонах. Он часто на занятиях пользовался футбольной терминологией, что помогало ему сколотить роту в надежную команду.

Думаю, и меня направили именно в седьмую роту, понимая, что все мои неумелости будут хорошо подстрахованы толковым коллективом.

В стоявший у норвежской границы танковый полк отродясь никаких переподготовщиков, резервистов по-европейски или «новгородских ополченцев» по-нашему, не присылали, и потому мое появление было в полку событием если не чрезвычайным, то уж неординарным во всяком случае.

Прибыв в полк вечером, после ужина, прежде чем лечь спать на принесенную мне в штаб третьего батальона, дежурившего в этот день, раскладушку, я потребовал чай, булку и сахар. Пока я пил чай, рядом стоял солдат и явно караулил чайник, опасаясь, что я рвану с этим полуведерным медным чудом через норвежскую границу.

Причина же моего появления в столь экзотическом месте чрезвычайно проста. Я вызвался написать киносценарий о службе танкистов в мирное время при условии, что меня призовут как бы на переподготовку в наш самый северный танковый полк. Надо думать, и самый северный в мире.

Не скажу, чтобы именно танки вызывали у меня особую нежность, но я не знал иной возможности вот так, бросив все на свете, на два месяца сбежать ото всех и от себя самого, пожить той особенной жизнью, когда о себе не нужно думать ни одной минуты.

Коллеги на «Ленфильме» недоумевали, перемывая мои военные косточки.

Делать им нечего!

Никого же не удивляет то, что множество людей на белом свете куврыкаются в своих армированных трубах джипах по бездорожью, несясь сломя голову по грязи, топям и буеракам, ломают машины, руки, ноги, подвяжутся какой-нибудь палкой-веревкой и несутся дальше.

По сравнению с этой цыганщиной или лазанием по отвесным скалам, да еще с отрицательным уклоном, жизнь танкистов вполне цивилизована и комфортна даже на Крайнем Севере.

А Север, Заполярье — страна моего детства, по которой тоскую, как по отрезанной руке тоскуют старые воины, и потому я был готов пойти на любые хитрости, чтобы прожить хотя бы месяц под незаходящим солнцем, вдыхая воздух тундры, пропитанной запахом чистой воды, мхов и полярного быстротцветья.

Первое, что сделал капитан Вальтер, когда увидел меня, явившегося в роту прямо со склада вещевого довольствия, так это высказал решительное несогласие с приказом № 900 министра обороны СССР, в ту пору маршала Гречко. По этому приказу призванных на сборы офицеров одевали в новенькую солдатскую форму, украшенную соответствующими званию офицерскими погонами.

— Это все обратно на склад, — заключил Вальтер, обойдя меня кругом.

Я смолчал, и правильно сделал: выяснилось, что речь идет только об одежде и сапогах.

Часа через полтора, пока я посвящал своего командира в директиву Генерального штаба, санкционировавшего мое появление именно в этом полку, именно на должности командира танкового взвода, а командир роты проникался сознанием новой своей ответственности, офицеры роты притащили неведомо откуда ворох настоящей командирской одежды, и началась примерка и подгонка.

— Вот так, и только так, — Вальтер поднял палец, акцентируя внимание офицеров, — должен выглядеть командир взвода седьмой роты! Прошу знакомиться. Старший лейтенант... — Фамилию мою командир роты

еще не запомнил, и мне пришлось подсказать. — Направлен в нашу роту Генеральным штабом для работы по собственной программе, с исполнением обязанностей командира второго взвода.

Затем последовало представление офицеров мне. После звания, имени и должности Вальтер добавлял: «Бриджи... Сапоги, пэша», — так на армейском языке звался полшерстяной офицерский мундир для повседневной носки.

От себя Вальтер добавил в экипировку великолепный офицерский ремень с портупей и защитную фуражку, стоившую в военторге в три раза дороже повседневной строевой.

Вечером в честь моего прибытия в роту капитан Вальтер в своей однокомнатной квартире дал прием на двенадцать человек, благо жена с дочкой Эвелиной уехали в Куйбышев на лето.

Я обращался к Вальтеру по званию и на правах старшего говорил «ты», он же, в душе не признавая мое звание настоящим, называл меня только по имени-отчеству.

Офицеры встретили меня радушно, а солдаты с приветливым любопытством. Авторитет «киношника» котировался неплохо, хотя и не шел в сравнение с авторитетом футболиста.

В армии, где единообразие жизнеустройства несет в себе глубочайший смысл, особенно в цене всякая возможность уклониться от этого однообразия, и потому рота, имеющая какую-нибудь беспородную собачонку, бегающую с ними по тревоге от казармы до парка да еще и первой впрыгивающую в люк командирского танка, с полным основанием поглядывает свысока на тех, у кого такой собачонки нет. Вот и я был хотя и временной, но привилегией седьмой роты второго батальона средних танков.

После того как я, к немалому собственному и присутствовавших при этом танкистов удивлению, отстрелял на ходу упражнение «А — 4» (одна мишень оружейная, подвижная, две пулеметных, неподвижных) на «отлично», командир роты капитан Вальтер прямо у вышки, на танкодроме, в присутствии командира батальона пожал мне, мокрому после заезда до нитки, руку и объявил: «Обед в „Заполье“!»

— А как вы здорово этого Борткова из «Юности» вспомнили! Ну и память у вас... — улыбнулся Вальтер, когда мы покинули ресторан и направились к автобусу на Печенгу.

— Понятия не имею ни о каком Борткове из «Юности», — признался я.

— А как же стихи?

— Не стихи, а строчка. Пришлось придумать, эка штука...

— А я ведь тоже попался, я вам поверил, — засмеялся капитан.

— Толя, дорогой, ты поверил... Если я многоумных своих коллег на «Ленфильме» какой год за нос вожу. Мы с другом придумали русского универсального мыслителя Лахотина. Нет такого в природе и не было. И как только нам из Карлейля что-нибудь или из Гуссерля под нос, а мы цитатой из «Лахотина». «При чем здесь ваш Карлейль, если у Лахотина это все сказано и раньше, и ясней. Хоть та же теория „героев и толпы“». И кушают, Толя, еще как кушают! Сделает такой всезнайка умные глаза: «Как вы сказали? Лахотин? Очень интересно. Я о нем слышу уже не первый раз, а вот как-то не попадался... Где бы почитать...» И все это так глубокомысленно, важно. Так что тебе, командир, сам бог велел краснодарского Борткова не знать.

— А Дмитрия, этого второго Баркова, тоже выдумали?

— Нет, командир, был такой. И в лейб-гвардии Егерском служил, и с Пушкиным приятельствовал, здесь можешь не сомневаться, все чисто.

А ровно через пять дней Леночка вступила в тесные ряды истинных ценителей высокого искусства и записалась в преданные поклонницы ред-

костного таланта Сережи Данилова, величайшего мастера по приготовлению рыбных блюд.

В прекрасно приготовленной рыбе Леночка разбиралась весьма тонко и судила о ней умно, лучше, чем о поэзии и даже живописи.

Ее толковые похвалы рядовой Данилов в твердо накрахмаленном колпаке принимал со сдержанным достоинством человека, сознающего, как еще долгон путь к подлинному совершенству.

КИНЩИК ЕДЕТ!..

Четыре заезда — четыре двойки.

Битумных тонов воду на Балозере, размеченном пляшущими буйками, взъерошивает порывистый ветер. Угловатые зубастые серые скалы с пучками реденьких на просвет кустиков да тощими, как танковые антенны, березками — это земля. И небо не краше. Серое, низкое. Прямо над головой, рукой достать, плывут, растягиваются тяжкие тучи, вдруг разворачиваются и становятся похожи на жернова, того гляди, припадут к земле и разотрут нас вместе с нашими танками в жидкую грязь.

Погодка для танковых эволюций на воде — хуже поискать. Да вот искать-то и негде! Наши места крайние. Старики говорили: «От Колы до Ада три версты!» А где Кола? Кола от нас далеко на юге.

Черные безобразные мешки, набитые снегом, видно, носятся по небу давно. Того гляди, прохулятся, вот уже из одного посыпал снежок, мелкий, редкий. Странно, из таких туч естественней было бы сыпаться камням или золе. Ветер подхватывает редкие снежинки и куда-то тут же уносит, будто крадет. На земле снега не видно.

И это июль!

Мы вылезли со своими танками чуть не на берег Ледовитого океана. Может, где-нибудь в тепле сидят сейчас умные люди и сочиняют танк для боевых действий во льдах Арктики и Антарктики. Наш «плавун» «Т-76» может послужить базовой моделью... Секрет? Военная тайна? Но только не от норвежцев. С норвежской стороны в нашу сторону денно и ночью смотрят с вышки, именуемой у нас «натовской», изумленные нашему терпению и упорству сидящие в тепле соседи. И видимость с той вышки лучше, чем мы могли даже вообразить.

Наш командир подполковник Б-в на оперативном совещании офицеров полка, преподнося нам свежеиспеченные распоряжения и новости, заставил почти всех очнуться от дремы своим сообщением о том, что полк получил вагон лыжной мази. При нашем годовом расходе этого количества должно хватить ровно на двести четырнадцать лет. Мало того, что хранить эту пропасть мази негде, тыл обратно не принимает, а за каждый день простоя вагона на нас идет начисление. Окончательно же все проснулись, когда командир доложил о том, что на сопредельной стороне, как любил он загадочно выражаться, если по-русски, то в Норвегии, издан справочник по офицерскому составу нашего полка с персональной характеристикой каждого.

Тут же у всех вспыхнуло неукротимое любопытство. Не так уж важно знать, что думает о тебе друг, куда важнее знать, как расценивает тебя лично вероятный противник. Для военного человека это так же важно, как и мнение начальства. Согласитесь, в какой-то мере жизнь военного человека в руках его командиров, начальства, но в какой-то мере и в руках противника. И вот об этой мере всем захотелось узнать. Командир, однако, на этом документе не задержался и стал зачитывать приказ про неведомого прапорщика с запоминающейся фамилией Бандурка, из уж совершенно неведомого нам отдельного батальона связи, утащившего к себе на дачу маленькую передвижную электростанцию. «Мечта!» — звучно выдохнул командир разведроты капитан Федоров, и дружный смех вернул нас к

жизни окончательно. Чуть было не улыбнувшийся командир тут же скомандовал и себе и нам: «Серьезней!» — и уже повеселей добубонил свое чтение, называвшееся у нас «сводкой армейской непогоды».

Такие люди, как Федоров, в трудную минуту незаменимы. Две недели назад к нам приехал знаменитый и редкий в наших краях гость — подполковник Ш. из политотдела округа. Если у журналистов есть почетное звание «Золотое перо», то у этого величайшего пропагандиста было неофициальное звание «золотой язык». Чуть не весь офицерский состав полка, свободный от нарядов, предписано было пропустить через его классическую лекцию «Роль КПСС в строительстве Вооруженных Сил СССР». Для «доверительного контакта» с аудиторией слушание было устроено не в клубе — оттуда легче сбежать, а в большом тактическом классе в штабе. Минут уже через сорок кончился в аудитории кислород, а на втором часу повисла мертвая тишина. Не чуждый оперным приемам, лектор один в полной мере наслаждался собственным искусством. И вдруг в гробовой тишине раздался голос, примерно такой, каким прощались друг с другом моряки на «Варяге»: «Братцы, а ведь мы почернеем!..» И, отсмеявшись, мы забыли и про кислород, и о безнадежно потерянных двух с половиной часах. Так что только благодаря Федорову и выжили, и лектора запомнили на всю жизнь.

После памятного совещания все порывались хоть одним глазком взглянуть на «натовский» путеводитель по нашему полку. Но особист охладил любопытствующих, как бы между прочим дав понять, что не видать нам этого справочника, как своих ушей, потому что о командире нашем сказаны там слова не самые лестные.

На перекуре офицеры обступили меня: «Ну, товарищ старший лейтенант, теперь вся надежда на вас. Один вы в полку остались незасвеченым! Вы теперь наше тайное оружие, сюрприз для врага».

Прибыв в полк всего месяц назад, я не мог быть удостоен чести оказаться включенным в лестное для самолюбия издание. Однако куда большей, чем для врага, я был загадкой для командира, но об этом чуть позже.

Продувное это место — вододром! Озер же кругом полно, нет, надо выбрать для наших упражнений такое, где сидишь, как в аэродинамической трубе, будто нас готовят еще и летать, а не только ползать и плавать.

В сущности, это было два озера, так они и обозначены на картах: Большое Балозеро и Малое Балозеро. Разделены они каменистым мысом шириной в разных местах от семидесяти до полутора метров. Танк выскакивал из Большого Балозера, «первой воды», на этот мысок с чудом уцелевшими пружинистыми рябинками и березками, переходил с водомета на гусеницы, пробирался среди грязи и камней к Малому Балозеру, чаще именовавшемуся «второй водой», и снова с гусениц переходил на водомерный движитель.

С вододрома «натовскую» вышку видно только в ясную погоду, но командир после каких-то нелестных слов в его адрес чувствовал теперь на себе неотступный и скептический взгляд «оттуда» и не упускал ни единой возможности изменить свою репутацию в глазах «натовских» наблюдателей. О том, как он выглядит в наших глазах, он, как мне казалось, думал меньше, если вообще думал.

После четвертой двойки подряд, ставившей под сомнение целесообразность продолжения тренировок, командир полка сменил фуражку на шлемофон и направился решительным, чуть подпрыгивающим шагом на исходную к стоявшему в двадцати метрах от уреза воды танку.

Привезенная командиром твердая тройка была явным и немалым успехом, это понимали все. Он доказал, что и в самых скверных условиях можно удовлетворительно решать учебно-боевые задачи. Облачаясь вновь в командирскую фуражку, он заметил дежурному наряду в лодке, что на «змеяке» не выдержано расстояние между буйками, чего с берега как бы

не видно. Понимай так — только потому он и коснулся бортом буйка, а это привело к снижению оценки на балл, что стоял не так. По скорости же у командира была хорошая четверка.

С первых минут знакомства я почувствовал, что отношение командира ко мне как бы окрашено предрасположенностью к неудовольствию.

Дело простое. Есть люди, болезненно реагирующие на малейшее ущемление их привилегий, особенно если речь идет о власти. Командир должен быть человеком властным, но мелочное беспокойство, хлопоты о своих правах — это совсем другое. Б-ва не устраивала моя как бы экстерриториальность, то есть не полная, только в рамках устава, от него зависимость. В его обращении со мной не было, как у других офицеров, ни любопытства, ни приветливости, ни простоты. Он смотрел на меня так, будто я написал на него «натовскую» характеристику или выкрал ее и специально принес в Управление кадрами Министерства обороны. Рядом со мной он все время что-то демонстрировал: то занятость, то рассеянное безразличие, то какое-то особого рода терпение. А уж напряженное внимание, с каким он выслушивал мои к нему немногие обращения, создавало впечатление, будто ему приходится мои слова переводить с какого-то языка на родной ему русский. Я заметил, что люди этого типа в разной мере, но обязательно заражены сознанием своей исключительности, даже не предполагая, что такая «исключительность» как раз и не редкость, типовая.

По предписанию я был назначен командиром взвода средних танков. Это были прошедшие огонь и воду, подустаревшие уже «Т-62», чья ходовая часть только и могла выдержать каменисто-скалисто-болотистое бездорожье. Новые танки создавались под европейский театр, вдогонку натовскому «леопарду», последние наши модели уже в чем-то и превосходили «леопард». Северянам же оставалось только рассуждать и догадываться, как бы повела себя металлорезина, последняя мода в танковой «обуви», в условиях тундры-мундры.

То, что я прибыл в полк по директиве Генштаба, командир чувствовал гораздо острее, чем я.

Люди, делающие карьеру, — народ по большей части осмотрительный, далеко смотрящий и настороженный, так что любопытство ко мне у подполковника Б-ва, конечно, было. Зачем появился этот «киношный» лейтенант? Глаза? Чьи?

Впрочем, может быть, во многом я и сам виноват. С людьми, пребывающими в карьерном напряжении, нужно шутить очень осторожно, а лучше и вовсе не шутить. Буквально в первые же дни, увидев у меня в руках записную книжку, он спросил как бы между прочим: «Что это вы там все время записываете?» — «Только то, что можно, товарищ полковник, что записывать нельзя, держу в голове». Может быть, как раз после этого он стал держаться от меня подальше?

Не знаю, уж как смотрелся наш полк с «натовской» вышки, из Норвегии, но в глазах и отчетах инспектирующих групп, постоянно наведывавшихся из Мурманска, Петрозаводска, Ленинграда и Москвы в наши богатые ценными породами рыб края, мы выглядели очень неплохо.

Они видели успехи самого северного, надо думать, в мире танкового полка, а мы делали вид, что не замечаем, как верной оценке нашей тактической выучки, технического и хозяйственного состояния полка помогали и семга, и новенькие «меха» — непродуваемые зимние куртки на великолепной романовской овчине, которых так не хватало в экипажах, которые изнашивались дотла и которые с такой охотой принимались в качестве «маленьких заполярных сувениров» инспектирующими ватагами.

По календарю на дворе лето, июль, да, видно, на полюс, или где там «кухня погоды», эта новость еще не пришла. Дни были похожи с утра на раннюю весну, а к вечеру на позднюю осень. По календарю — полярный

день, солнце не опускается за горизонт, но небесный полог задернут так плотно, что на земле сплошные серые сумерки. Изредка налетают заряды со снегом, но снег бросала скупая рука — по-видимому, главный запас в груженных тучах предназначался для какого-то еще более гиблого места.

Но боже сохрани от одностороннего взгляда на пургу, метели и злые ветры, для кого-то это беда, а кому-то и славу может надуть.

Вот нынешней зимой, к примеру, разыгравшаяся на три дня февральская метель, о чем мне рассказывали по моде времени как о событии, произошедшем не без участия незримых сил, акции нашего полка сильно подскочили вверх, а положение командира укрепилось настолько, что его не смогли пошатнуть интриганы с сопредельной стороны.

Памятной всем в полку февральской пургой занесло к нам корреспондента «Красной звезды», ехавшего из Корзунова в Печенгу, да заблудившегося. Едва пурга началась, у него в голове родилась замечательная строчка, он держал ее в памяти и жалел, что не может записать в подпрыгивающем на снежных ухабах «уазике»: «...казалось, вся земля сдвинулась, перемешала все краски и куда-то понеслась, чтобы после метели явиться перед нашими глазами в новом облиии...» Поняв, что водитель сбился с дороги, корреспондент перепугался, пурга поднялась нешуточная, и он в какую-то минуту даже подумал, что ему уже не удастся не только напечатать замечательные строки, но и просто увидеть землю в «новом облиии» после метели. Огни в расположении нашего полка оказались для них спасительными. Когда поздним вечером дорогого гостя вели через переметенный снегом плац из офицерской столовой на квартиру, тот обратил внимание на светящееся окно в длинном одноэтажном здании штаба полка на дальнем краю плаца.

Ни пурга, ни пережитый страх, ни обстоятельный ужин не притупили наблюдательность опытного газетчика. «Это чье окно там горит?» — полюбопытствовал военный корреспондент. «Это кабинет командира», — честно сказал НИШ и подтвердил замполит, сопровождавшие основательно согретого путника.

Через три недели весь полк из рук в руки передавал «Красную звезду». Подвал с великолепным названием «Негаснущее окно» читали даже вслух детям в школе. Вот как про нас пишут!

А свет в кабинете в тот памятный февральский день подполковник Б-в просто забыл погасить. У него разболелись зубы, и после обеда в штаб он не вернулся. Не смог даже встретить свалившегося на них корреспондента лично, но «меха» приказал ему вручить от своего имени.

Статья, отдающая должное нашему командиру, заканчивалась впечатляющими словами: «Под завывание полярной вьюги казалось, что жизнь в полку замерла, остановилась. Но несли свой неусыпный наряд караульная и дежурные службы, — (попробовали бы не нести!), — да светилось негаснущее окно в кабинете командира в штабе полка».

После этого до конца марта командир, уходя домой, больше не гасил свет в своем кабинете, потом, с наступлением полярного дня, неугасимая лампада уже не могла быть никем замеченной и как бы сама собой погасла. Но свет от той, не выключенной в феврале, лампочки кое-какой ореол вокруг головы командира поддерживал.

Едва ли я был в силах развеять недоумение командира относительно моего прибытия в танковый полк, если людям куда более мне близким, и дома, и на киностудии, где я уже отслужил полтора десятка лет, мне сколько-нибудь убедительно так и не удалось объяснить, зачем это я убываю, и уже не первый раз, в армию, да еще в столь непроглядно удаленную.

Да разве можно кому-нибудь объяснить потребность в одиночестве. Жена не поймет, потому что, прежде чем понять, обязательно обидится, коллектив не поймет, потому что кинематограф — дело коллективное и творчество в кинематографе коллективное. Я понимал, что и так роняю

себя в глазах наблюдательных сослуживцев, чрезвычайно дорожащих «творческим коридором», а был и такой на «Ленфильме», и «творческим буфетом», и вообще творческим творчеством, но отказать себе в очередном бегстве в армию уже не мог.

От кого бежал?

От всего и от всех, и потому чувство необыкновенной легкости охватывало и душу и тело, как только трогался поезд на Мурманск с Московского вокзала. Но для подтверждения всей полноты моего бегства мне нужно было прыгнуть в башню, захлопнуть люк и повернуть запорную ручку. Вот так! Теперь можно было спокойно откинуться и вздохнуть полной грудью. Этот миг чрезвычайно краток, считанные секунды, потом нужно сразу подключиться к ТПУ¹, выйти на ротную связь или на связь с «вышкой» и т. д. Но дело было простым, ясным, недвусмысленным и требовало понятных усилий. Попал — значит, попал. Промазал — стало быть, промазал. А в кино? В кино «попал — не попал» — это не факт, а мнение, суждение, впечатление. Игру, как говорят футболисты, делает судья. Так добро бы еще один судья, ну два боковых, а то ведь как галок на березе. Если бы тебе в левый наушник давали при стрельбе горизонтальные поправки, в правый — вертикальные, по ТПУ еще что-нибудь механик-водитель советовал, а с «вышки» бы по ходу, прямо на директрисе, меняли дистанцию до цели... И можно только изумляться тому, что при всех этих условиях, делающих простую стрельбу из танка практически бессмысленной шумихой, в кино-то умудрялись попадать! Так и я же по должности на киностудии был в числе тех, кто дает поправки «на ветер». Регламентированная, тяготеющая к машинальному исполнению во многих своих ритуалах армейская жизнь предрасполагает к внутренней свободе и сосредоточенности. Расписанная заранее, она ждет и требует от тебя так немного. В этой запрограммированной и предсказуемой жизни я отдыхал со всей возможной полнотой от жизни, программу которой приходилось составлять и корректировать по обстоятельствам самому, а исполнение ее было непредсказуемым, поскольку от тебя не зависело даже наполовину.

Говорят, в монастырях есть *трудники* — послушники по обету, берущие на себя временные и посильные обязательства, как правило связанные с простой работой. В трудники идут люди, не видящие иной возможности привести свое душевное хозяйство из состояния зыбкого, неустойчивого в ясное и прочное.

А куда неверующему податься? Мне провидение или счастливый случай подсказали спрятаться в танк. А вы куда прячетесь? Или у вас все в порядке?

Но спрятаться от всех и от себя прежнего, мирского — это все-таки полдела, надо же как-то и в мир возвращаться.

Я эту задачу решал с помощью закорючки, она-то мне и служила ключиком, крючком, для того, чтобы войти туда, откуда, как оказалось, и не уходил, душа тех мест никогда не покидала.

В детские годы после войны я долго жил в Заполярье, а для пацана и приземистая тундровая поросль чуть не дебри, вот и зацепила, зацепила меня на всю жизнь голенастая закорючка с тремя белыми лепестками взлет. Куда же мне теперь без нее?

Есть у Аларкона такие стихи: «Росток, который в дни весны не мог осилить кривизны, уже вовек не распрямится». Если бы я рассказал этот сострадательный стишок своему цветку, он бы затрясся от смеха. По причине природной изломанности упругого сухого стебля мой цветок совершенно непригоден для букета. И видит незаходящее полярное солнце, что я ни по детскому неразумению, ни от отроческой лихости, ни в юноше-

¹ Танковое переговорное устройство.

ской истоме ни единого стебля не сломал, ни одного цветка из земли не вырвал. Растут они среди камней и по сырым краям болот, иногда и в сами болота забредают, редко соединяясь в компанию в два-три кустика, а то все больше поодиночке. Но живое должно тянуться друг к другу, как-то соединяться, вот и мои сухонькие, голенастые, в три лепестка соединяются духом!

Есть в словаре парфюмеров такой термин — «нота». В одних духах есть «нота» сена, в других «нота» шафрана и т. д. А мои любимицы, разбросанные кто где придется, все вместе источают... музыку тундры, полную упительной нежности и головокружительной глубины.

Ты моя первая любовь, ты мое первое в жизни открытие, я долгое время не знал твоего имени, и зачем знать имя единственной!

Ты ни от кого не таишься, но, когда я узнал твою тайну, узнал, что и ты живешь двумя жизнями, мое восхищение обрело плотность преданности и почтения.

Моей красавице с белыми, словно из снега вылепленными лепестками не хватает скудного полярного лета. И что ж ей, не жить?

О! моя умница додумалась до того, до чего человеку и с двумя ботаническими образованиями не додуматься.

Распускает моя милая свои лепестки, а у нее бывает и два, и три цветка на одном не осилившем кривизны стебле, и подставляет их изумленному солнцу и шалешему от души сжимающего запаха ветру, с достойной скромностью украшает собой безликие голые камни и ржавые мхи болот все недолгое лето и... преспокойно уходит себе в полном цвету под снег.

Как и все, кто в безвыходном для других положении легко находит исключительно простой выход, она, наверное, довольна собой и под снегом чувствует себя так же уверенно и надежно, как будто ничего особенного и не случилось. А прозрачный плащ из тончайшего воска, прикрывающий и лепестки и листья, защищает от холода не хуже, чем горностаевая шубейка.

Весной там, где спрятался на зиму цветок, солнце пригревает особенно усердно, ему же не терпится взглянуть, каково почивала его старая знакомая.

За май и июнь снег с божьей помощью растает, глядь, и прямо из-под снега является моя красавица с букетиком цветов, будто бы ей и под снегом светило солнце!

Но теперь ты не теряешь время, ты собрана, ты деловита, предстоит самое важное. Теплые дни наперечет, ты слышишь веселый звон хрустальной воды вокруг, ты упиваешься соками оттаявшей всего-то на полметра земли, ты торжественна и прекрасна, в тебе зреет плод, ты набухаешь плодом, полнишься волшебными семенами, готовыми повторить твою мудрость и твое совершенство, несущие в себе еще не явленную твою красу, моя любимая; на исходе бесконечного полярного дня во всем бесстыдстве своего счастья ты брызнешь спелыми литыми семенами вдогонку скатывающемуся куда-то в глубокую пропасть, на долгую ночь солнцу! И ветер подхватит твой дар и посвятит его земле...

Вот так, моя закорючка, ради того, чтобы встретиться с тобой, я станю хитрей самого себя. Сандалии и безрукавки питерского лета, я без печали меняю вас на тугие воротнички, тесные чужие сапоги и жесткую армейскую сбрую. Раз для этого нужно лезть в танк, я лезу, дышу соляной и мазутом, а если от ударов и тряски ослабнут пробки на АКБ и к взвеси из солярки и пыли примешается легкая «нота» соляной кислоты, я буду дышать через респиратор, этакий удушливый намордник, мокрый изнутри от пота. На заполярных лесных дорогах летом песок, поднятый гусеницами и колесами полтора сотен боевых и вспомогательных машин разом, вздымается узкой стеной метров на пятьдесят, на семьдесят ввысь. Мы снимаем матовые плафоны с габаритных огней на корме танка, толь-

ко голая лампочка едва пробьет хотя бы впрямую стену песка и обозначит идущую впереди машину. И это днем...

За все, говорят, надо платить. Плачу. Цены тебе нет.

Когда я вижу тебя еще издали, у меня начинает биться сердце. Я знаю, что подойду сейчас, нагнусь к тебе, и твой единственный на свете запах будет твоим поцелуем. Я поглажу тебя, а ты пружинисто вывернешься из-под моей ладони, будто не узнала меня, а может быть, и сердиться, где меня так долго черти носили... Тогда я замкну твой цветок между ладонями, и ты замрешь, недоступная даже ветру. Я нагнусь, чтобы взглядеться в разлет твоих белых лепестков, чтобы глубоким долгим вдохом твой запах пронзил меня всего, всего... Голова плывет, сердце уже не бьется, а падает и подпрыгивает, как мяч. Уж не попался ли я на твой крючок, как иные попадают «на иглу»? Нет, куда там. Наркоз, наркотик — это же оцепенение и бегство от жизни, а ты вытаскиваешь меня, освобождаешь от всех цепей — и выдуманных и тех, что жизнь все время взваливает и взваливает. Твои белые лепестки — тот чистый огонь, что выжигает во мне гарь и накипь, делает и глаз приметливей, и голову ясней. Когда ты отпускаешь меня и я возвращаюсь в свои привычные заросли, их обитатели становятся почти прозрачны со своими хитростями, с мелким и, как им кажется, неуловимым лукавством; многоумие тщеславия и себялюбия в бесчисленных вариациях на эту неисчерпаемую тему, я узнаю вас с первой ноты, вам кажется, что вы все предусмотрели, но забываете о запахе.

Себялюбие и хлопоты гордыни выдают себя неистребимым отталкивающим запахом.

...А ты не знаешь, что такое ложь, лукавство, двоедушие, у тебя две жизни, но душа одна. Если бы ты знала, как мне хочется заговорить с тобой, ты же умнее меня. Ты и под снегом живешь, а не спишь. Я мечтал услышать тебя и услышал!

Однажды приснился совершенно дурацкий сон. Я летел над тундрой на крыле самолета, сам удивляясь тому, что меня еще не сбросил встречный ветер вниз. Но разве может меня сбросить ветер, пропитанный тобой и запахом сырых камней, талой ледяной воды. Самолет не снижался, но впереди показалась земля, она стремительно приближалась.

Я узнал плоскую вершину сопки и соскочил на нее с крыла, как спрыгивал в детстве с подножки летящего со звоном трамвая под лихой клич: «Осаживай!»

...Теперь я знал, что ты рядом, я понял, что летел к тебе. Я знал, что мы одни, но одиночество с тобой вовсе не уединение в укромностях, напротив, оно требовало простора. Вокруг доколе хватало глаз простиралось каменное взгорбленное невысокими сопками безлюдье. Я никогда тебя не слышал, в наших разговорах ты только слушала и только молча соглашалась или так же молча возражала. А сейчас я знал, что тишина, охватившая всю необозримую землю вокруг, нужна только для того, чтобы я тебя услышал...

«Я знаю свое дело».

Это прозвучало как бы вдруг, коротко, негромко, как мне показалось, быть может, торопливо. По тому, как слова оборвались, было ясно — продолжения не будет. Ты все сказала.

Я проснулся, я умею заставить себя просыпаться, когда нужно запомнить что-то, услышанное во сне. Мне было весело оттого, что я твои слова не заснул, как бывает, и нет нужды мучительно потом вспоминать что-то чрезвычайно важное, мелькнувшее во сне.

Не знаю, сознаешь ли ты свою жизнь после зимнего пробуждения как новую или как продолжение прежней. Я и про себя-то не знаю, тот же я рядом с тобой, что и на киностудии, или это другая жизнь.

В экипаже, во взводе, отданном в мое подчинение, и в роте, где взводные принимали меня как равного, я чувствовал себя вполне комфортно. Быстрый как ртуть командир роты Толя Вальтер, игравший в свое время за «Крылья Советов» в дубле, радовался моей настырности в постижении премудрости вождения и стрельбы из танка и приемам управления взводом в движении. Все мои невольные ошибки он поспешно брал на себя: «Ой, опять забыл вам сказать...»

За три года, прошедшие после моего первого бегства в танковый полк — тот стоял тоже в Заполярье, но значительно южнее, — что-то я еще не успел забыть, что-то припомнил, а многому с охотой учился заново. Спрашивал не стесняясь и солдат, и офицеров, и те в воздаяние за мое прилежание охотно объясняли, показывали и давали полезные советы. То, что они делали по необходимости, то, что для них было рутинной, меня увлекало своей новизной и разнообразием новых ощущений. За мое коротенькое лето мне нужно было прочувствовать с возможной полнотой службу северного танкиста. О том, что я появился в полку, уже имея некоторые навыки в обращении с разнообразной военной техникой, я предусмотрительно не говорил.

По плану боевой подготовки на двадцать третье июля было назначено вождение танков на плаву.

Нас, «средняков», это, естественно, не касалось, но я обратился к командиру полка с просьбой разрешить присутствовать на вододроме во время учебных занятий батальона плавающих танков.

— Решите этот вопрос с вашим командиром, — глядя мимо меня, проговорил Б-в, давая понять, что власти командира роты вполне достаточно для управления моей судьбой. Дескать, пусть Генеральный штаб и Толя Вальтер занимаются вами, а у него есть и кроме этого много важных дел.

— Благодарю, товарищ полковник!

В армейском обиходе в обращении к подполковникам приставка «под» как бы случайно опускается. Этикет позволяет такую извинительную и лестную для самолюбия старшего офицера оговорку в отдельных случаях. Я же не упустил возможность показать знакомство с тонкостями армейского этикета. Подполковник меня не поправил.

На вододром для выполнения упражнений на плаву прибыли со своим плавающим танком и ребята из разведроты под водительством капитана Федорова, с которым дружил мой Вальтер, и нам пару раз случалось встречаться в застолье. Федоров принадлежал к тем серьезным, без позы людям, которые не признают легкого приятельства, на приятельские сближения не податливы, долго приглядываются к людям, но в дружбе бывают немногословны и самоотверженны. Мне хотелось сойтись поближе с Федоровым, я чувствовал в нем человека основательного, интересного. Но, сохраняя доброжелательность, он ждал с моей стороны подтверждения серьезного отношения к делу, которое он выбрал для себя сознательно и, похоже, на всю жизнь. Собственно, сказать «ждал» было бы преувеличением. Так, наблюдал как бы издали и, может быть, не без своего интереса.

— Дадите машину сплавать? — подошел я к Федорову. Я был старше капитана лет на десять минимум, но обращаться на «ты», как к большинству его ровесников, почему-то не хотел.

— Знаете «плавуна»?

— Только посуху.

«Т-76», танк плавающий, четырнадцать тонн, «катер с пушкой», по ироническому определению почти сорокатонных «средняков», мне довелось водить только по танкодромам и стрельбищам на земле, а плавать не пришлось.

— Надо попробовать, — улыбнулся Федоров, и даже в том, как он это сказал, был виден человек спокойный и решительный.

Дело осталось за малым.

Я подошел к командиру полка, внимательно следившему за тем, как ловят и ставят на место сорванный ветром один из трех буйков, расставленных углом и обозначающих «дворик». Танк должен войти в этот угол, остановиться и выйти задним ходом, и все это не касаясь буйков ни в коем случае.

— Товарищ полковник, разрешите провести заезд? — обратился я, но очень уверенный в правильности терминологии. И действительно, командир смотрел на меня так, словно я еще только что-то собирался сказать. Похоже, что из услышанного он понял лишь «товарищ полковник». Увидев, что меня то ли не поняли, то ли не хотят понять, пояснил:

— Проехать хочу.

— Да-да, пожалуйста, — с неожиданной готовностью откликнулся Б-в, будто давно ждал моей просьбы, — заряжающим?

Едва ли не танкист сможет оценить меру унижения, вложенную в этот вопрос. Заряжающие, «закидные», — это, как бы сказать, илоты в танковых войсках. А ехать заряжающим на не стреляющем танке — это занятие для перспективной девушки...

Все, стоявшие у командной вышки, прячась от ветра, деликатно сделали вид, что не слышали убийственного вопроса командира.

— Нет, товарищ подполковник, — я четко выговорил все буквы в его звании, — на рычагах. Заряжающий на стрельбах нужен, — продемонстрировал я глубокое понимание специфики сегодняшних занятий.

Все, кто стоял рядом, с немалым удивлением обернулись ко мне и со вниманием ждали, что же ответит командир.

— Мне разведчики дают свою машину, — сказал я, подтверждая решительность своих намерений.

— Ну, раз разведчики дают машину, ну что ж, поплавайте, поплавайте... — И как бы в предвкушении забавы, командир позволил себе как бы улыбку. И тут же улыбку сдуло новым порывом колючего ветра: — Под их ответственность.

Это был настоящий, опытный, может быть, уже обжегшийся на каких-то ЧП командир. Он знал, как важна для следствия, подтвержденная свидетелями, всего лишь одна реплика «под их ответственность». Если этот непонятно зачем в полку объявившийся «кинщик» нырнет сейчас вместе с танком и не вынырнет, вот эта коротенькая фразочка, «под их ответственность», не даст ему, командиру, утонуть вместе со мной. На это словечко он надеялся гораздо больше, чем на танк-спасатель, стоявший, как говорится, под парами и готовый ринуться на выручку в случае необходимости.

— Разрешите? — по-строевому произнес я.

Командир только покивал головой.

Я подбежал к разведчикам, стоявшим неподалеку от старта своей командой. Отдал фуражку и с удовольствием натянул теплый шлемофон.

С вышки управления раздалась команда, разорванная на куски ветром, пока летела к нам, но и в обломках можно было узнать: «К машине!» За командира в танке шел механик-водитель, я за механика, так что в строю перед танком младший сержант занял место командира, а я одесную.

«...ою!» — это стало быть: «К бою!»

Прыжком в машину, захлопнута двойная башенная крышка, закрываю водительский люк, запускаю двигатель, но, припав к триплексам, ничего не понимаю, вижу только вправо и влево, а впереди все закрыто. «Командир! Не вижу ни хрена...» — докладываю в башню по ТПУ. «Перископ!» — кричит мой спасатель. Мне закрывает обзор вперед не опущенный после предыдущего заезда (спасибо! я бы и не вспомнил) волноотбойный щиток! Поднимаю перископ, движение двумя пальцами — и я уже зрячий. Очень вовремя. По радио четкая команда: «Вперед!» Пошел секундомер.

У «Т-76» коробка с прославленной «тридцатьчетверки», уж можно было бы и обновить, кулиса переводится с трудом, особенно без навыка. Скрежет стоит такой, будто я в шестерни кость засунул и теперь ее, давась, перемалывают. Уходят секунды, а я на месте. Наконец утроба харкнула и проглотила. Можно ехать!

Слишком резко взял на себя бортовые, волнуешься как черт.

Машина рванула с места прыжком, так недолго на редукторе зубцы выбить...

За минуту до старта по вододрому, как мне потом рассказали, разнеслось: «Кинщик едет! Кинщик едет!» Из всех закутков, из всех укромностей, где прятался народ от непогоды, люди ринулись к командной вышке, чтобы развлечься немножко в этот аспидский день.

В подтверждение ожиданий танк не вошел в воду, откинув поднятым щитком волну, а плюхнулся прыжком на манер жабы. Поднятые брызги, подхваченные ветром, тут же залепили мне перископ. Только этого не хватало. Дворников на перископе нет, не легковушка. «Водомет», — спокойно, как профессор подсказывает на операции новичку, напоминает сержант из башни. Перехожу с гусениц на водомет. Плыдем!

Даже этого не все ожидали. «Поплыл! Плывет! Ай да кинщик!» спешили удивиться и похвалить те, кто не предполагал от «кинщика» такой прыти.

По тому, как ветер валит буйки к воде, можно было прикинуть направление сноса. Ветер дул неудачно. В правый борт. А «боковая стенка» в «дворике», третий буюк, была слева, и ветром машину на него могло навалить в два счета. Увидев, что я беру поправку на снос, мой командир тут же подсказал: «Еще правей! Больше вправо!» Спасибо, сержант! Тебе сверху из башни получше видно. Во «дворик» нужно только сунуться — и сразу назад. Черт с ним, пусть внесет во «дворик» ветром, изголовлюсь к заднему ходу загодя. Лишь корпус зашел за буйки, кормовые заслонки вниз и полную нагрузку на движитель. Выскочили из «дворика» чуть не в полуметре от буйка, коснуться которого было страшно, как мины. Смешно, конечно, но на рычагах все кажется ужасно важным.

Кормовые заслонки вверх и полным ходом к «змейке». Танк не глиссер, и «полный ход» — плавание неспешное, особенно в препирательствах с ветром.

— Чистенько выскочили, товарищ старший лейтенант! Чистенько! — это кричит из башни механик, мой главный болельщик и помощник. Вижу его первый раз в жизни, впрочем, не вижу — вижу впереди первый буюк «змейки», их четыре в линию, пройти надо так, как проходят среди вешек слаломисты, только им разрешается вешки задевать и корпусом, и палками, а нам за каждое касание — балл долой, а всего-то этих баллов три, дальше идет уже «неуд».

— Пожалел ветерок вашего кинщика, — бросил командир, когда мы благополучно выбрались из «дворика». Что произошло, понять было не просто, может, и действительно ветром надуло, ветры в этих краях и не такой успех надували.

Вспоминать о том, как на «змейке» по командам сверху перекидывал рычаги, — дело пустое. Лбом в перископ, а руки уже сами хватают, тянут, отжимают... Только помню, как подхлестывали азарт и поднимали настроение выкрики по ТПУ с командирского места.

— Есть, товарищ старший лейтенант!.. Есть, товарищ старший лейтенант!.. Резко правый! Резко левый! — и так после каждого обойденного с миром буйка.

— Мужчина едет! — объявил Федоров, когда мы вывернулись от последнего буйка и, откидывая броневым щитком лезущую на нос воду, расплевываясь водометом, пошустрили к каменистому мысу, разделяющему два озера, две «воды».

Краткое высказывание командира разведчиков пришлось моим болельщикам на берегу по вкусу. Нового не искали, только позволяли в присутствии автора переставлять слова, понимая, что самое сложное как бы и позади. «Едет мужчина...» — и покачивали головой.

Когда я ткнулся в мыс, перешел с водометов на гусеницы и полез по мысу через раздолбанный, разутюженный, с вывороченными каменюгами проход, Федоров посмотрел на секундомер и негромко сказал, но все услышали:

— Кажется, командира делают...

Смысл предположения всем был понятен — командир и буюк задел, и по времени шел чуть хуже. Теперь мы скрывались с глаз болельщиков внизу, «вторая вода», куда мы благополучно приползли по башню в грязи, видна была только сверху. На «второй воде» никаких сюрпризов нам не было приготовлено, и мы благополучно доплыли до «второй суши», по которой предстояло пройти около полукилометра к исходной точке.

— Хорошо едем, товарищ старший лейтенант! Хорошо едем! — слышал я бодрый крик в шлемофоне, и тут могла наступить расплата, явно неравноценная замаячившей победе.

Выскочив на «вторую суши», я сбросил вниз ненужный больше перископ, откинул крышку водительского люка и собирался уже приподнять кресло, чтобы идти «по-походному», с головой, овеваемой свежим ветром, как едва не остался без зубов.

Разъезженные проходы между валунов и скал даже отдаленно не напоминали дорожку. Я катил на второй скорости, двинув рукоятку подачи топлива на две трети. Лихо катил. Но когда танк клонул в одну из заполненных грязью ямиш, я ударился подбородком о резиновый край открытого люка. Придись удар на пять сантиметров, даже на три выше, — и я подавился бы собственными зубами.

«Понял, осел?! Для кого записано: „...выполняется при движении танка „по-боевому“, то есть с закрытыми люками”!»

Ходу по этой ужасающей трассе, наезженной так, что она постепенно приближалась к разряду танконепроходимых, было немного. Успел опустить сиденье и закрыть крышку. И мудро поступил! Если бы мы вернулись на исходную с механиком, торчащим наружу «по-походному», все наши усилия и все везенье было бы перечеркнуто показательным выговором, произнести который едва ли отказал бы себе в удовольствии командир полка.

Армейский этикет не позволял тем, на чьих глазах «сделали командира», дожидаться развязки, да и погода была, знаете, не для досужих зрелищ. Народ как-то незаметно расползся по невидимым укрытиям и по видимым.

Остановив на исходной танк, я дал двигателю оглушительно взречь и разом его заглушил. Это уже было почти молодечество.

Теперь главное — не попасться на мелочевке. «До команды сидим!» — напомнил сержант из башни. Лишь после того, как в наушниках прозвучало с «вышки»: «К машине!», мы прыгнули с брони и встали, как гимнасты после исполнения опорного прыжка на Олимпийских играх.

Если мой заезд под ответственность командира разведроты, то ему мне и докладывать. Я попытался ватными от перенапряжения ногами изобразить «строевой шаг» и подошел с докладом к Федорову, стоявшему неподалеку от командира.

— И богатыри дивились на этого витязя, — объявил Федоров после моего рапорта. А потом добавил: — Пять баллов, — сказал негромко, чтобы эту не очень приятную новость не мог услышать командир, крепко упершийся расставленными ногами в землю под порывами льдистого июльского ветра.

— Отличная машина у вас, Сережа, слушается, как велосипед.

Разведчикам в полку положено всего три плавающих танка, и ухаживают они за ними, как за невестами.

КАК Я ПИСАЛ СЕНСАЦИИ

Добрейшая Фрида, похожая на бабушек, разве что без чепчика, с картинок к сказкам братьев Гримм, мать Мирвольда, свекровь Иевы, бабушка Раймондаса, была хозяйкой хутора Мишас, что на сказочном озере Райполос.

Почему сказочном?

Да потому, что на прилежащих к озеру хуторах я застал еще доверительные рассказы о том, что это озеро такое глубокое, особенно в южной части, что там во время войны утонула немецкая подводная лодка. Утонула, как надо было понимать из неторопливого рассказа почти свидетелей, оттого, что даже немецкие подводные лодки не рассчитаны на такую глубину, как в южной части озера Райполос. И надо же было немцам и туда заплыть, мало им Атлантики, Индийского и Ледовитого океанов. И хотя от Райполоса до Балтийского моря, вернее, Рижского залива было сто семьдесят километров, а до Таллина и соответственно Финского залива больше трехсот, добраться до сказочного озера было трудней, чем до Шпицбергена, где у немцев всю войну была база подводных лодок. Да вот только не помню, чтобы в Рижский залив заходили немецкие подводные лодки. Вот и в Финском заливе, насколько помню, только в июне сорок первого появились немецкие подводные минные заградители, засыпали все фарватеры минами и ушли подобру-поздорову.

Спрашивать, как попала подводная лодка в озеро Райполос, сообщавшееся мелкой каменистой протокой, непригодной даже для прохода на байдарке, с двумя озерами в Корнети, было бы столь же бестактно, как спрашивать старика Ольгерта, у которого я в восьмидесятом году куплю оставленный им дивный хутор Дзениши, откуда у него знак «Мастер штыковой атаки» — из какого-то белого сплава винтовка со штыком, заключенная в такой же металлический венок с расправившим крылья орлом наверху и свастикой внизу.

Нашел я и саму винтовку системы «маузер», правда, уже без штыка и без затвора, но по-хозяйски спрятанную за деревянную обшивку в опилках в стене курятника, доставшегося мне вместе с коровником, свинарником, каретником с розвальнями, бетонным бункером для хранения пищевых припасов, колодцем и огромным почти новым дощатым сараем, построенным специально для свадьбы сына Ольгерта, Андрея, лесничего, выбравшего себе в жены учительницу Анну из Яуцлайцене.

Прежде чем приобрести свой хутор, стать юридическим владельцем Дзенишей, я два года с сыном и один год с отцом летом жил на полном пансионе у добрейшей Фриды на Мишасе. В самое первое наше лето в самый первый наш выход с сыном на разведку окрестностей Мишаса, на высоком берегу Райполоса, круто спускавшемся к воде, в старом чистом ельнике без подлеска мы напоролась на плантацию белых грибов. Шляпки у них были с кулак моего сына, а твердости — с мой кулак. Увидев гриб издали, надо думать, в каком-то все-таки предчувствии, я наводил сына на добычу морскими командами, давно не звучавшими над озером: «Малый вперед! Лево на борт! Подработать правой машиной!.. Стоп! Отдать якорь! Поднять гриб!»

Занятие, сочетающее полезное с приятным, нас так увлекло, что мы не заметили молодой женщины южного обличья и не менее молодого мужчины обличья безраздельно прибалтийского, приблизившихся к нам.

— Лаб рит! — приветствовал я незнакомцев по русским деревенским правилам, с учетом местных условий. В ответ был готов услышать привычное «свейки», но услышал другое.

— А мы вас знаем, — на чистейшем русском сказала женщина, которую мы видели первый раз в жизни.

— Да, да, так оно есть, мы вас знаем, — не дал мне опомниться молодой человек, подтвердив своими словами и правоту женщины, и свое прибалтийское происхождение.

— Вы тот, который пишет сенсации, — утвердительно сказала женщина.

— Какие сенсации? — опешил я.

— Мы тоже хотим немножко зна-ать, — сказал молодой человек, сохраняя полную серьезность.

Единственная невероятная новость, которую я мог бы им поведать, была бы правдивейшая повесть о затонувшей подводной лодке, но мы только вчера вечером поселились на хуторе и пока знали, что это озеро от всех прочих озер в мире отличается лишь красотой водной глади и разнообразием то возвышающихся, то припадающих к воде берегов.

— Я не пишу сенсаций...

— Только не надо, — вполне в южном стиле оборвала меня женщина. — Это уже все знают. Мы, может быть, с Юрисом узнали об этом последними, но зато решили первыми с вами познакомиться. Меня зовут Ира.

Да, кажется, Фрида называла «Ирас на Ригас», когда я спрашивал ее, есть ли в окрестностях еще хутора и кто там обитает.

Я представил сына и назвал себя.

— А вы «Ирас на Ригас»? — что на языке Фриды означало «Ира из Риги».

— Видите, мы уже все знаем друг о друге. Так где можно почитать ваши сенсации?

— Ну какие сенсации на хуторе?

— Но мы же слышали, как вы утром стучали на машинке!

Ай да озеро! Ай да берега!

Действительно, утром после изрядного завтрака я сел за машинку и посидел часа два, может быть, полтора в нашей светелке на втором этаже. Окно было открыто, за окном было озеро.

— До конца отпуска мне надо написать сценарий, — простодушно признался я и услышал в ответ хохот.

— Ваша Фрида добрая, — сказал Юрис, отсмеявшись первым, — но она немножечко тщеславится себя...

— Тщеславная, — поправила Ира и пояснила что-то на беглом латышском.

— Сегодня утром в магазине в Вецлайцене... — Ого! это километра три от Мишаса, — а потом на почте Фрида всем рассказала, что у нее теперь живет человек, который пишет сенсации.

Меня еще не раз приведет в изумление скорость распространения жизненно важной информации в глухих местах и на безлюдье.

Да, действительно, увидев у меня в багаже пишущую машинку, Фрида поинтересовалась, что я собираюсь на ней писать. Я сказал — сценарий. Слово это было для нее не очень привычным или удобопонятным, а озеро Райполос, как можно было убедиться, располагает к творчеству.

Фрида не принимала постояльцев ради прибытка, ради денег. Плата за постой, комнату и трехразовую отменную кормежку была вполне скромной, зато гости на Мишасе были на зависть окрестным хуторам.

Доктор из Риги!

Это был великолепный предлиннейший человек с детским лицом и огромными руками. Мы познакомились, не обременяя друг друга вынужденным приятельством. Потом он приезжал специально из Риги на уборку картошки на Мишас, а это и работа, и праздник для родни, друзей и соседей.

Еще большей достопримечательностью и настоящей гордостью хозяйки был Александр Каверзнев, популярнейший телерепортер, так внезапно и странно умерший от какой-то гадости, привезенной из Афганистана.

Сам Александр появлялся на Мишасе редко, чаще там жил его сын-художник, но, когда он приезжал, мы ходили с ним по дороге вдоль озера

по высокому берегу. Свидетель жизни для многих неведомой, он рассказывал о людях широко известных, членах Политбюро, например, вполне откровенно, но с тактом. Даже о вещах скандальных он говорил, как о житейском. Жизнь во всех ее проявлениях была ему глубоко интересна, именно глубоко, и говорил он о ней с мудрой осторожностью, интеллигентно. И осторожность его была не дипломатическая, не от боязни сказать «лишнее», а от отвращения к пошлости, профессиональной журналистской пошлости, замешанной, как сивуха, на дрожжах сенсационности.

...Вы заметили, среди постояльцев Фриды я не назвал ни одного женского имени? Не случайно. С женами и неженами постояльцев на Мишасе не привечали.

Если в соответствии со словарем считать сенсацию «необычайно сильным впечатлением», то к явлениям этого порядка можно было бы на хуторе отнести способ охраны от предприимчивых кабанов картофельного поля, граничившего прямо с лесом, и способ охоты Мирвольда на уток.

Для кабанов Мирвольд установил на поле со стороны леса три радиодинамика и, как только темнело, включал круглосуточную радиостанцию «Маяк». Окна нашей светелки выходили на озеро, и ночью музыкальные программы «Маяка» были едва-едва слышны. Судя по следам, по исколотой острым копытами земле, кабаны регулярно приходили слушать «Маяк» и, наверное, слушали бы музыку до утра, но бесконечно повторявшаяся в промежутках новость о вручении ордена Отечественной войны городу Воронеж их утомляла, и они уходили искать счастья на других огородах.

Украшением хутора Мишас был огромный сарай, отвечавший изначальному смыслу этого татарского слова — дворец! Его-то и сожжет по неразумению маленький Раймондас. На каменной кладке нижнего полуэтажа сарай вздымался вверх, прикрывая своей двускатной крышей громадный сеновал наверху, а внизу целый скотный двор с коровами, свиньями, всевозможной птицей, столярной мастерской, гаражом для мотоцикла «Днепр» с коляской и «Москвича», а также стойлом для лошади Лиры, рослой красавицы с высокой шеей, мечте драгуна. С левой стороны, со стороны сада, к дворцу была пристроена дощатая будка, скажем, для уединения.

Мы сидели с сыном на крыльце и в наступающих сумерках ждали, когда Фрида вынесет из коровника молоко вечерней дойки. Над садом промелькнули совсем низко две утки. Вдруг из дома вышел Мирвольд с ружьем в руках, в домашних опорках и направился к туалету. «Надо немножко поохотиться», — увидев изумление в наших глазах, сказал хозяин, вынул из кармана брюк два патрона и заткнул ими черные бельма откинутых стволов. Никакого охотничьего снаряжения, кроме ружья, у кряжистого пожарника, а Мирвольд служил в пожарке в Алуksне, не было. Он зашел за уборную, и мы решили, что он направился по тропинке к лесу. Но через минуту, не больше, раздалась за сараем два выстрела подряд.

Мы бросились на выстрелы.

За сараем простиралась то ли большая лужа, то ли небольшое озерко с просвечивавшим неглубоким дном и приболоченными берегами. Раньше этот водоем служил напорным бассейном для мельницы, принадлежавшей отцу, если не деду Фриды. Мельницы не стало, «когда еще была Латвия», как говорила Фрида, впиваясь в меня блеклыми серенькими глазками, чтобы воочию убедиться, понял ли я ее. Она была очень общительна, разговорчива, но в середину длинных монологов всегда вставляла признания с оттенком вины: «Я с русски плохо... Ой, плохо...» Рефреном многих ее житейских повествований были слова: «Когда была Латвия...» — после чего она делала паузу, смотрела на меня, и только после кивка, означавшего понимание, рассказ бывал продолжен.

Забежав за уборную, мы увидели Мирвольда с длинным шестом в руках. Стараясь не оступиться в воду, он пытался зацепить плававшие на

воде метрах в пяти друг от друга две утиные тушки. Стрелок Мирвольд был отменный.

На Мишасе я с увлечением писал сценарий. Ощущение сенсационности биографии моей героини не оставляло меня. Жила она в дальнем конце озера, вернее, еще в полутора километрах от того конца. При необходимости я прыгал в лодку и, не боясь никаких глубин, опасаясь лишь мелей в своем сценарии, летел на веслах, чтобы спросить, узнать, посоветоваться. Это была женщина-летчик, после войны она открывала пассажирскую линию Рига — Ленинград, а в конце шестидесятых друзья-летчики подыскали ей хуторок Ваверес, что значит «белочка». Ольга Михайловна была не осоавиахимовка, не любительница из аэроклуба, не выпускница торопливых курсов, готовивших отчаянных девчат для героической и, как правило, короткой боевой работы на легких самолетиках. Она была из первого женского выпуска авиашколы им. Баранова! Уже до войны в Ленинградском авиаотряде она достигла высшего среди пилотов класса «матричницы», официально, естественно, такого звания не было. Но были летчики, и среди них только одна женщина, кому доверялась доставка на самолете матрицы центральных газет из Москвы в Ленинград, где они печатались на весь Северо-Запад. Для этих пилотов и конец света не мог быть ни препятствием, ни слабым оправданием задержки выхода газет. О недостатке матриц и речи быть не могло. В финскую кампанию она влетела на открытой ветрам и морозам легкой санитарной авиетке. В лютые морозы ей загружали в фюзеляж двое носилок с ранеными, взлетала, в основном, с замерзших озер. В Отечественную в свои двадцать пять стала командиром мужского экипажа «Си-47» («дуглас») в 10-й дивизии АОН (авиации особого назначения). Выбрасывала разведчиков, а то просто ящики с деньгами или рации над территорией Германии по заданию ГРУ, вывозила из Ленинграда ребятишек и минометы, летала к партизанам, возила артистов Большого театра, а сама была похожа на всенародную любимицу актрису Любовь Орлову, улыбалась даже на фотографии в удостоверении пилота и на фронтовом плакате размером в ее рост: «Летайте, как Ольга Лисикова! 346 боевых вылетов!» К написанному на плакате сама Ольга Михайловна добавляла: «Ни одного ранения, ни у меня, ни в экипаже. Ни одной битой машины». Дыры в крыльях и фюзеляже она не считала, это война, а вот «битая» машина — это ошибка летчика. Я слушал эту голубоглазую, всегда прибранную, по-спортивному ладную ленинградскую даму и пытался ее представить «шурующей» левой педалью. «А потом сразу даю левую ногу, закладываю крен, ну только чтобы не свалиться, даже на приборы не смотрю, чтобы самой страшно не было...» — и залиристо хохочет. «Вот что я не любила, Михаил Николаевич, так это „эрликоны“, видела, что они с самолетом делают... „Мессершмитты“? Ну конечно, ничего хорошего. У него два пулемета, одна пушка и маневр, а у меня один стрелок с УБТ. Но я ж „высотница“, они туда не залезали. На обратном пути линию фронта перехожу на предельной высоте, ведь наши мазилы обязательно обстреляют. Настраиваюсь на „приводную“, отдаю управление второму пилоту и иду проверить бигуди. Сверху береточка, наушниками прихватишь, очень хорошо держится... Прилетала всегда „по форме“».

Центральная сценарная студия заключила со мной договор. Первый вариант сценария, написанный на Мишасе, был принят с уверениями в хороших перспективах. Были даны поправки и... неофициальное предложение поправить диалог за часть гонорара. Предложение я от самоуверенности не принял, а с диалогом-то не справился. И второй, и третий вариант сценария становились все хуже и хуже. А когда со студии ушел Василий Соловьев, защищавший сценарий, договор со мной был сразу же расторгнут.

Но на этом цепь «сенсаций» не закончилась.

Со временем сценарий был опубликован в альманахе «Киносценарии», а я получил за него премию от высшего руководства Министерства обороны.

Только я вернулся с премией из Москвы домой, звонок по телефону, звонит Алексей Герман, мой институтский еще приятель и уже кинорежиссер, известный своим талантом и упорством.

— Мишка, ты татарин? Если не татарин, то жаль. У меня для тебя очень хорошие вести. Мог бы слупить себе халат и Светке тюбетейку. Я только что был в Дании, в Луизиане, это курортник под Копенгагеном, встреча была с нашими эмигрантами, там тебя Синявский знаешь как хвалил...

— Ты откуда, Леша, говоришь?

— Из Москвы, вчера вечером прилетел...

— О, а я вчера из Москвы уехал, получал премию в Главпуре.

— Нет, Мишка, ты все-таки значительно хуже татарина. Я ему говорю: тебя Синявский хвалил, понимаешь? Синявский посреди Европы, в Дании на конференции, а ты мне со своим Епихуевым! «Меня сам Епихуев наградил! Меня сам Епихуев похвалил! Что мне твой Синявский!»...

Герман к этому времени снял две картины о войне, на мой взгляд, довольно удачные, но имел с ними массу неприятностей. Все думали, что это просто невезенье, а оказывается, все неприятности-то, может быть, оттого, что он не смог запомнить, выучить, наконец, и правильно произносить фамилию, обращаясь к генералу, мимо которого ни один фильм на военную тему не прошел к советскому кинозрителю.

УЛЫБКА МЕДВЕДЯ

С режиссером Алексеем Г. мы приятельствовали еще с института.

В Театральном училище одновременно, но на разных факультетах. Впрочем, однажды я играл у него в курсовом отрывке в массовке. Участники массовки вовсе не лишены тщеславия. Есть массовочник «без слов», а есть «со словами». Я был «со словами», кричал: «Играйте, Валери!»

Леша ставил отрывок из «Сирано», эпизод в театре.

В роли Сирано был студент Сережа Юрский. Слушать монолог о носах в его исполнении приходил народ даже на репетиции, мы пребывали в волнующем ощущении рождения на наших глазах звезды.

И вот, оба изменившие театру, оба ринувшиеся в кинематограф, мы сидим с Алексеем в ленфильмовском кафе, соединявшем в себе клуб, бистро, биржу труда и стену плача.

На вялый, ничего не значащий вопрос Алексея: «Как дома?» — мне пришлось рассказать об очередном отъезде жены, на этот раз даже не в Алма-Ату, а, кажется, в Чимкент.

— Допек, — как о чем-то давно им ожидавшемся сказал Алексей. — Я ее понимаю

И замолчал.

Две минуты назад он рассказал, как кувыркается со своей первой картиной, как пока еще на студии редактора пробует его на излом. Если дома так, то чего же ждать от Госкино?

О работе говорить не хотелось. Чтобы не молчать, я его спросил: «А у тебя как... дома?»

— Много мелких осколков. Практически по всей квартире.

Я знал, что квартира ему от отца досталась пребольшущая, а самая большая вещь из бьющихся, здоровенная китайская ваза, чуть не в рост ребенка, разбита Лешей уже давно.

— Люстра? — без особого интереса, так, чтобы не молчать, спросил я.

— Нет, Миша, сервиз...

И дальше последовал рассказ о том, что долгое время великолепный китайский обеденный сервиз, украшение не пустяками заставленного буфета, был заложником в ссорах с женой. Не зная, чем, как, при помощи каких слов и действий заставить мужа прекратить, замолчать, согласиться, наконец, хотя бы не орать, она грозила грохнуть сервиз.

Воспитанный в достаточной семье, Алексей не очень дорожил вещами, но знал, как любит этот сервиз мать, и потому «последний аргумент королевы» действовал безотказно, прибегать к нему приходилось, надо думать, не часто.

А вот в давешней ссоре, когда жена пригрозила употребить доказательство «от сервиза», Алексею вдруг захотелось раз и навсегда покончить с этим шантажом.

— Надоело, Миша, понимаешь, надоело, — воспрянув от грустной дремы над чашечкой остывшего кофе, заговорил Алексей, — что она меня всю жизнь пугает и пугает...

А дальше было рассказано с тайным оттенком гордости за свою жену.

Пока они ругались, оказывается, она его трижды предупредила, что «сделает это», а он не только не хотел верить, но еще и насмешничал.

Дальше произошло нечто неожиданное и для него, и для нее.

Жена подошла к буфету, вытащила выстроенный в китайскую пагоду сервизище, гору сужающихся кверху тарелок и подтарельников, приподняла и с маху грохнула об пол.

— А ты что?

Он сказал.

Я не одобрил.

Он согласился: может быть, ты прав.

Обменявшись домашними новостями, мы сидели молча.

Никогда не знаешь, что на уме у медведя.

Сходство моего приятеля с медведем, скажем так, уж очень бесхитрое, вроде рядом лежащее на первый взгляд, но верное, если немножко больше знать медведей.

Константиновский, готовивший тигров для выступлений Маргариты Назаровой, рассказывал на съемках «Укротительницы тигров» о коварстве и непредсказуемости именно медведей.

И действительно, вы обратили внимание, что львы, тигры, пантеры, кто там еще, удавы, слоны — все выступают в цирке без намордников. Все! Кроме медведей. Даже подросткового возраста мишки, такие мягкие, такие круглые, такие забавные, такие милые, и те выступают на арене только в намордниках.

А почему?

Да только по одной причине — никто не знает, никто угадать никогда не может, что у него на уме, что он сейчас сделает.

У медведей нет мимики! Это раз.

Второе. Медведь не предупреждает о нападении. О его намерениях можно узнать, увидев собственный скальп в когтистой лапе.

Леша поднял на меня свои медвежьи глазки и посмотрел долгим неморгающим взглядом.

И во взгляде этом, в глазах своего давнего и милого сердцу приятеля, я заметил глубочайшее сочувствие, почти сострадание, я видел совершенно ясно, что ему меня стало жалко. И хотя нельзя унижать человека жалостью, это мы усвоили не без горечи, но иногда так хочется сочувствия. Я с размягченной душой приготовился услышать слова утешения, сам не знаю в чем, но утешения.

— Мишка, хочешь, тебя завтра со студии выгонят? — грустно и негромко спросил Леша.

— Меня? Завтра? За что?

— Ты не спрашивай, за что, ты скажи лучше — хочешь?

— Это кто же меня выгонит? — Я проработал на «Ленфильме» к этому времени уже лет десять, и замечания по службе и выговоры были еще впереди.

— Я, Миша, я...

Меня стал разбирать смех. Надо было видеть его грустную, полную сочувствия физиономию, как будто у него в руках уже горсть земли и он готов эту последнюю дань отдать своему давнему товарищу. А на дворе белый день, мы во цвете лет, сидим в кафе...

— Не смейся, Миша. Сейчас ты все поймешь. Вот сейчас я закричу, закричу на все кафе: «Ну что тебе евреи сделали?! За что ты нас не любишь?!»

— Замолчи, гад, — невольно вырвалось у меня. Школярские манеры изживаются не скоро.

— А-а, вот видишь... — сочувственно проговорил Леша, положил свою большую голову на подставленную ладонь и стал смотреть на меня как бы по-петушиному, сбоку.

— Ты же всю жизнь говорил, что вы из немцев, а теперь вдруг «нас, евреев».

— Миша, поверь мне, никто не будет задавать вопросов, из немцев я или из шведов. Тебя завтра на студии не будет.

— И ты думаешь, тебе поверят? Я ведь на студии не первый день...

— Вот видишь — перепугался. И правильно. Сам знаешь, что поверят, — еще больше сочувствуя, еще больше сострадая мне, проговорил Леша. — Все же знают, что мы с тобой дружим, кому же верить, как не другу. Поверят, и не только мне. Любому поверят. Любой подойдет и закричит: «Что тебе евреи сделали?! За что ты нас не любишь?!» — и все, Миша, у тебя начнется новая жизнь...

— Леша, а ведь ты провокатор.

— Миша, о чем ты говоришь — если люди сервизы на пол кидают, то, значит, уже все позволено.

— Но сколько-то тарелок уцелело? — Я попытался ухватиться за сервиз.

— Не поверишь, Мишка, — ни одной. Будто она всю жизнь только сервизы на пол кидала. — И снова мне показалось, что в последних словах мелькнула нотка гордости. Он умел ценить мастерство в любом деле.

— Меня жена кинула, а ты над тарелками убиваешься.

— Ты меня извини, Миша, но ты вещь менее ценная, чем настоящий китайский сервиз. Потом, тебя кинули, но ты же не разбился. А что я маме скажу, когда она с дачи вернется?

Я уже было успокоился, но, заметив это, приятель снова сокрушенно закачал головой:

— Ты не думай, что отвлек меня сервизом, нет, я все-таки закричу. И все услышат. И в кафе, и на студии, и в городе. А ты будешь ходить и говорить: провокатор, не провокатор... — Леша опять впал в грустную задумчивость. Оказывается, он прикидывал, где бы я мог найти сочувствие и понимание. — Ты знаешь, Миша, я сейчас подумал и пришел к выводу: тебя даже в парткоме не поймут.

Я попытался вспомнить состав парткома, где была заводилой и запева-лой еще не уехавшая, но уедущая чуть ли не первой Соня Э. Да, в парткоме не поймут.

— Ты работу себе найдешь... Нынче ты человек свободный, семьи нет... Только ты не вздумай сейчас бежать, — увидев, что я было дернулся, предупредил Леша. — Кричу вдогонку, еще хуже будет. Давай пока вместе подумаем. Жена узнает, что тебя выгнали, и на этот раз уж точно не вернется. У тебя же, Миша, очень тяжелый характер. Мне же твоя жена говорила: Миша хороший, но у него очень тяжелый характер. Так что сделаю доброе дело.

— А то, что сына осиротишь, тоже доброе дело?

— Знаешь, Миша, лучше уж никакого отца, чем такой, про которого говорят, что он евреев не любит. Сын твой вырастет, все поймет и сам будет говорить: у меня нет отца. И все его поймут. — Леша смотрел на меня

грустно-грустно. — Ты только не сердись на меня, ты лучше оцени деликатность моей формулировки. Я не буду кричать: «Почему ненавидишь?» Я буду кричать: «Почему не любишь?» Объясняю, постарайся понять. Ненависть — чувство очень яркое, оно должно в глаза бросаться. А вот «не любовь» — дело тихое, интимное, неброское, здесь доказывать ничего не надо, любой и так поверит.

...Пройдет много лет, в журнале «Дружба народов» я прочитаю рассказ знаменитого писателя Юрия Трифонова о своем отце, служившем в высших органах, кажется, ГПУ. Однажды кто-то из соратников Валентина Андреевича Трифонова, чуть ли не по Коллегии ОГПУ, ревниво бросил ему: «А ведь вы евреев не любите...» — «А почему я должен их любить?» — был мгновенный ответ прирожденного интернационалиста.

Мне запомнился этот дерзкий ответ.

Самому бы мне никогда не подняться до такой находчивости и отваги. Впрочем, если бы и поднялся, и в ответ на обещанный крик остроумнейшего своего приятеля столь же громко закричал бы слова остроумнейшего В. А. Трифонова, едва ли был бы понят и услышан.

Через много лет после забываемого сидения в кафе, в бытность мою в Москве, я зашел в гости к Алексею.

Виделись мы последние годы не часто, и потому в разговоре нет-нет и возникало: «А помнишь?..»

Припомнились и наши посиделки в кафе, и памятная на всю жизнь угроза заорать: «Ну что тебе евреи сделали?!»

— Это я?.. Это я придумал?! — изумился Алексей. — Честное слово? А ведь здорово, правда! Правда же здорово? Ну напрочь забыл. Это я так придумал? Надо куда-нибудь вставить.

И тут же, помолодев на пятнадцать лет, стал азартно воображать, какие бы наступили последствия, если бы угроза была приведена в действие.

ХЕЙЛИ, КСЮША И НАЗЫМ ХИКМЕТ РАН

Раньше на Руси нельзя было зарекаться от суммы и от тюрьмы, теперь же нельзя зарекаться от подозрений в шовинизме, национализме и какой-нибудь фобии.

Учитывая своеобразие эпохи поиска во всем виноватых, с одной стороны, и вялотекущего поиска интернациональной солидарности на почве единства частных интересов, приходится, как говорили деды, дуть на воду.

Нет ничего прочнее и болезненнее национальных предубеждений и предрассудков.

Сразу скажу, что опасаясь быть заподозренным в антитурецких настроениях, противопоставляющих тебя огромному миру ислама, и потому должен предъявить свою родословную, саму по себе исключаящую такие подозрения.

Как кинематографист я родился и вырос в сценарном отделе, собравшем под свои знамена не худших представителей множества племен и народов. Одни фамилии скажут сами за себя, деликатно умолчав про пол своих носителей: Ильмас, Гликман, Гукасян, Витоль, Жежеленко, Демиденко, Пономаренко и человек с удивительно притягательным умом и щедрым сердцем, но с фамилией, больше напоминающей прозвище, — Чумак.

В такой компании, ясное дело, человек, инфицированный какой-нибудь фобией, не выжил бы и дня.

Но это так, к слову.

Главными героями моего правдивейшего повествования будут трое.

Элкен. Хейли Арнольдовна. Эстонка. Редактор сценарного отдела.

Сотникова. Ксения Николаевна. Русская. Секретарь сценарного отдела. Французский язык. Стенография. Машинопись «слепым» способом.

Сотрудник студии «Ленфильм» с довоенным стажем. Страшно боится потерять место. В возрасте.

Назым Хикмет Ран. Ничего не боится. Семнадцать лет провел в турецкой тюрьме. Турок. Турецкий революционный поэт. Писатель. Драматург. Общественный деятель. Член Бюро, а затем и президент Всемирного Совета Мира.

О национальности нового директора «Ленфильма», появившегося в самом начале шестидесятых благословенных годов, не главного, но тоже действующего лица предлагаемой истории, ничего отчетливо он и сам сказать не мог, поскольку происходил из беспризорников. После первых лет знакомства большинство студийцев сошлись на том, что цыганская кровь в колоритнейшем Илье Николаевиче преобладает.

Итак. Время действия: самое начало шестидесятых.

Место действия: ордена Ленина (тогда еще без Трудового Красного Знамени, его добудет Илья Николаевич) киностудия «Ленфильм».

Главные действующие лица названы, вспомогательное лицо предъявлено. А теперь — как оно было.

Это только говорят, что эстонские женщины, как бы это сказать, славятся на весь мир уравновешенностью чувств. Вообще все эти клише о пылких брюнетках и прохладных блондинках — вздор для ленивых умов.

Хейли была блондинкой. Ну и что? Темперамента, выдумки, умения заманить вас в ловушку и посмеяться над вашим простодушием, как говорится, ей не занимать.

Мы немало изумлялись ее темпераменту, в спорах превосходившему, во всяком случае не уступавшему, темпераменту горца Резо Эсадзе.

— Резик, что ты пишешь? — листовая режиссерский сценарий, горячо спрашивала Хейли. — «На стене висело ручье». «Ручье» не может висеть на стене, «ручье» бежит по лугу.

— Хейли, — спокойно говорит Резо, — если не знаешь, не говори. «Ручье висит на стене». Ясно? Идем дальше.

— Нет, Резик, пока твое дурацкое «ручье» висит на стене, мы дальше не пойдем.

— Хейли, я не знаю, где ты учила русский! — начинает горячиться Резо. — У Чехова — понимаешь, у Чехова! — «ручье висит на стене и стреляет».

— Как может висеть на стене то, что бежит по лугу? Подумай своей головой, как может стрелять то, что бежит по лужку?!

— Где ты видишь «лужку»? Объект «Изба». Читай: «из-ба»! «На стене висит ручье»!

— «Ручье» может висеть и стрелять только у такого идиота, как ты! Убери «ручье» со стены, не позорься!

Резо взмахивал руками, Хейли взмахивала ресницами, и каждый стоял на своем, приумножая убежденность страстью.

Хейли была высокой, поджарой, считала себя красивой. И многие были с ней согласны, и поэтому ей показалось странным, что новый директор не может ее принять, хотя она и раз, и два, и три пыталась к нему попасть. Причина отказа была одна и та же — чрезвычайно занят.

Терпение у Хейли лопнуло.

Дождавшись, когда в редакционной комнате она останется одна, она позвонила секретарю директора и сказала:

— С вами говорит помощница писателя Назыма Хикмета. В пятнадцать часов он приедет на «Ленфильм», хочет познакомиться со студией и переговорить с директором.

Русский язык был у Хейли хорош, но своеобразен. И дело даже не в неискоренимом мягком акценте, но в своеобразии словотворчества. На редсовете, например, она свободно могла осадить своего коллегу: «Яша, ты

сегодня говорил нечленообразно», — имея я виду одновременно и члено-раздельность, и своеобразность.

Новый секретарь нового директора, услышав огромное имя Назыма Хикмета, уже лишилась способности различать акценты южные и северные.

Директор тут же прервал ход запланированных дел. Был перенесен куда-то неотложный просмотр. Убедившись в том, что кабинет еще не вполне оборудован для приема столь важной особы, директор послал готовых к услугам администраторов в магазин за азербайджанским — непременно азербайджанским! — коньяком, фруктами и цветами на Сытный рынок, благо рядом.

В пятнадцать часов к подъезду студии были высланы доверенные лица. Ровно в пятнадцать в приемную директора пришла Хейли и попросилась на прием.

На нее замахали руками.

Тогда она сказала, что у нее есть для Ильи Николаевича сообщение от Назыма Хикмета, и прошла в кабинет под изумленными взорами присутствующих.

О чем уж они там говорили, история не упомянула, но знавший цену шутке бывший актер ТРАМа, бывший директор Дома ученых в Лесном, бывший лагерник и руководитель лагерного коллектива музыкальной комедии, выдавший на зоне блистательную постановку оперетты И. О. Дунаевского «Вольный ветер», не только не вспылал, но и сам со смехом потом не раз рассказывал, как попал впросак.

Хейли же, сохраняя полную серьезность, лишь поведала о том, как была внимательно выслушана после признания в своей «немножко шуточке».

Действительно, едва севший в знаменитое кресло карельской березы, директор знать не знал, как надо обходиться с лицами всемирного полета, и, узнав, что никакой Назым, никакой Хикмет Ран на него не грядет, на радостях наобещал Хейли полную поддержку в решении ее проблем.

Это нынче в чести люди, умеющие здорово решать *свои* проблемы, а Хейли была человеком старых правил, и пользуясь случаем отдать ей должное.

Однажды прямо на работе у меня ужасно заболели глаза. Мы сидели с Хейли в одном кабинете. Она тут же сказала: «Едем!» — «Куда?» — «Тебя будет смотреть главный окулист Военно-медицинской академии!» Я обрадовался, даже боль вроде поутихла.

Днем на стоянке напротив студии такси можно было взять без труда, и мы помчались на Пироговскую набережную, на кафедру глазных болезней Военно-медицинской академии. Через пятнадцать минут я уже был в кабинете высокого седовласого генерала в белом халате.

Генерал занимался мною не менее получаса. Мы уже говорили не только о глазах и болезнях. Перед тем как проститься, я спросил генерала, давно ли он знает Хейли Арнольдовну. «Кого?» — переспросил генерал, пригнув ко мне голову. Я повторил. «Я вижу ее первый раз», — генерал виновато улыбнулся, как бы признавая свою непростительную неосведомленность.

Когда я спросил Хейли, как же я все-таки попал в кабинет заведующего кафедрой в академии, она ответила, никак не преувеличивая свой подвиг: «Я подумала, что уж он-то должен знать, почему у тебя заболели глаза», — сказала почти небрежно, как о само собой разумеющемся.

Итак, прошло три дня, ровно три дня, история с Хикметом еще расплзалась по студии, достигая дальних уголков цеха осветительной техники, пошивочного и ЦДТС, когда в полдень у секретаря сценарного отдела, Сотниковой Ксении Николаевны, зазвонил телефон.

Дело обычное.

Она сняла трубку.

— Добрый день, — раздалось в трубке, — с вами говорит Назым Хикмет...

— Ха-ха-ха! — сказала Ксения Николаевна и повесила трубку.

Здесь надо сказать, что Ксения Николаевна не случайно знала французский, была человеком, когда нужно, абсолютно светским, знала дипломатический этикет и могла с достоинством представлять и Петербург, и Ленинград в любом обществе. Природная горошинка в горле делала ее французский совершенно натуральным.

Телефон зазвенел снова.

— Простите, — раздалось в трубке, — это киностудия «Ленфильм»? Сценарный отдел?

— Да, да, да! — с вызовом, узнав прежний голос, почти выкрикнула Ксения Николаевна. — А ты — Назым Хикмет?!

— Да, я Назым Хикмет, — подтвердил изумленный собеседник.

— Ха! Ха! Ха! — для понятливости раздельно произнесла Ксения Николаевна, начиная злиться на надоедливую шутника. Ей стенограмму худсовета надо расшифровывать, а тут...

Семнадцать лет, проведенных в турецкой тюрьме, и десять лет непрерывной борьбы за мир в первых рядах Всемирного Совета Мира воспитывают упорство и твердость в достижении цели.

Телефон зазвонил в третий раз.

— Извините, — раздалось в трубке, — почему вы бросаете трубку?

— Если ты и дальше будешь себя называть Назымом Хикметом, я снова бр'ошу тр'убку! — Питерские дамы, прошедшие блокаду и эвакуацию, умели за себя постоять и перед маршалами, и перед шпаной.

— Я действительно Назым Хикмет, — сказал человек в трубке.

— Хватит вгать! Если ты действительно Хикмет, ты должен знать по-фр'анцузски!

— Я знаю по-французски, — сказал совершенно растерявшийся человек. В Советском Союзе с ним еще никто так не разговаривал. Вот уже десять лет он пользовался нашим искренним гостеприимством и неподдельной любовью, сочувствием. Книги его стихов в многочисленных прекрасных переводах издавались огромными тиражами, его пьесы «Легенда о любви», «Чудак», «А был ли Иван Иваныч?», а в особенности «Дамоклов меч» были украшением репертуара русских театров как в столице, так и в провинции. (В «Дамокловом мече» Театра сатиры блеснул и навсегда запомнился неподражаемый Папанов!) И вот на тебе, может быть, впервые после турецкой тюрьмы с поэтом разговаривали на «ты» и так непримиримо.

— Хогошо, — отступила на полшага Ксения Николаевна, не лыком шитая и решившая вывести на чистую воду настырного обманщика. — Я хочу послушать, как ты знаешь по-фр'анцузски. Давай! Я слушаю.

— Un, deux, trois, quatre... — В трубке звучал неуверенный голос человека, не представлявшего себе, до какой цифры надо считать, чтобы убедить непреклонную даму.

— Sing! Six! Sept!.. — перебила Ксения Николаевна. — Знаешь, что я тебе скажу, дор'огой Хикмет, у нас до четыхгх любой дур'ак по-фр'анцузски считать умеет. А ты по-английски знаешь?

— Знаю, — сказал знаменитый писатель.

— Гуд бай! Понял? — И трубка полетела на аппарат.

Мы застали Ксению Николаевну в возбужденном, приподнятом и отчасти боевом настроении.

— Звонит какой-то дур'ак, — поспешила поделиться с нами своей победой взволнованная женщина, — называет себя Назымом Хикметом, считая, что я дур'очка...

— Ксюша, а вообще-то Хикмет в Ленинграде, — сказала все знающая про писательский мир Ирина Николаевна, — он вчера прилетел из Дюшамбе, там у него была премьера.

— Пр'ивет! — У Ксении Николаевны округлились глаза. — Он что, мог сам позвонить на студию?

— Мог.

— Какого чегта его к нам пгинесло?! Что ему, дома не сидится? — Агрессивный тон, увы, совершенно не соответствовал опрокинутому выражению лица.

— Дома он, Ксюша, как раз и насиделся, — усмехнулся Дима Иванович, — целых семнадцать лет.

— Если это был он, меня завтр'а госто выгонят... Откуда я знала, что это он? Я думала, это Хейли...

— А что ты ему сказала?

— Много сказала! Как р'аз на увольнение по статье, без выходного пособия. Дугаком назвала. Доигр'ались!

Через два дня после личных телефонных переговоров с директором студии Назым Хикмет Ран появился на «Ленфильме».

Легендарный человек был интересен всем, кроме Ксении Николаевны, разумеется.

По ходу беседы с директором эlegantный гость как бы между прочим поинтересовался, кто снимет трубку, если позвонить в сценарный отдел.

— Вы будете иметь дело с главным редактором, — не понял вопроса директор.

— Да, но у него есть секретарь?

— Разумеется, старый опытный работник.

— Я хотел бы познакомиться...

Можно ли отказать такому гостю в таком пустяке?

Как только в кабинет директора вошла приглашенная Ксения Николаевна, Назым Хикмет встал, чем вынудил подняться и Илью Николаевича.

Ни Ксюша, ни Хикмет и виду не подали, что имели случай познакомиться.

— Я надеюсь сотрудничать с вашей студией, — сказал турецкий писатель.

— Мы будем очень р'ады, — сказала Ксения Николаевна.

Наверное, именно это и хотел услышать гость, он поблагодарил даму кивком красивой седой головы и улыбнулся одними усами.

Мы с нетерпением и страхом ждали возвращения Ксюши из директорского кабинета.

Мы даже боялись что-нибудь предполагать, и так все было ясно.

— Какой он тугок?! Никакой он не тугок! Ногмальный евр'опеец, — поделилась своим первым впечатлением вернувшаяся в сценарный отдел Ксения Николаевна, пошатнув укоренившийся предрассудок о том, что турки — люди, склонные к крайностям.

«РАДОСТЬ ПОБЕДЫ», ИЛИ ПРИВЕТ СТУКАЧУ!

Почему «Радость победы» в кавычках, победы-то не было, что ли?

Все было, и победа была, а кавычки потому, что это название старинного марша, которому предстоит прозвучать на этих страницах.

А стукач почему без кавычек?

Что есть, то есть. Вернее, что было, то было. А бывшее даже богам не дано, насколько известно, сделать не бывшим.

...Приезжим людям, томившимся в Госкино в Малом Гнезниковском часами в ожидании обсуждений, разрешений, заключений, просмотров привезенных для сдачи картин, поправок, согласований, утверждений и т. д., конечно, запомнились стройные, с приветливыми свеженькими, сосредоточенными лицами первых учеников младшие лейтенанты в фуражке с голубым околышем, постоянно курсировавшие между Комитетом по кинематографии и Комитетом, распространявшим свое благодетельное внимание на все на свете.

Мало ли ходит по Москве новеньких молоденьких младшеньких лейтенантов, но эти запомнились не своими одинаковыми лицами, а своими одинаковыми портфелями. Портфельчики не из дорогих, почти школьные, но сплюснутые, новенькие, как и сами лейтенанты, словно только что вынутые из кипы на складе канцелярских принадлежностей. В таком сплюснутом портфельчике больше одного, двух, ну, самое большее трех листов бумаги, надо думать, никогда не носили — ноша, сильная и городскому голубю, но голубям эту почту не доверяли, не доверяли ее и обыкновенным почтальонам.

В коридорах и переходах хитроумного и многоколенного здания, построенного для своих прихотей нефтедобытчиком Лианозовым и приспособленного для нужд управления советской кинематографией, я не встречал этих ровненьких, как свежоотточенные карандаши, воинов государственной безопасности, они растворялись сразу за проходной в каких-то кабинетах, о существовании которых знали лишь посвященные. Так что наблюдать этих благовидных молодых людей, будто сошедших с витрины Военторга на улице Калинина, можно было лишь как скворцов на подлете к скворечнику и на вылете.

Что они могли носить в своих портфельчиках?

Государственные тайны в Госкино? Смешно.

Военные тайны? Еще смешней.

Тайная слежка за нашим братом кинематографистом?

Народ мы публичный, ни от кого сами не прячемся, да и хлопочем более всего о праве высказаться сполна и открыто, что ж за нами подглядывать?

Всякий раз портфельчик в крепких руках стройного и молодого защитника отечества порождал один и тот же вопрос: кусочек чьей судьбы пронесли мимо тебя?

Не преувеличивая значения своей персоны, я не мог предположить себя в качестве героя переписки между двумя полными самоуважения Государственными комитетами.

Впрочем, взыгравшее однажды воображение заставило сердце споткнуться: а вот сейчас несут листочек с твоей фамилией, именем, отчеством, годом рождения и местом работы...

Даже попытался поймать взгляд стройного лейтенанта.

Он не заметил моих уставившихся на него глаз, даже впромельк, — может быть, их там учат не только подглядывать, но и учат не видеть?..

А теперь к делу.

К своим тридцати шести я уже изрядно боялся радости и еще больше того, что называется счастьем.

Как обходиться со своими чувствами?

Никто не давал нам предварительных уроков, и только непоправимая жизнь строго учила, как должно употреблять свои чувства, чтобы последствия не были разрушительными.

Счастье — это состояние упоительное, но не созидательное, более того, счастливый человек, оказывается, совершенно незащищен, он неосторожен и беспечен.

Первый раз в жизни я был абсолютно и беспримерно счастлив в 1956 году и тут же получил впечатляющий урок.

26 августа в пятнадцать часов тридцать минут, это время я, естественно, запомнил, позвонил по телефону отец и сказал, что только что был в Театральном институте, куда я держал вступительные экзамены, и с удовольствием увидел нашу фамилию с моим именем и отчеством в списке принятых на обучение. Если учесть, что после специальных экзаменов к общеобразовательным я был допущен лишь в качестве «кандидата», как бы запасного, то можете представить, какова же была моя радость, когда я узнал, что на финише все-таки вырвал какие-то десятые, а может быть, и

сотые балла, позволившие вскочить в коротенький список из пятнадцати победителей.

Невозможно забыть это неведомое до той поры состояние полного и безграничного счастья, охватившего меня.

И тут же выяснилось, что я совершенно непригоден, неприспособлен для счастья. Я решительно не знал, что должен делать счастливый человек, тем более дома, тем более в одиночку.

Кричать? О чем кричать? «Ай да я!»? Но я не видел в случившемся особой своей заслуги, нас было чуть не двадцать человек на место, а со многими поступающими я успел и перезнакомиться, и оценить их превосходство над собой и ясно понимал, что мне просто здорово повезло.

Итак, кричать мне было не о чем. Прыгать? Кажется, пару раз я подпрыгнул и помахал руками.

А дальше что?

Радость требует поступков.

И тут пришло ясное, как распахнувшаяся перед тобой безбрежная даль после ночного тумана и утренних сумерек, ощущение новой жизни.

Новая жизнь!

Начинать новую жизнь в одиночку в пустой квартире было невозможно, я выскочил на улицу.

Рядом было три магазина, на трех углах. Гастроном? Мимо! Галантерейно-парфюмерный? Мимо!! Магазин спортивных и фотографических принадлежностей... То, что надо!

Теперь ты будешь жить искусством, служить искусству, иметь дело с отражениями жизни! Лучше всего было бы купить фотоаппарат, чтобы свой, и только свой, взгляд на мир был запечатлен со всей очевидностью...

На фотоаппарат, даже самый дешевый, денег никак не хватало.

Служитель искусства должен быть силен, крепок, вынослив... вот и Чехов говорил, что в человеке должно быть все прекрасно. А прекрасно ли твоё тело, безвылазно протухавшее в библиотеках уже полгода? Нет, оно далеко не прекрасно. Так сделай же его прекрасным!

И я купил эспандер!

На дорогой, с металлическими сверкающими пружинами, денег не хватило, еле-еле хватило на простой, с шестью резиновыми жгутами, упрянтанными в пестренькую матерчатую оболочку, и деревянными рукоятками.

Бросился домой и тут же начал новую жизнь.

Я растягивал тугие жилы на груди, закидывал резинки за спину, вытягивал вверх, накидывал на шею, сгибался, разгибался... Вскоре моя фантазия в придумывании упражнений с эспандером стала иссыхать. Тогда решил проверить, достанет ли у меня силы максимально вытянуть это шестижильное орудие. Как это сделать? Очень просто! Одну рукоятку прижимаешь ступней левой ноги к полу, а вторую правой рукой вытягиваете максимально вверх.

Задумано — сделано! В новой жизни все будет и впредь только так.

Правая рука, вытягивавшая тугие новенькие резиновые жгуты вверх, уже почти разогнулась, почти выпрямилась, тут-то я и решил проверить, хорошо ли левая ступня держит у пола деревянную рукоятку. Я взглянул вниз...

О! сотня солнц разом вспыхнула у меня в правом глазу. Вспыхнула — и рассыпалась тысячей огней. Это было незабываемо!

Вспышка. Фейерверк! И только потом обжигающая боль.

Уверяю вас, далеко не каждому боксеру, а может быть, и ни одному на свете не дано было испытать такой удар. Да, их бьют, бьют в лицо и часто попадают в глаз. Все правильно. Но чем бьют? Не палкой же! Их бьют ничем не приумноженной силой человеческой мышцы. Их бьют мягкими, это надо подчеркнуть особо, кожаными перчатками, и то бывает на рожу смотреть страшно. Я же получил удар, по сути дела, деревянным снарядом, выпущенным из ручной катапульты с очень близкого расстояния.

Печаль не радость, здесь все происходит само собой.

Я взвыл, но как?! Едва ли я взвыл бы так же, если б не увидел себя в списках принятых в институт. Бросился в ванную, пустил холодную воду в тщетной надежде смыть со своего лица фиолетовую печать собственной глупости. Сколько я ни поливал себя водой, сколько ни прикладывал к лицу ледяных компрессов, глаз медленно погружался в щель, образованную верхней и нижней, словно накачанными воздухом, цветными подушками.

К боли примешивались и печаль и отчаяние. Так хотелось помчаться на Моховую и своими глазами увидеть свою фамилию в заветном списке. Такое бывает раз в жизни. А увидеть счастливых рядом, познакомиться?.. Но мой глаз как раз и не годился для того, чтобы что-то разглядывать ни в списках, ни в лицах счастливых. Знакомиться и всем по очереди объяснять: это украшение я получил не в пьяной драке, а во время спортивного упражнения. «Знаете, если эспандер взять вот так, ногой зацепить одну рукоятку, а другой вытянуть максимально вверх, а потом посмотреть вниз...»

Кто же дослушает, и уж тем более, кто же поверит.

До начала занятий оставались считанные дни. Даже мечтать о том, что за это время фингал угаснет, не приходилось, напротив, он только еще распухнет, наберет махрового цвета.

О, горе мне, не умеющему быть счастливым!..

Последующие уроки жизни, скажем, были не столь впечатляющими, но тоже чему-то учили, постоянно напоминая о том, что радость — это палка о двух концах.

Как показала практика за пятнадцать лет работы на киностудии, в то время, когда ты радуешься удаче, какое-то количество граждан убежденно считает твоё поведение бестактным, улыбку глупой и наглой, приглашение к выпивке лицемерным, закуску недостаточной и т. д. Знал уже к своим тридцати шести, что стоит тебе ответить на вопрос: «Как поживаешь?», «Как дела?» — в американском стиле: «Превосходно!» — как у собеседника тут же пропадает к тебе интерес и охота продолжать спрашивать. Знал ведь... Но одно дело знать, другое научиться носить на себе рубище для утешения, а скорее подпитки самоуважения тех, кто готов тебе сострадать, сочувствовать, соболезновать, даже в беде помочь, но видеть тебя счастливым согласен лишь один раз и только на свадьбе. Даже когда у меня родился сын, обнаружили огорченные — дескать, с меня бы и дочки хватило.

В свои тридцать шесть я решил круто повернуть жизнь.

Хватит пятнадцать лет заниматься донорством в сценарном отделе киностудии, хватит готовить заявки-поправки, сочинять заключения-представления, умничать на редсоветах-худсоветах...

Редакторская братия с жреческими лицами, счастливо оставаясь, я машу вам рукой, меня приняли на Высшие режиссерские курсы!

После представления всего сонмища документов и материалов, начиная с анализа мочи, без которого не давали справку о здоровье, кончая экспликациями-расплеканиями, «а также другими материалами, позволяющими судить о творческих способностях поступающего», после придирчивого отбора у себя на «Ленфильме», после письменных и устных экзаменов в Москве наконец последнее собеседование с приемной комиссией в полном составе — какие имена! какие лица! цвет советской кинематографии!

— С вами у нас, Михаил Николаевич, разговор короткий! — сделал строгое лицо, произнес отец Высших курсов, заслуженный деятель искусств Леонид Захарович Трауберг. — Вы приняты. Поздравляем. Зовите следующего.

Следующим был дорогой моему сердцу, а теперь и памяти Виктор Аристов.

Он был Человек «в полном смысле этого слова», как говорил один из героев ленфильмовских картин.

В работе с талантливым и упорным Алексеем Германом, а Виктор был у него вторым режиссером, сложилась удивительная пара, о которой проще всего сказать в балетных терминах. Мужскую партию исполнял Аристов, он создавал фундамент, основу кадра, он был незаменим в *поддержке*, позволяя Герману взмыться и уже там, наверху, делать зрителям «красиво». Так они и работали: Аристов внизу и потому менее заметен, Герман — наверху, во всей естественности и блеске своего мастерства. Их совместно сработанные фильмы я люблю больше, чем те, что сделаны каждым самостоятельно.

Виктор Аристов... Не вспоминать бы какого-то несчастного стукача, а рассказать о тебе, пропитанном талантом до кончиков ногтей, о которых ты не думал, хотя и был дельным человеком. Ты не думал о коротковатых брюках, о куцем пиджачке, внатяжку сидевшем на твоей громоздкой фигуре, зато ты здорово умел думать о том, что было для тебя интересным и важным, — о людях, о книжках, о кино.

Я буду редактором твоей первой короткометражки, которая должна была стать пропуском в большое кино.

В соответствии с заведенным порядком мы предъявим твое семнадцатиминутное детище редсовету, потом худсовету объединения, потом худсовету киностудии с участием общественности и представителей райкома партии, потом отвезем и покажем в Смольном секретарям городского и областного комитетов партии, выслушаем замечания, сделаем поправки, помнится, очень небольшие, и получим право поехать в Москву и предъявить коротенький фильм «Свояки», снятый по рассказу Василия Шукшина, в Госкино СССР!

Как на нас будет кричать Борис Владимирович Павленок, главнокомандующий художественной кинематографией, заместитель председателя Госкино!

Как он будет кричать на нас в своем кабинете, как он будет кричать из-за своего стола:

— Кабак на экране развели! Курилку устроили! Сивухой с экрана несет!

Мы поймем, конечно, что это как бы и не сами Борис Владимирович кричат, мы поймем, что это в них обжигающе свежее историческое июньское, то ли еще более историческое июльское постановление Пленума ЦК КПСС кричит, кричит «О мерах по борьбе с пропагандой выпивки, курения табака и произнесения грубых слов вслух».

Да, Центральный Комитет тоже прибегал к своеобразной «шоковой терапии», спускал благодетельные наставления и предписания к улучшению жизни, не наносившие урона бюджету, потому что пить после исторических постановлений никто не бросал, да и табачный промысел тоже не терпел убытку.

В рассказе у Шукшина встретились два свояка, мужики, женатые на сестрах, для знакомства выпили, покурили и немножко покуролесили.

Что нам остается делать? Мы с Виктором только что не в один голос затараторим: дескать, у Шукшина герои рюмку мимо рта не проносят, да и не выпивши с чего бы им куролесить, а пропаганды здесь никакой нет, и даже наоборот...

О, вот, оказывается, мы наступили на такую мозоль в Борисе-то Владимировиче, о существовании которой и предположить не могли.

Издай завтра всезаботливый ЦК историческое постановление «О защите обоняния советских людей от всякого рода благоуханий, разнеживающих и могущих возбудить плотские помыслы и движения» — и в ближай-

шие полгода на экранах страны никто не будет нюхать цветы и орошать себя духами и одеколоном.

— Не смейте спекулировать именем Шукшина! Вам здесь этого никто не позволит! — загрохочет Борис Владимирович пуще прежнего, это будет какой-то камнепад, каждое слово в исполнении раскатистого низкого голоса будет давить и расплющивать.

Действительно, Шукшина они с честью похоронят и теперь решат бесменно стоять в почетном карауле около его литературного наследства, чтобы дорогие их сердцу сочинения в руках растерявших стыд и совесть спекулянтов, таких, как мы с Виктором, не служили пропаганде вредного для народного здоровья питья крепких напитков, курения табака и поводом для душевредительного произнесения грубых слов вслух.

Может быть, и не запомнился бы мне этот начальственный крик с такой отчетливостью, если бы вразумлявший нас не был в душе художником и большим артистом.

Почему-то не оставляло во время этой грозной пляски с томагавком такое чувство, будто крики адресованы не только нам, а может быть, и не столько нам, сколько кому-то незримо, властно присутствующему здесь, требовательно взирающему на всех нас и строго внимающему прежде всего хозяину кабинета. Так и шаман в экстатическом камлании адресуется не только, и даже не столько, к присутствующим, сколько к незримо управляющим всеми нами силам. И гнев его был свят, и готовность стереть в порошок всех, кто несет в себе скверну хмельную, табачную и сквернословную, была несомненна... Еще немного, и, кто знает, может быть, слезы раскаяния выступили бы на наших пристыженных глазах. Но зазвонит телефон.

Борис Владимирович оборвет свою жаркую проповедь на половине крика. Среди полдюжины телефонов под левой рукой заверещавший будет угадан безошибочно и тут же снята трубка.

Секундное молчание — и вместо приветствия на весь кабинет раздастся радостный... мат, то самое сквернословие, к воздержанию от которого косвенно призывало историческое июльское постановление Пленума ЦК КПСС. Лицо зампреда расправится, разгладится в масляный блин. «И слышать ничего не хочу... Иди ты на ... — и счастливый радушный москвич оборвет заглянувшего в Москву, как мы догадались, друга на полуслове, назвав при этом мужской половой орган коротко и грубо. — Пока мы с тобой бутылку коньяка не раздавим... И слушать ничего не хочу, все, посылаю машину... Без всякой уже необходимости будет употреблена непечатная идиома, — не угонишься!.. Я-то? Да совершенно свободен! Прямо ко мне. Все! Жду».

Много ли надо времени, чтобы отнять телефонную трубку от левого уха и положить левой же рукой на телефонный аппарат? Но этого времени как раз и хватит, чтобы сверкнувший розовым масляным блеском лик стал похож на прежний сокрушительный кулак.

О, если бы не этот телефонный звонок, начальственный разнос был бы не больше чем, ну, в конце-то концов, дежурной головомойкой. Но уже совершенно новой музыкой прозвучат крики о том, что нам не позволят выставлять наш народ пьющим и грубым на язык после всего того, что мы только что услышали.

Нам, походя, быть может, для внесения какого-то разнообразия в свою монотонную руководящую жизнь, хозяин кабинета даст понять, кто мы. Да мы — никто. Кабинет пуст. Хозяин свободен и в любую минуту готов принять приятеля и хлопнуть с ним бутылочку коньяка. Свободен он и в выражениях, которыми готов изъясняться, не стесняясь, разумеется, нашим присутствием.

Вельможи такого размаха, такого полета, как Борис Владимирович, обычно немногословны. Двух-трех-пяти реплик, сказанных, как правило, негромким голосом, бывало достаточно, чтобы прикрыть картину, сломать судьбу, выбить мозги, впрочем, и осчастливить. А тут! короткометражка, режиссер-дебютант, да и картина-то сверхплановая, для производственной программы пустяк, муха, и вдруг такая канонада.

И откуда нам было знать, что канонада велась как бы холостыми выстрелами, не на поражение, что канонада эта была в первую очередь воспитательная, а может быть, и вовсе произросла на почве внезапно образовавшегося у столь занятого человека небольшого служебного досуга. А досуг располагает к играм.

И надо думать, Борис Владимирович испытывал тогда какую-то особую, неведомую многим радость от возможности, благодаря счастливо-случайному телефонному звонку, вплести такие яркие и контрастные жилы в свой воспитательный бич.

На два года перед Виктором Аристовым будет опущен шлагбаум, перекрывающий дорогу к самостоятельной режиссуре.

Удар придется по сердцу, оно не дотянет и до пятидесяти.

Художественная жилка в Борисе Владимировиче обнаруживалась не только в умении придать многоголосье и многокрасочность воспитательной интермедии. Он умел резать по дереву, и вышедшие из-под его резца кабаны и лоси впечатляли своей основательностью, готовностью за себя постоять. И рисовать он умел, писал масляными красками пейзажи, совершенно безлюдные, поля, луга, лесные дали. Умел и сценарии писать, писал их под всем известным псевдонимом, но фильмы, поставленные по этим сценариям, не разрешал своей начальственной волей ни представлять к наградам, ни посылать на фестивали, даже самые скромные.

Через полтора года после памятного разговора о «Свояках» Борис Владимирович, зля на сердце не державший, своей резолюцией на соответствующей бумаге разрешит приобрести у Виктора Аристова написанный им сценарий «Жена ушла» для полнометражного фильма. Ставить же Аристову фильм по своему сценарию Борис Владимирович не разрешил, сценарий был отдан в чужие руки, фильм прошел незамеченным, но в памяти ленфильмовцев остался надолго, опять же благодаря Борису Владимировичу.

Помнится, году в восьмидесятом приехал на «Ленфильм» всемогущий зампред.

Такое случалось крайне редко, и потому все пребывали в ожидании чего-то необыкновенного — то ли милостей неожиданных, то ли очередных и неизбывных немилостей.

День был по календарю будничным, а по состоянию коллектива, по настроению в цехах и на съёмочных площадках — приподнятый, если не праздничный.

Не было такого подъема даже в день визита на киностудию Ее Величества королевы бельгийской. Королеве тогда прямо в коридоре, напротив директорского просмотрового зала, женщина из пошивочного цеха вручила заявление на улучшение ее, закройщицы, жилищных условий. И что бы вы думали? Улучшили. Как же многообразен лик счастья: к кому-то оно оборачивается с виду суровым лицом Леонида Захаровича Трауберга, а к кому-то милостивым, с тщательно промытыми морщинками лицом добрейшей бельгийской монархини.

Для визита королевы особенной подготовки не требуется.

Ну какая подготовка? Прибрали, в коридорах сделали чистенько, ну, повышенное внимание к выжившим, чтоб в глаза не бросались. Цветы в директорский кабинет, какобы они всегда там стоят, — и все. Королева же — как дитя: если она трансфокатора от обтюлятора не отличает, ей что ни покажи, все в радость.

Вот Борис Владимирович — это другой разговор, ему цветами в кабинете глаза не прикроешь, этого воробья на мякине не проведешь.

Зашел в павильон, это по ритуалу полагается — начинать с низов, с цехов, со съемочных площадок: «Сколько времени стоит декорация?», «Какая выработка в смену?», «Какой метраж объекта?». «Так что ж вы до сих пор декорации держите, не разбираете, площадей не хватает, стонете, письма пишете!..» — «Хотели до вашего приезда сохранить, уж больно красивая». — «Красивая, — с пониманием дела сказали вы, — только давайте не путать экономику и эстетику!» Вот так, творчески и впечатляюще, было использовано историческое предназначение Леонида Ильича Брежнева: «Экономика должна быть экономной».

Директивное замечание, запрещающее путать эстетику с экономикой, было произнесено хотя и строго, но без всякой злобы.

Замечено, что чиновники Госкино, от самых величественных до самых плюгавых, на выезде куда добрей и снисходительней, чем у себя в штабе.

Может быть, после такого визита-наезда кого-то и с работы выгонят, может быть, и картины какие-нибудь прикроют, но это потом, там, в Москве, в Госкино, на лобном месте, где и положено совершать казни.

Первую половину дня в тот исторический визит Борис Владимирович провел в основном с руководством студии, а после обеда была назначена встреча с народом в кабинете директора.

Кабинет был довольно обширным и служил местом проведения общестудийных худсоветов. Народ на встрече с дорогим гостем допускался только избранный, для чего у двери помимо секретаря директора стояла еще и старейшая и преданнейшая сотрудница сценарного отдела, прослужившая секретарем у доброго десятка главных редакторов, знавшая по-французски и умудрившаяся обругать самого Назыма Хикмета.

Пришедшие притиснулись, кто где мог. Желаящих оказалось чуть больше, чем предусмотрено было подготовленным загодя списком.

На лицах у примостившихся бочком было написано какое-то особенно нетерпеливое желание услышать важные для себя вести.

На лицах сидевших с удобствами гуляла снисходительная улыбка людей, готовых отбыть и эту повинность.

Начальство задерживалось. Ожидавшие шутливо толковали о причинах, затягивающих обед.

Раскрасневшиеся лица высокого гостя и директора, наконец появившихся, подтвердили самые смелые предположения, все переглянулись и заулыбались.

Так случилось, что ко времени исторического визита в программе студии накопилось несколько картин с однородными названиями: «Мама вышла замуж», «Впервые замужем», в том числе и фильм по сценарию Аристовы «Жена ушла».

Семейные и любовные истории по министерским меркам относились к «мелкотемью», а с «мелкотемьем» надлежало бороться ну почти так же, как со вшивостью.

С этого самого «мелкотемья» и начал свою долгожданную речь буркнувший извинения за опоздание московский гость, чувствовавший себя хозяином в кабинете больше, чем любой из присутствующих.

— Мы привыкли гордиться киностудией «Ленфильм», какие традиции, какие фильмы — «Чапаев»! «Депутат Балтики»! «Великий гражданин»! Это же целая эпоха советского кинематографа! А что такое «Ленфильм» сегодня? «Жена пришла» — «Жена ушла». «Жена дала» — «Жена не дала»...

Мы готовы были ко многому, но только не к таким начальственным шалостям, как говорится, с порога.

Дамы пережили приятное волнение, наиболее ранимые даже вспыхнули краской. Мужчины с пониманием поулыбались.

Борис Владимирович прекрасно знал, что простой народ любит, когда с ним разговаривают по-свойски, без оглушающего величия, и сразу решил создать атмосферу беседы доверительной, как бы от сердца к сердцу. Художник! А что? Быть может, памятуя о петербургской сдержанности, светскости, чопорности, чуть ли не холодности, он как художник почувствовал необходимость внести в аудиторию немножко трактирного тепла и доверительности.

Хорош был Борис-то Владимирович, а что скажешь о нынешних? Пронырливы, увертливы и свой интерес крепко знают, а лица-то нет и цвета нет, глисты какие-то...

Однако мы уж очень далеко ушли от торжественного зала, где приемная комиссия Высших режиссерских курсов в ранге устроительницы судеб вершила свой суд.

Окрыленный сообщением о том, что я принят, озаренный поздравлением, будь я хоть немножко верующим, тут же бы и возопил: «Видох небо ново и землю нову», — да вот к вере Господь не сподобил. Вместо этого я что-то буркнул в благодарность и, не касаясь пола, вылетел, чтобы позвать Виктора Аристова.

— Вы не приняты, — строго сказал ему Леонид Захарович и, насладившись секундным недоумением Виктора, закончил: — Вам нечего делать на наших курсах, вы уже режиссер. Одна работа с Германом дала вам больше, чем могут дать курсы. Мы пишем ходатайство в Госкино с предложением дать вам самостоятельную короткометражную работу.

Вот так!

Это был наш день, Виктор. Удача хватала нас буквально на каждом шагу и не хотела выпускать из своих нежных объятий. День? Да все экзамены, все наше пребывание в Москве было праздником.

Небеса умеют быть безоглядно щедрыми, и для того, чтобы эту щедрость оценить и понять чувства баловней судьбы, надо заглянуть в самую знаменитую гостиницу столицы — в гостиницу «Москва».

К 1975 году гостиница «Россия» по другую сторону Красной площади уже была построена, но «Москва» оставалась для приезжего важного люда гостиницей номер один, резиденцией наиболее ценных делегатов Верховного Совета СССР, Верховного Совета РСФСР и съездов партии.

Как же нам, абитуриентам каких-то там режиссерских курсов, удалось не только вселиться в самую-самую гостиницу, но и получить двухкомнатный полулюкс на седьмом этаже, с видом на еще не обезображенную просторную, радующую глаз петербуржца Манежную площадь, на Александровский сад, Исторический музей и Кремль с его дивными башнями и горящими в ночи звездами?

О, каждый вечер над Кремлем, едва сгущались сумерки, вздымались, где они только были днем, сотни, если не тысячи, ворон. Зрелище почти мистическое! Поорав и покружив над стенами с полчаса, минут сорок, все это воронье сонмище куда-то убиралось.

Мы начинали понимать с Виктором, почему людям обыкновенным, не удостоенным особым доверием властей не полагается селиться в номерах, окнами выходящих на вечерний Кремль. Видеть, как по окончании как бы рабочего дня над Кремлем вздымается огромная, пожалуй что и страшноватая воронья стая, видеть и не позволить своему воображению трактовать увиденное...

Помнится, какое впечатление произвели на меня галки в Берлине, вот так же, с приближением сумерек, они возвращались в город на ночь со своего дневного загородного промысла. Их были уж точно тысячи, они закрывали полнеба, и оттуда, сверху, неся тысячеголосый крик, напоминающий переливы бубенчиков, а сами птицы — самолеты 1941 года. Зрелище для крепких нервов, доложу.

Так то Берлин, то галки.

А здесь Кремль — и вороны.

Такое зрелище во избежание иносказательных комментариев можно было предъявить лицам, пользовавшимся исключительным доверием, кому ничего худого никогда на ум не придет.

В эти звездные дни мы как раз с Виктором и были такими лицами, вернее, в ранге таких лиц.

Мы жили в гостинице «Москва» по личной директиве начальника Главного управления по борьбе с расхитителями социалистической собственности МВД СССР генерала П-ка.

Генерал П-к был главным консультантом фильма, где я был редактором, — фильма о становлении нашей мафии, о проникновении мафии в недра промышленности. Фильм «Два билета на дневной сеанс» оказался долгожителем, получил аж тридцатилетнюю прописку на экране, а главный консультант — награду и похвалу от самого министра МВД, впоследствии застрелившегося генерала армии Николая Анисимовича Щелокова.

Если бы вы только знали, как дорожили, как ценили работники гостиницы «Москва» слово генерала, возглавлявшего войско борцов с расхитителями социалистической собственности, с мздоимцами, с любителями пожить на казенный счет. Слово генерала П-ка было для них непререкаемо.

К концу нашего пребывания в столице гостиницу «Москва» стали готовить, как выразилась администрация, «под Верховный Совет». Предстояла сессия Верховного Совета СССР. Гостиница пуста на глазах. Срок пребывания никому не продлевали, новых постояльцев не селили, а тех, кто пытался прожить хоть один день лишней, гнали взашей.

Никогда не забыть, как красивая, статная, мужественная женщина, председатель Госплана Белорусской ССР, плакала самыми настоящими слезами, плакала у стойки администратора, умоляя продлить ее жизнь на один день, жизнь в гостинице, разумеется.

Только в эту минуту мы до конца поняли, что значит слово нашего доброго генерала для работников «Москвы». Нам никто даже не напомнил о необходимости выехать, нас и не спрашивали, собираемся мы покинуть гостиницу когда-нибудь или нет, не было речи и о том, чтобы потревожить нас переездом в более скромный номер, с видом, ну, хотя бы на Охотный ряд.

Утром нам неизменно совали под дверь все центральные свежайшие газеты.

Вечером мы катались с Виктором по нашим апартаментам в креслах, благо великолепные мягкие кресла были оснащены еще и бесшумными резиновыми колесиками.

Если судить по нашей одежде, то, конечно, мы выглядели не так хорошо, как водопроводчики и электромонтеры, обслуживавшие гостиницу; быть может, в мраморных вестибюлях и на покрытых коврами широких лестницах мы смотрелись несколько чужеродно, но обслуживавший персонал относился к нам ласково, с сочувствием и как бы пониманием того, что выполнение особо важного задания генерала П-ка требует, чтобы мы выглядели неброско, скромно, почти бедновато. Думаю, заявившись мы в гостиницу в чем мать родила, и к этому администрация отнеслась бы с пониманием, всеми способами давая понять, что готова в любой форме помочь выполнению возложенной на нас задачи. Конечно, они видели в нас борцов с расхитителями социалистической собственности, записанное в гостиничной анкете место работы «Ленфильм» рассматривали как простую милицмейскую уловку, а наши поношенные пиджаки были как бы свидетельством нашего бескорыстия в непримиримой борьбе и внушали как раз уважение.

Мы возвращались вечером после консультаций или очередного экзамена, немножко бражничали и смотрели в широкие, до хрустального блес-

ка промытые окна, как несметные стаи ворон кружат над шпилями с рубиновыми звездами, над погружающимся в темноту Кремлем.

Перед сном в своих стоптанных ботинках мы шли прогуляться на Красную площадь, послушать бой курантов, эту государственную музыку, торжественную и волнующую еще с детских лет, когда слышали эти куранты только по радио в полночь.

И в эти ночные часы здесь, на Красной площади, на вершине Кремлевского холма, мы чувствовали себя на такой высоте, какой не найдешь ни на макушке Эльбруса, ни на вершине пика Коммунизма, самой высокой горы на Памире. Нам открывались такие дали нашей судьбы, что дух захватывало.

Утром в лифте мы встречались с бесстрашными молодыми людьми с миноискателями, сообщавшими прямо из лифта, что было для нас в диковину, по радиопереговорнику: «Я — „шестой“... Двести шестнадцатый принял, двести семнадцатый принял, двести восемнадцатый принял». Название обысканных миноискателем номеров сопровождалось словом «принял» как подписью.

Нас отважные контрразведчики не стеснялись, ясное дело, в опустевшей гостинице оставались только свои.

Наконец мы покинули заветные чертоги!

Времени до поезда было достаточно, и мы решили двинуться на станцию метро «Дзержинская» пешком, чтобы не бродить по переходам в подземелье.

Мы шли из гостиницы «Москва» и во все горло пели!

Что пели? Никогда не угадаете. Гимн Советского Союза.

Мы шли с нашей легкой поклажей и отяжелевшими головами по пустынному Охотному ряду имени Карла Маркса, промаршировали на красный свет через Театральную площадь имени Свердлова и от «Метрополя» начали нелегкий подъем в гору на Лубянский холм имени Дзержинского, к одноименному памятнику и пели гимн.

Два счастливых бурша, только что схвативших Бога за бороду, нам и борода Феликса Эдмундовича была нипочем, мы пели в унисон, заменив все слова Эль-Регистана и Михалкова одним своим, длинным и очень неприличным. Это слово прекрасно растягивалось и сжималось, где надо, легко заменяя канонический текст.

Вот уж воистину благорасположение небес было безграничным, во всей Москве не нашлось ни одного досужего человека, да еще в каком месте! или человека *ex officio*, кто бы прислушался к нашему дуэту и... Мы имели все шансы с Лубянского холма покатиться далеко-далеко вниз. Знать, действительно: дуракам — счастье!

Как мы добрались до вокзала, как до этого пировали в Доме журналистов, как чопорный вагон «СВ», доставлявший нас в Питер, принял сильное участие в наших торжествах, как по-особенному гремел гимн Великому Городу на перроне в Ленинграде в минуту нашего возвращения с Победой!.. помню до мелочей, будто и не был космически пьян. Так, может быть, бывает и в минуту смерти, когда душа отлетает и имеет возможность видеть брненное тело как бы со стороны. Вот и я все время умудрялся видеть себя со стороны и дивился и пьяности своей, и неотступности трезвого сознания случившегося перелома в судьбе.

Не хватало только фанфар, медных труб, музыки.

Грянула и музыка.

Месяца за два, а может быть, даже за месяц до начала моей экзаменационной эпопеи был приобретен альбом с пластинками, запечатлевшими в черных дисках старинные марши в блистательном исполнении Отдельного показательного оркестра Министерства обороны СССР. Был там и марш «Радость победы» В. Беккера.

Когда я вошел домой и жена спросила: «Ну как? Сдал экзамены?» — я направился к проигрывателю, поставил В. Беккера, прицелился иглой и дал ход: «Вот так!» И грянул марш. «Тебя что, приняли?» — решила уточнить жена, быть может, надеявшаяся, что я не покину дом аж на два беспутных года.

И вот в эту минуту под звуки, способные и мертвого заставить шагать с улыбкой, я решил позволить себе радоваться, быть счастливым!

Черт знает что ждет впереди, получится ли толк из всей моей затеи, стану я режиссером, не стану — кто это знает?..

«Сейчас ты счастлив? Ну и лети, вкушай, купайся без оглядки».

«Радость победы» гремела в доме каждый день.

На студии меня непрерывно поздравляли.

Я даже не знал, какое, оказывается, количество людей сочувствует моим режиссерским поползновениям.

Нет, пятнадцать лет на студии прожито не впустую. У тебя столько друзей, и те, кого ты считал полужнакомыми, путал имена, улыбаются тебе, жмут руку, говорят добрые слова, которые, как выяснилось, только ждали случая, чтобы вырваться...

Этого, признаться, не ожидал, и сердце мое не взлетело в поднебесье и не лопнуло от счастья лишь потому, что было переполнено чувством благодарности множеству людей, способных и готовых разделить мою радость.

Итак, дело оставалось за малым.

Курсы при Госкино, и приказ о зачислении подписывает председатель — Ермаш Ф. Т.

Ожидание подписания приказа было невыносимо томительным, а отсутствие моей фамилии в списке зачисленных было ударом оглушающим.

Я кинулся в Москву.

После долгих унижительных бросков вслепую от одной приемной к другой, от одного кабинета к другому, от одного сострадателя к другому сочувствующему я наконец, лишь на третий день, добился, выклянчил прием у зампреда, у Бориса Владимировича.

Он смотрел на меня так, как смотрят на своих клиентов опытные заведующие моргами.

Я работал в морге, я знаю, что клиентов этих иногда тошнит, иногда дернет судорога, бывает, и глаза открывают, бывает, что и вздыхают... Нужно просто подождать — затихнут.

Борис Владимирович спокойно, терпеливо, нисколько не ужасаясь моим обстоятельствам, со знанием и этого своего дела ждал, когда я затихну...

Я затих.

— Поезд ушел, — с остроумием начальника вокзала проговорил всемогущий зампред, и, право, без всякой ненависти.

Я снова стал судорожно спрашивать, зачем же меня допустили к экзаменам, зачем я сдавал мочу, зачем меня поздравляли...

— Поезд ушел, — повторил Борис Владимирович нетленную присказку.

Мне показалось, что щедрому Борису Владимировичу даже остроумие свое на меня тратить жалко, ему просто интересно, сколько вот этих «поезд ушел» я выдержу. Ничего больше он мне сообщать не собирался, это было видно по его обширному лицу, просторному, действительно, как пустой перрон, на котором не было для меня никаких иных сообщений.

Как удержат лицо перед этим великолепием глухоты, перед этим неодолимым торжеством власти?

— Большое спасибо, Борис Владимирович, за исчерпывающую информацию. Я был уверен, что найду в вас понимание. Большое спасибо. Хотя все стало ясно. Теперь как-то легче. Если у вас нет ко мне вопросов, позвольте попрощаться?

Лицо вельможи разгладилось и стало светлей. Мне даже показалось, что он собрался было улыбнуться и улыбкой своей поощрить мою догадливость относительно приготовленной сказочки «Про белого бычка», то бишь про «ушедший поезд». Но, вовремя вспомнив о моих скорбных обстоятельствах, он лишь пару раз кивнул головой и тут же нырнул в государственную важность в виде продолговатой цветной записочки на просторном столе.

А может быть, это и была *та* самая записочка из *того* портфельчика?

Прошло пять лет.

Нет, Борис Владимирович зла не помнил, мне разрешили написать сценарий, написанный сценарий купили. С фильмом, снятым по этому сценарию, я оказался на Всесоюзном кинофестивале в благословенном и незабываемом Ереване.

В программе фестиваля был выезд большого десанта кинематографистов в Ленинакан, еще не знавший своей судьбы.

По дороге была остановка на Ереванской коньячной фабрике, бывш. Шустова, а на ткацкой фабрике в Ленинакане нас одарили ситцем с символической кинофестиваля.

Все было в эти дни неподдельным — и дружба, и коньяк, и желание всех вокруг сделать счастливыми...

Обратно я ехал в автобусе рядом с доверенным лицом председателя Госкино.

Знакомы мы были давно, но бывает, что и за долгие времена отношения веса не набирают, однако сохраняют признак товарищества.

Пользуясь обстоятельствами, не удержался, полюбопытствовал:

— Помните о моей попытке поступить на режиссерские курсы?

— Ну как же!

— А что ж случилось? Почему... после экзаменов... после поздравлений... после всего?

— Скажите спасибо вашим друзьям на «Ленфильме», — улыбнулся сосед.

— Как так?.. Кого?.. — Ничего глупей нельзя было произнести.

— Это уж вам лучше знать, — рассмеялся моей недогадливости или простодушию, давний знакомый и, чтобы я не задавал новых вопросов, добавил: — Была бумага.

Так и сказал: «бумага».

Я тут же представил себе эти умилительно тонкие портфельчики в крепких руках молоденьких офицеров.

Признаюсь, я не сразу воспользовался советом, данным мне по дороге из Ленинакана в Ереван поздним вечером, искристым от звезд и в небе и в душе, в мае 1979 года.

И даже награжденный, увенчанный, обласканный, вспоенный после награждения доверительным коньяком самого Ермаша Ф. Т., предъявленный телевизором всесоюзному зрителю, я был далек, попросту не готов к тому, чтобы благодарить неведомого мне «друга» с родного «Ленфильма».

Пусть он, почти неведомый, простит меня, но я его считал тогда сво-
лочью.

А сегодня?

Нет.

И говорю это искренне.

Когда я сегодня прихожу в опустевшие коридоры «Ленфильма», когда читаю из года в год уверения в том, что моя родная киностудия вот-вот поднимется с колен, когда я вижу пустыми и холодными павильоны, за каждый метр которых тридцать лет на моей памяти шли схватки на утренних диспетчерских совещаниях ежедневно, когда в полутемных коридорах мне начинает казаться, что на дворе 1942 год и студия просто выехала в эвакуацию, я думаю о том, где бы я сейчас был со своим режиссерским дипломом...

О, где ты, мой неведомый «друг»?..

Впрочем, не такой уж и неведомый.

Мы же с тобой знаем друг друга давно.

Помнишь, ты сам в минуту внезапной откровенности признался, что большего врага, чем я, у тебя нет?

И мы оба посмеялись.

Помню, как тебе всегда хотелось быть немножко больше самого себя, как ты всю жизнь учился преподносить себя и жестом, и фразой, и позой и очень преуспел в этом, как старался свою простоту и непосредственность вдруг оттенить недоговоренностью, загадочностью, подразумевающей посвященность и значительность, и смеяться выучился откровенно демонически...

Надеюсь, сравнение с Мефистофелем не покажется тебе обидным?

Что в вас общего?

Но ты же сам знаешь — много.

Во-первых, печаль. Неизбывная спутница мудрости.

И еще раз — во-первых: сознание значимости своей миссии никак не может быть «во-вторых».

А главное, и ты согласишься со мной, творя зло, вы оба, даже помимо своей воли, вершите добро!

Но утешся, утешся тем, что ты неповторим, утешся своей единственностью. Руку даю на отсечение, второй подписи под «бумагой» не было.

Откуда такая уверенность? Знающие люди объяснили: на «коллективу» другая была бы реакция, последствия для меня были бы другими...

Спасибо говорить как-то неловко, в конце концов, не ты освободил меня от радостей свального кинематографического творчества и позволил вкусить сладость хлеба собственной выпечки из муки собственноручного помола, из зерен, самим и посаженных, и возвращенных.

Счастливо оставаться, ваше мефистофельство! Надеюсь, больше никогда не встретимся...

«Мефистофель? — может возмутиться человек со вкусом. — Мефистофель, пишуший „телегу“ куда следует?..»

Что на это можно сказать в утешение человеку с хорошим вкусом?

Знать, времена были такие и нечисть мельчала, какое болото, такие и черти.

И все-таки интересно, как *он* порадовался своей победе, ведь радоваться в одиночку, оказывается, небезопасно.



ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ

*

ПЫТКА НАДЕЖДОЙ

* *
*

Оле.

Этот город нами обжит.
Тридцать семь — поворотный срок.
Нам с тобою принадлежит
этот сретенский уголок.

По Большому Головину
выйдем к Трубной, выпьем вина.
Наша юность лежит в длину
вдоль Большого Головина.

Время дворницких и пивных,
на губах налипший табак,
хлеб, разломленный на двоих,
оцарапает, как наждак.

Этот мир вполне повторим
шаг за шагом и день за днем.
Болен будущим Третий Рим,
где мы жили с тобой вдвоем.

Это — Сретенка и Труба,
молодой холодок в груди,
может быть, нам сама судьба
оставляет жизнь впереди.

Равноденствие

Пока душа меняет кожу,
как март — слезавшийся покров,
сомненья начерно итожу
и понимаю, что здоров.

За потепленьем робким, первым
метет поземка по утрам,
и вторит напряженным нервам
вибрация оконных рам.

По барабанной перепонке
капель-бессонница стучит,
и наледь около колонки
приобретает талый вид.

Как трудно я болел зимою.
Как голову не мог поднять.
Воды налью, лицо омою,
Как хорошо, ядрена мать!

Заботы сдвинуты на завтра
и, в сущности, невелики.
Как весело, как безвозвратно
горят в печи черновики.

Судьба есть цепь инициаций.
Но у меня есть твердый план:
садить капусту, как Гораций
или как Диоклетиан.

Тревожный трепет опечаток
никак нейдет из головы.
Как совершенство, слаб и краток
день равноденствия. Увы.

Я выхожу на перепутье
и опрокидываю лес —
Земля летит на парашюте
под гулким куполом Небес.

* *
*

В болезни есть изысканная прелесть.
Наверно, эта пригоршня таблеток
подействовала — тихо оглушила
и помогла насущное забыть,
остановиться, замолчать, не думать.

Как хорошо в безмысленном покое
смотреть на радужную рябь событий
текущих, чтобы стать небытием,
ни тени не оставив, ни следа,
как след дыханья на стекле морозном.

Тогда и начинает открываться
другой, криволинейный, странный мир,
в котором время движется по кругу,
в котором нет, да и не может быть
ни эволюции, ни революций.

Есть только рябь, игра воды и света.
Есть звонкое предчувствие прозренья.
Есть только небо. В плотной синеве
так сладко утопать и утонуть,
так сладко раствориться без остатка —

без драматических воспоминаний,
 без вынужденных слез, без некролога,
 вдовы печальной, оглушенных страхом,
 на произвол покинутых сирот,
 оставшихся без средств к существованию.

Свободно оторваться от Земли
 и плавно, без усилия скользить
 по млечной колее путей воздушных.
 Куда открыта эта дверь вселенной,
 куда ведет спокойная отвага,

куда... не спрашивай меня куда.

Критика практического разума

Люди сажают картошку.
 Поле пашет смиренный мерин.
 Когда он идет на Север,
 прокладывает борозду,
 я картофелину бросаю.
 Когда он идет на Юг,
 борозду засыпает.

Мерин ходит по полю,
 как маятник ходит мерин,
 как смена времен года:
 лето, зима, лето.

Женщина говорит:
 «Дай Бог, чтобы уродилась.
 Дай Бог, чтоб ее хватило
 в зиму, скотине и людям».

Облако встало над нами
 в небе пронзительно-синем.
 Но почему же душу
 мне тоска разрывает?

Мы сидим на террасе
 перед столом накрытым.
 На столе огромное блюдо
 картошки с домашней тушенкой.
 Надежда Иванна вносит
 мой любимый салат — охотничий:
 помидоры и сладкий перец,
 репчатый лук и приправы,
 пять минут кипятить в масле,
 и можно закатывать в зиму.
 Разбавленный спирт в стаканах
 мы пьем, чтобы уродилась,
 чтобы были дожди и ливни,
 чтоб хватило тепла и света.
 Но почему же душу
 мне тоска разрывает?

Люди сажают картошку,
чтобы съесть ее ровно за год,
чтобы снова сажать картошку,
чтобы съесть ее ровно за год.
Люди варят варенье,
самогон под праздники гонят,
продают поросят на рынке,
чтоб немного подзаработать.
Люди воруют, где могут,
у совхоза и у соседа.
У людей рождаются дети,
у детей рождаются дети,
у детей рождаются дети.
Умирают, ложатся в землю.
Мне душно от круговорота,
тошно от головокруженья.
Мне хочется выйти на воздух,
но где этот воздух, где он?
Ветер пропитан влажным
запахом серой гнили.
Как тяжелы испаренья
необходимой рутины.
И некуда, некуда деться,
и кажется, каждый встречный
дышит в лицо перегаром,
в лучшем случае свежей сивухой.

Я таскаю тяжелые доски,
тес, который немного легче,
убираю опилки и мусор,
наконец-то забор поставлен.
А в саду зацветают вишни,
а в саду зацветают сливы
и стоят, как застывшие взрывы,
рядом с розовым цветом яблонь.

Я читаю Экклезиаста
по цвету сливы и вишни,
по свежей траве и листьям,
по разбитым своим кроссовкам
и вконец изношенным джинсам,
по штaketнику я читаю.
Я читаю Экклезиаста
по слогам, слова повторяя,
повторяя: «Как это верно!»
Если жизнь — это форма праха,
если жизнь — это ловля ветра,
были прахом и станем прахом
в бесконечном круговороте.
Но почему же душу
мне тоска разрывает?

* *
*

Прогуливаясь по холодку,
сетуя на судьбу,
неторопливо закуривая
легкую сигарету,
невозможно представить,
как в железном гробу
человек
прикасается к собственному лицу,
как к неживому предмету.

В яме промозглой тьмы
человеку мстит вещь.
Безобидная на свету,
она получает возможность
впитаться и не отпустить,
как энцефалитный клещ.
Следует соблюдать
особую осторожность.

Боль, как свинцовый шар,
катается в черепной
коробке,
и вряд ли череп
выдержит эту пробу
на прочность.
В сыром мраке
и тишине сплошной —
сверлящая пытка надеждой —
кто-то стучит по гробу.

Нечаянно понимаешь:
сколько стоит свет,
сколько стоит тепло
и глоток кислорода.
Подлодка уткнулась в грунт.
Надежды уже нет.
Зыбь на северном море
колеблет мертвую воду.

* *
*

Я всплываю к свету из глубины, из-под глыб.
Велики сомненья. Не повернуть ли назад?
Может быть, я из породы придонных рыб?
Но тогда этот белый свет — для меня ад.
Мой кромешный ад, моя световая смерть.
Но куда тогда я? Кто я на этот раз?
О поверхность воды, о прозрачную твердь
ломается луч, и обломок режет глаз.

Апокриф

Однажды вождь и учитель
в конце тридцатых годов
спросил у своих придворных
исторических матерьялистов:

— Скажите, а есть у нас
живые идеалисты?

Ему ответили:

— Есть.

— А много ли?

— Единственный идеалист
у нас Алексей Лосев.

— Если один, пусть живет, —
изрек учитель и вождь,
и Лосева больше не трогали.

* *
*

Судьба человека состоит:
из пройденного пути,
последнего шага
и троичного выбора:
остаться на месте,
сползая в зыбучий песок,
сделать еще один шаг,
труднейший, чем предыдущий,
или прервать путь.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАКСИМ КРОНГАУЗ



ЖИТЬ ПО «ПРАВИЛАМ», ИЛИ ПРАВО НА СТАРОПИСАНИЕ

Стенка на стенку

Мнения по поводу грядущей реформы правописания разделились достаточно резко и по чрезвычайно простому признаку. Лингвисты в подавляющем своем большинстве «за», нелингвисты — «против». Причем, когда речь идет об аргументах, кажется, что противоположные стороны просто не слышат друг друга, а говорят о совершенно разных вещах. Лингвисты большей частью приводят лингвистические аргументы в пользу изменения правописания, а нелингвисты просят или требуют, чтобы все оставили как есть. Иногда в грубой форме. Например, Татьяна Толстая в газете «Коммерсантъ» говорит буквально следующее: «Надо заколотить двери Академии наук, где заседают эти придурки, и попросить их заняться более полезным для народного хозяйства делом». Чем-то напоминает монолог Райкина о балерине. Но главное, что на этом все: ответ оппонента не подразумевается и дискуссия заканчивается.

Я взялся за эту статью совсем не потому, что у меня есть окончательное мнение, что делать или чего не делать с русской орфографией, а скорее потому, что во мне самом борются лингвист и обыватель (в последнем случае не имею в виду никакой отрицательной оценки, обычно сопутствующей этому слову) и мне самому интересно разобраться, почему они так яростно борются.

Что-то случилось

Вообще говоря, сегодня сложилась достаточно странная ситуация. С одной стороны, в печати прошла волна публикаций (в основном критических) по поводу реформы русской орфографии. С другой стороны, осведомленные лица (например, члены Орфографической комиссии Российской академии наук и сотрудники Института русского языка РАН) утверждают, что никакой реформы нет. Просто вместо «Правил русской орфографии и пунктуации» 1956 года (далее «Правила»), являвшихся своего рода законом в области правописания, но устаревших, в Институте русского языка под руководством В. В. Лопатина был разработан «Свод правил русского правописания. Орфография и пунктуация» (далее «Свод»)¹. Стыдливое «своего рода закон» сказано выше по одной простой причине. Наше правописание регулировалось не только «Правилами», но и различными словарями, иногда противоречившими «основному закону». Можно попытаться провести юридическую аналогию с законом («Правила») и прецедентом (словари), но вряд ли это что-нибудь прояснит.

Кронгауз Максим Анисимович родился в 1958 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка, директор Института лингвистики РГГУ. Автор научных монографий, учебников, статей по семантике, прагматике, семиотике, культурологии, русистике. Популярные статьи о русском языке, лингвистике и лингвистическом образовании публиковал в журналах, газетах и Интернет-изданиях. В «Новом мире» печатается впервые.

¹ См. статью Владимира Лопатина «Русская орфография: задачи корректировки» («Новый мир», 2001, № 5).

Новый «Свод» призван сыграть роль нового закона. Он уже одобрен Орфографической комиссией, председателем которой является В. В. Лопатин, однако еще не утвержден и не опубликован. Это означает, что на сегодняшний день мы имеем дело с проектом «Свода», то есть с проектом закона. Сложность ситуации усугубляется еще и тем, что в последнее время появились словари, по крайней мере частично следующие «Своду», а не «Правилам», то есть проекту закона, а не действующему закону. Расхождение касается в первую очередь слитного, дефисного и раздельного написания сложных слов. Так, например, прилагательное *церковнославянский* в полном соответствии с «Правилами» писалось во всех словарях слитно. Однако в некоторых новых словарях, подготовленных сотрудниками Института русского языка (см., например, «Русский орфографический словарь» под редакцией В. В. Лопатина), оно пишется через дефис, что соответствует уже рекомендациям «Свода».

Хотя газетно-журнальная дискуссия фактически уже прошла, обсуждение «Свода» (а точнее — его проекта) в научном сообществе (в академических институтах и университетах) продолжается и сейчас.

Итак, подведу итог. «Правила» 1956 года устарели, но формально их никто не отменял. Еще не утвержденный «Свод» содержит определенные изменения не только орфографических, но и пунктуационных норм. Считать ли их достаточно значительными, чтобы называть реформой, или нет — вопрос скорее символический, ведь никакого строгого определения реформы не существует. Тем не менее, на мой профессиональный взгляд, это именно реформа правописания (орфографии и пунктуации), и так я буду впредь ее именовать.

Несмотря на то что новый «Свод» официально считается проектом и находится в стадии научного обсуждения, некоторые его правила уже реализуются в словарях.

Что касается внезапной и бурной публичной дискуссии в печати, то мне вообще непонятно, чем она была вызвана и почему произошла. То ли это была случайная утечка информации, то ли кто-то сознательно, но не очень ловко пустил пробный шар — не берусь судить.

Такова диспозиция. Каковы же ее оценка и возможные последствия? Прежде чем перейти к этой проблеме, оговорюсь, что я в минимальной степени буду говорить о конкретном языковом материале и собственно лингвистических аргументах, а также о научном качестве реформы. К содержанию «Свода», безусловно, есть лингвистические вопросы, но следует признать, что над ним работали профессионалы, сознающие наличие многих подводных камней. Обоснованность предлагаемых изменений должна выявить именно профессиональная дискуссия. Меня же, как, наверное, и широкую аудиторию, в данном случае больше интересует психологическая проблема.

Реформа как стресс для народа

В течение последнего десятилетия пытались провести реформы орфографии и графики французы и немцы. И обе эти реформы, практически утвержденные, вызвали такую бурную реакцию в обществе, что их отменили или по крайней мере заморозили. Любая реформа правописания и графики оказывается сильным психологическим стрессом для общества. Страдают от нее в основном грамотные люди. Образованный человек пишет грамотно не потому, что он знает правила, а потому, что он помнит, как пишется то или иное слово. Грамотный человек пишет автоматически, не задумываясь, почему он пишет так, а не иначе. Он привык так писать. Огромную роль и при письме, и при чтении имеет так называемый графический облик слова. Если, скажем, законодательно заменить написание *корова* на *карова*, ничего смертельного не произойдет. Пошумят, поволнуются — и будут жить дальше. Однако грамотный человек и читать, и писать станет чуть-чуть медленнее. При чтении его глаз будет спотыкаться на *карове*, а при письме ему придется на долю секунды задуматься, как с ней быть. Более того, если бы мы вдруг решили не пи-

сать, а произносить это слово как-то иначе, например, *курова* или на иностранном манер: *кау* (англ.) или *ваи* (франц.), опять же помучились бы и привыкли. Привыкаем же мы к реальным заимствованиям из иностранных языков. Однако, если таких одновременных гипотетических замен было бы побольше, выросли бы и проблемы. Говорить и понимать чужую речь мы стали бы медленнее.

Вернемся все же к письму. Быстро читающий человек не всегда даже проговаривает слова, которые он читает, он узнает слова, а не прочитывает их в строгой линейной последовательности. Иногда мы даже не замечаем опечаток, потому что узнаем слова сразу по каким-то другим буквам. Например, слова в словосочетании (если оно, конечно, встречается в связном тексте)

крокодилы и гиппопотамы

я узнаю по первым буквам и могу не заметить не к месту появившейся буквы «я». Но если вдруг замечу, то, безусловно, заторможу на ней, а опечатка в первых буквах (например, *прокодилы*) просто помешает мне опознать слово. Тексты девятнадцатого века современный человек читает медленнее, даже если знает правила чтения всех исчезнувших букв. Яти и другие удаленные из алфавита буквы, по крайней мере поначалу, будут замедлять чтение.

Надо признать, что наибольший урон от реформы несут грамотные взрослые люди, а еще точнее, люди много пишущие и читающие. Они сильнее всех привыкли к существующему порядку, и им труднее перестраиваться. Из наиболее грамотных они в один миг становятся наиболее неграмотными (правда, только на определенное время). Кроме всего прочего, грамотность является одной из составляющих культуры, и ее утрата воспринимается культурными людьми болезненно.

Здесь возможны самые неожиданные потери. Так, например, исчезло из русского языка выражение «делать на ять». Или более личное: после реформы графики и орфографии, по существу, потеряла смысл строка из стихотворения Марины Цветаевой, посвященного Александру Блоку: «Имя твое — пять букв». С потерей ера на конце имя *Блок* сократилось до четырех букв, а строчка стала культурным или лингвистическим казусом.

С другой стороны, люди не слишком грамотные теряют от реформы значительно меньше, а дети, которые осваивают орфографию и пунктуацию, скорее только выигрывают от более простых и логичных правил. Так, небезосновательно считается, что именно реформа орфографии и пунктуации позволила большевикам в кратчайшие сроки ликвидировать неграмотность. Спасибо реформаторам должны сказать и школьники всех последующих поколений. Им уже не нужно заучивать стихи со словами, в которых пишется ять: «Бедный бледный белый бес прибежал с обедом в лес...» Их мучения ограничиваются заучиванием канонической строки «уж замуж неverteпж», что, согласитесь, значительно проще.

Таким образом, совершенно понятно, почему реакция в прессе на слухи о реформе была в подавляющем большинстве случаев негативна. Эта была нормальная реакция образованных людей. Интересно и то, что основной отпор вызвала замена буквы «ю» на букву «у» в словах *парашют* и *брошюра* (ср. *парашут*, *брошура*). Конечно, эта замена гораздо заметнее глазу, чем вариации с двумя или одним «н» и прочее. Также неприятно (подозреваю, что это самое подходящее слово — почти физически неприятно) написание прилагательного *розыскной* через «а» — *разыскной*. Неприятие вызывают наименее системные, единичные, но раздражающие глаз замены. Большая заметность орфографических изменений по сравнению с пунктуационными привела к тому, что вместо реформы правописания (то есть орфографии и пунктуации) обсуждаются фактически только орфографические изменения.

Итак, психология человека, отторгающего реформу, абсолютно понятна. Но какие же аргументы приводятся сторонниками реформы?

Парашут с нами

Причины, почему нужно писать и утверждать новый «Свод», достаточно просты и очевидны. Во-первых, старые «Правила» устарели (то есть с тех пор произошли определенные изменения в русском языке, которые не могли быть учтены), во-вторых, они несовершенны (и неполны, и неточны). Отсюда те немногочисленные, но вечные, а точнее — хронические проблемы орфографии: с написанием одного или двух «н» в причастиях и прилагательных и с раздельно-дефисно-слитным написанием наречий, частиц и проч. На этом месте спотыкаются даже вполне грамотные люди. Думаю, что против упорядочения этой части было бы и меньше всего возражений, но как раз проблема слитно-раздельного написания наречий в новом «Своде» не решается до конца, просто один список слов заменяется на другой.

Есть еще один аргумент: в русской орфографии часто нарушается системность, то есть, говоря более простым языком, для многих правил существуют исключения. Именно этим соображением и вызваны новые написания *парашюта*, *брошюры* и прилагательного *розыскной*. Но именно эти соображения отказывается принимать грамотный носитель языка. Пусть три, пусть десять исключений, но он к ним привык, и принцип сохранения графического облика оказывается важнее принципа системности.

Следует оговорить то, что предлагаемая реформа не предусматривает радикальных изменений, что постоянно подчеркивают ее авторы. Кстати сказать, именно поэтому некоторые лингвисты считают ее явно недостаточной. По сравнению с послереволюционной реформой изменения просто ничтожны. Любая реформа правописания — проблема одного (в широком смысле) поколения, то есть, как уже сказано, взрослых образованных людей. Предлагаемая же реформа — проблема скорее не поколения, а определенного не слишком долгого периода времени — лет, скажем, десяти. Через десять лет даже «культурный» глаз перестанет вздрагивать и моргать на слове *парашут*.

Да, действительно, достаточно просто сто, а лучше тысячу раз написать БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА... Рука привыкнет, а глаз, прошу прощения за сленг, замылится. Языковая привычка вырабатывается именно так — писанием и чтением. И все-таки вопросы остаются. Почему сейчас? Кто должен решать? Ради чего?

Вчера еще рано, завтра — поздно

Время для реформы, или по крайней мере для введения новых правил, сейчас в каком-то смысле подходящее. Это время больших перемен и потрясений вне языка. Следует напомнить, что послереволюционная реформа готовилась задолго до революции и совсем даже не большевиками, а крупнейшими российскими учеными. Созданную в 1904 году комиссию при Академии наук возглавлял, пусть формально, великий князь Константин Константинович, а ее Орфографическую подкомиссию — великий филолог Ф. Ф. Фортунатов. Проводить же ее начало Временное правительство, а большевики окончательно утвердили декретами Народного комиссариата просвещения от 23 декабря 1917 года и Совета народных комиссаров от 10 октября 1918 года. Совпадение времени проведения реформы и революции, по-видимому, не случайно. Именно на фоне революций и сопутствующих потрясений реформа оказалась не таким уж значительным событием (каким бы она, безусловно, была в стабильное время), и именно большевики имели политическую волю провести ее до конца. Осуществить подобную реформу в стабильном и демократическом обществе очень трудно. Общественность практически всегда против. О двух неудачных попытках во Франции и Германии я уже говорил. Нечто похожее пытаются сделать сейчас в Чехии, но о результатах говорить еще рано.

В смысле проведения реформы нестабильность нашего общества оказывается положительным фактором. Завтра уже будет поздно. Даже смена веков могла бы быть психологическим стимулом для внесения изменений в орфографию. Но, судя по реакции прессы, не стала.

Таким образом, удобный момент, похоже, отчасти упущен.

Кто же главный?

Другой вопрос связан с механизмами проведения реформы и с тем, кто же окончательно решает, быть или не быть реформе. Кажется, что ответ прост: решать должен народ, который на этом языке говорит. И тогда, судя по откликам на реформу, народ против. Но в этом есть и определенное лукавство. Ведь реакция прессы — это все-таки реакция образованного взрослого населения. А в поддержку реформы могли выступить как раз менее образованные люди и, конечно, школьники, которые, впрочем, при референдумах не имеют права голоса. С другой стороны, кажется не вполне разумным решать такие вопросы голосованием. Все-таки культурная и языковая норма, в том числе и орфографическая, — вещь по определению консервативная, и отменять ее простым большинством голосов нельзя. Слишком легко и быстро тогда будет меняться наша культура. И не исключено, что, проводя мы референдумы по правописанию каждый день, по понедельникам мы будем писать *корова*, а по вторникам *карова*.

По-видимому, если говорить о серьезных изменениях, нельзя обойтись без серьезного общественного обсуждения, на котором естественному для образованной общественности орфографическому консерватизму должны противостоять лингвистические доводы, сформулированные абсолютно понятным для неспециалиста языком. Причем существенно даже не то, будет ли реакция общественности негативной (а она должна быть таковой), а то, насколько негативной она будет. И, следовательно, допустимо ли ею пренебречь. Подготовка реформы требует не только разработки теоретических постулатов, но и подготовки общественности к реформе. Фактически мы приходим к тому, что называется специфическим и малопонятным для недавних эмигрантов русским словом «пиар». Так вот, пока пиар реформы был крайне неудачным.

Р. С. Личное мнение

Но в конце концов, несмотря на мои попытки сохранить объективность, придется честно сказать, как лично я отношусь к реформе. Надеюсь, что борьба упомянутых в начале статьи лингвиста и обывателя внутри меня была корректной. Я уверен, что проведение реформы, если она состоится, ни для кого не будет катастрофой (просто в силу незначительности изменений). И все же...

Короче говоря, я за *парашют*. И, как говаривал герой одного фильма, делайте со мной что хотите.



ПОЛЕМИКА

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ — АНДРЕЙ ЗУБОВ

*

ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ КВАРТАЛОВ

Москва, Юго-Запад.

Дорогой Андрей! Мне хочется начать с того, что захватило в Вашей статье «Сорок дней или сорок лет?» («Новый мир», 1999, № 5), — с анализа глубинных корней нашего национального несчастья. Там можно выписывать целые страницы. Ограничусь немногим:

«Русская „нравственная пружина” вся изоржавела к началу XX века, и потому так легко надломилась она в годы испытаний. Честные и трезво мыслящие люди видели это вполне явственно: „Влияние Церкви на народные массы все слабело и слабело, авторитет духовенства падал... Вера становилась лишь долгом и традицией, молитва — холодным обрядом по привычке. Огня не было в нас и в окружающих. Пример о. Иоанна Кронштадтского был у нас исключением... как-то все у нас „опреснилось” или, по выражению Спасителя, соль в нас потеряла свою силу, мы перестали быть „солью земли и светом мира”. Нисколько не удивляло меня ни тогда, ни теперь, что мы никого не увлекали за собою: как мы могли зажигать души, когда не горели сами?.. И приходится еще дивиться, как верующие держались в храмах и с нами... хотя вокруг все уже стыло, деревенело” (Митрополит Вениамин (Федченко). На рубеже двух эпох. М., 1994, стр. 122, 135). Этой оценке митрополита Вениамина... можно найти бесконечное число параллелей... И это „одревенение” Церкви проявилось немедленно в обществе после обрушения царской власти, поддерживавшей официоз православия.

„Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма характерный для тогдашнего настроения военной среды, — писал в „Очерках русской смуты” генерал А. И. Деникин, — один из полков 4-й стрелковой дивизии искусно, любовно, с большим старанием построил возле позиций походную церковь. Первые недели революции... Демагог поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм — это предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для... Я не удивляюсь, что в полку нашелся негодяй офицер, что начальство было терроризировано и молчало. Но почему 2 — 3 тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни? Как бы то ни было, в числе моральных факторов, поддерживающих дух русских войск, вера не стала началом, побуждающим их на подвиг или сдерживающим от развития впоследствии звериных инстинктов” (Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 1991, стр. 79 — 80).

По данным военного духовенства, доля солдат православного вероисповедания, участвовавших в таинствах исповеди и причастия, сократилась после

Померанц Григорий Соломонович родился в 1918 году в Вильно. Окончил Институт истории, философии и литературы (ИФЛИ) в 1940 году. Участник войны, узник сталинских лагерей. Автор книг «Сны земли», «Открытость бездне», «Выход из транса», «Страстная односторонность и бесстрашие духа», «Записки гадкого утенка». Действительный член РАЕН.

Зубов Андрей Борисович родился в 1952 году в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений, с 1973 года работает в Институте востоковедения РАН. Ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук.

февраля 1917 года примерно в десять раз, а после октября 1917 года — еще в десять раз. То есть активно и сознательно верующим в русском обществе оказался в момент революции приблизительно один человек из ста.

Есть множество свидетельств широкой распространенности в русском обществе эпохи революции не просто равнодушия, а ненависти к вере и Церкви. Эта ненависть не насаждалась большевиками — она была разлита в обществе, и большевики победили и вошли в силу потому, что их воззрения, методы и цели были вполне созвучны настроениям большинства русских людей».

Я читал статью с чувством глубокого согласия. Зацепило одно место — об Анне Карениной; отмахнулся от него: и на солнце есть пятна. Но на последних страницах Ваша мысль как-то вдруг вышла из глубины на плоскость, и, пытаясь понять, как это получилось, я вернулся к первой зацепке: «Трагедия Анны Карениной не в том, что от дури она полезла под поезд, вместо того чтобы спокойно ехать к Вронскому или затеять другую интрижку. Трагедия Анны в том, что она сознавала неотвратимость страшного воздаяния за измену мужу, но страсть влекла ее к любовнику, а противостоять страсти не хватало волевых сил». Вдумайтесь, Андрей, — разве слова «от дури», «интрижка» здесь уместны? Интрижки были у княгини Бетси, и свет глядел на них сквозь пальцы; а у Анны — внезапное пробуждение женского сердца. Порыв всего существа навстречу любви. Называть это интрижкой — кощунство против духа культуры, в котором всегда есть нечто от Святого Духа, даже очень далеко от Церкви. Тут против Вас три тысячелетия поэзии, все три Федры — Еврипида, Расина и Цветаевой; и Мандельштам, упоминавший Федру в своих стихах; и Достоевский, восхищавшийся Федрой (прочтите его письмо брату Михаилу)...

Данте помещает Франческу да Римини в ад, но падает в обморок после ее рассказа. Даже в средние века поэт не мог полностью согласиться со священником. И я думаю, что священник, следующий букве запретительных заповедей, не всегда прав. Любовь к ближнему как к самому себе (и даже больше, чем к себе) может прийти неожиданно, нарушая правила, прийти вместе с чувственным порывом, как у Мити Карамазова, — и все же это любовь, а значит, нечто более высокое, чем вялое соблюдение запретов.

Запретительные заповеди менее важны, чем заповедь о любви, без которой все теряет цену. Думаю, что тот, кто горел огнем личной страсти, ближе к белому огню Божьей любви, чем ни разу не вспыхнувший. И есть обстоятельства, в которых грех нарушения запрета так же простителен, как убийство на войне (когда война сама по себе не преступна), — и благородный грешник становится героем поэзии.

Это все относится и к Анне Карениной, и к Анне Тимиревой, подруге Колчака, слова которой Вы приводите на той же странице: «Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата», — не жалела о порыве любви. Не думаю, что этот порыв, примерно одинаковый у Франчески да Римини и Анны Тимиревой, как-то повлиял на политические ошибки Колчака, за которые действительно пришлось расплачиваться.

Пожалуй, суд над стихией любви — модель Вашего суда над стихией революции. Вы делаете ошибку, прямо противоположную ошибке поэтов, рвавшихся навстречу буре: совершенно отрицаете поэзию стихии; просто нет в вашей концепции стихии, противостоящей священнику, как гимн Вальсингама в пушкинском «Пире во время чумы». Все сводится к простому контрасту добра и зла, доведенных до пустоты абстрактных принципов.

Белые, если можно так сказать, онтологически белы, красные в крови с макушки до пят, и только слепой может сделать ложный выбор. Вы пишете:

«Конечно, не все, далеко не все русские люди сделались богоборцами и законопреступниками. Но значительная часть стала, а еще большая, проявив преступную теплохладность и трусость, пыталась занять нейтральную позицию или „встать над схваткой“». Приводится пример офицеров, гулявших по улицам Ростова и Новочеркасска и кутивших по ресторанам, когда Добровольче-

ская армия вела тяжелые бои. «Их трусость была жестоко наказана. Все, кто не умел хорошо укрыться, после отхода армии из Ростова были с величайшими издевательствами убиты... В схватке, сжигавшей Россию в 1917 — 1922 годах, не могло быть нейтральных. Все акценты, все цели были тогда сформулированы предельно ясно. На одном — безумие богоборчества, „пожар до небес“, позор Брестского мира, стакан человеческой крови (выпитый палачом. — Г. П.) и глумление над всеми вековыми установлениями человечества... На другом — вера или хотя бы почтение к вере и закону отцов; любовь к Отечеству; самопожертвование...»

Андрей, куда Вы подевали греховность старого мира, порыв совести против привычного зла, против бессмысленной бойни, затеянной тремя христианскими империями для решения великого вопроса — какая из них раньше развалится, бойни, втянувшей миллионы мужчин в ремесло убийцы... Куда подевался вихрь волошинского Северо-востока, срывающий людей с места, опрокидывавший их представления о добре и зле? Воля ваша, я не могу отдать Вам ни Волошина, ни Короленко. Я признаю, что Блок заслушался музыки стихий и сдался на милость демоническим вихрям, но в подвижниках милосердия, стоявших над схваткой, была высокая трезвость. Они стояли именно *над* схваткой, а не *под* схваткой, как трусы и как миллионы крестьян, просто не понимавших, что происходит. Я думаю, что так же оставались *над* схваткой и первые христиане, когда зелоты беззаветно отдавали свою жизнь в войне с развратным и богоборческим Римом. Я думаю, что разница между Волошиным и обывателем даже больше, чем между Федрой и шлюхой. Вас захватила героика Белого движения, и вы забыли о двух вещах: была и красная героика; а поверх всякой героики — различие между героем и подвижником, о котором писал Сергей Булгаков (Вы его ни разу не вспомнили).

Поверьте участнику войны: ни одно сражение не было выиграно террором. Террор — вспомогательное средство в бою, решает воодушевление. У красных были великолепные ораторы, верившие в рай на земле и умевшие увлечь мобилизованных крестьян призраком рая. Мне очень ярко рассказывал об этом М. Н. Лупанов, сосед по лагерному бараку. К 1950 году Лупанов стал антисоветчиком, но в 1920-м, после речей Троцкого или Зиновьева, он готов был штурмовать небо. И не он один, а весь полк. Не только белые — и красные беззаветно отдавали свою жизнь. Одни — за Русь святую, другие — за власть Советов, за мир без нищих и калек. А потом герои сатанели и врагов расстреливали или вешали. Это общий грех большеинства героев. В том числе — героев Вьетнама и Чечни. В годы советской власти, когда наперекор этой власти провозглашался тост «*За наших мальчиков во Вьетнаме!*», я отказывался пить.

Вы сами признаете, что «в довершение к красному был еще и белый террор. И если командующие освободительными армиями старались действовать в рамках российского законодательства, то многие из союзных белых атаманов... вели себя немногим лучше красных, разве что не с таким размахом и планомерностью».

К сожалению, не только атаманы. А. В. Пешехонов, бывший министр временного правительства (а до того — сотрудник Короленко по «Русскому богатству»), свидетельствует: «О, конечно, большевики побили рекорд и количеством жестокостей намного превзошли деникинцев. Но кое в чем и деникинцы перещеголяли большевиков... Лично мне самые ужасные ощущения пришлось пережить именно у деникинцев. Никогда не забуду, как в Ростове метался я между повешенными. На первого из них я, помню, наткнулся на углу Б. Садовой и Б. Проспекта. Сначала я даже не сообразил, в чем дело; вижу, небольшая кучка окружила и стоит около человека, прислонившегося к дереву. Этот человек показался мне необыкновенно высоким. Подхожу, а у него ноги на пол-аршина не достают до земли, и не на них он держится, а на веревке, привязанной к суку... Я шарахнулся в сторону, вскочил в трамвай и уже на нем доехал до вокзала, куда шел. О ужас! И тут виселица: повешена

женщина. И к ней пришпилен ярлык с надписью „шпионка”. У того — опорки на ногах, у этой чуть не новенькие башмачки...

Бросаюсь обратно в трамвай и еду в нем до Нахичевани. Выхожу на площадь — и здесь импровизированная виселица! По всему городу и пригороду — на страх приближающимся врагам — в этот день властями повешены были люди, и мы должны были жить и ходить среди них, пока архиерей не упротосил избавить нас от этой муки. Ради праздника Рождества Христова жителям Ростова была дана амнистия, и трупы были убраны... Я не стал бы писать об этом, если бы этот случай был в своем роде единственным. Но ведь публичные казни — в порядке белого террора — практиковались и в других местах... А погромы! А резня в городах, отбитых у большевиков, хотя бы, например, в Майкопе!» (Цит. по кн.: Ай хен вальд Ю. А. Дон Кихот на русской почве. Ч. 2. М., 1996, стр. 141 — 142).

Я старый человек и сталкивался с живыми свидетелями белого террора. Петр Григорьевич Григоренко рассказывал мне (а потом описал в своих воспоминаниях), как офицерский полк Дроздовского на своем пути из Румынии на Дон расстреливал без суда и следствия все Советы. Хотя в этих Советах иногда не было ни одного большевика. Я вспоминал это, когда девятилетний мальчик, стоя у елки, пел песню дроздовцев. В девять лет герои захватывают больше подвижников. Да и потом героика захватывает, и меня самого захватила. А после войны мне пришлось сидеть в «Бутырках» и играть в шашки с человеком, пытавшимся восстановить школу при немцах. Как-то я посмотрел партнеру в глаза и спросил, почему он сделал свой выбор. Он ответил: «Был свидетелем коллективизации. Простить этого не мог». Я кивнул головой, и мы продолжили партию.

В 1941 — 1945 годах позиции над схваткой просто не было. Волошина или Короленко немедленно препроводили бы в лагерь при первой попытке протеста. Оставалось только воевать против Гитлера — за Сталина — или против Сталина — за Гитлера. В Гражданскую войну степень свободы была большей. Меньшевики протестовали против расстрела великих князей, адмирала графа Щастного. Патриарх призывал христиан не участвовать в погромах. Была возможность протестовать и против белого террора; и то, что Церковь эту возможность почти не использовала, — ее грех. Можно было прятать красных от белых и белых от красных, как это делал Волошин. Я не отрицаю героики. Но в героике Гражданской войны было слишком много ненависти, «пены на губах». Волошин мне ближе.

Вы пишете, что генерал Деникин пытался ограничить белый террор. А Колчак? Что он сделал, когда его офицеры, при государственном перевороте, попросту вырезали социалистических депутатов Учредительного собрания? Насколько мне известно — ничего. Между тем эта расправа сыграла едва ли не роковую роль в ходе Гражданской войны. Эсеры ответили на белый террор, заключив перемирие с большевиками, и части, находившиеся под эсеровским командованием, открыли красный фронт. А когда Колчак попытался провести мобилизацию, крестьяне (избиратели эсеров) мобилизацию сорвали. И с Волги до Тихого океана покатился шарабан отступления. «На белом снеге волкам приманка: два офицера, консервов банка. Катись, катись, мой шарабан! Не будет денег — тебя продам».

Я готов согласиться, что Колчак был героем. Но Бог знает что делалось в голове этого героя и что бы он наделал, добравшись до столиц. Всеволод Иванов, служивший наборщиком в омской газете, слышал (в обрывке разговора), как Верховный обещал непременно повесить Александра Блока. Мне об этом рассказывал сын Всеволода, Вячеслав. Даже кадеты были для Колчака недопустимо левыми. «По воспоминаниям Г. К. Гинса, убоженного „колчакиста” и министра Верховного правителя, среди битв и государственных дел особенно занимали (Верховного. — Г. П.) „Протоколы сионских мудрецов”. Ими он прямо зачитывался» (Ай хен вальд Ю. А. Указ. соч., стр. 136). Не думаю, что «Протоколы...» — лучшее чтение, чем революционные брошюры.

Героев революции я имел случай наблюдать живыми, в одной тесной камере, где нас набили как сельдей в бочке. Это были старики, отбывшие по несколько сроков и уцелевшие. В конце 40-х годов от них (и от меня) очищали Москву. Эсеров, анархистов, дашнаков съели разные идеи, но бросалась в глаза какая-то общность. Это были рыцари протеста. Некоторые были так возмущены несправедливым общественным устройством, что бросали бомбы. Отвращение ко всякому насилию пришло к интеллигенции позже, около 1960 года. Я сам участник этого перелома и хорошо его помню. А в начале XX века даже очень хорошие люди, борцы за справедливость могли стать террористами, оставаясь хорошими людьми... В 70-е годы я был близок к диссидентам и почувствовал в них что-то общее с моими былыми сокамерниками.

Дореволюционных большевиков в камере не было. Коммунисты, вступившие в победившую партию, были другой породы. Идейность (в смысле верности принципам) им заменяла верность линии партии, куда бы она ни гнулась. Но впоследствии я познакомился со старой большевичкой и под суровой внешностью узнал ту же романтику подвига и жертвы. «„Гитанджали” Тагора, — рассказывала она мне, — я в 16 лет готова была носить на груди». — «Почему же Вы не сохранили книгу?» — «Пришли ходоки из деревни, сказали, что нет книг, я отдала им всю библиотеку. „Зачем в деревне Тагор?” Разве я могла так рассуждать? Революция — значит, все общее. Все мои друзья погибли на фронтах...»

В революцию Оля Шатуновская убежала босиком (отец туфли запер). Турки, захватив Баку, приговорили ее к повешению; мусаватистский министр, которому Шаумян за несколько месяцев до этого спас жизнь, заменил казнь высылкой. Оля несколько раз оказывалась на краю гибели — и снова шла на отчаянный риск. Для моего покойного тестя, тоже бакинца, она была живой легендой. Потом партия приучила к дисциплине, но не переменяла ее ума и сердца. Как почти все большевики с необщим выражением лица, попала под Большой террор. С Колымы и послеколымской ссылки вернулась убежденной противницей сталинизма. И тут легенда ее жизни получила неожиданное продолжение: Хрущев назначил ее в комиссию Партийного Контроля проводить реабилитацию, а потом — расследовать убийство Кирова. В качестве члена так называемой комиссии Шверника (где, кроме нее, никто не вел фактической работы) она официально запросила КГБ о масштабах Большого террора и получила официальную справку, что с 1 января 1935 года по 1 июля 1941 года было арестовано 19 840 000 человек и 7 000 000 расстреляно. Хрущев не решился опубликовать чудовищные цифры и положил под сукно дело об убийстве (помнится, в 64-х томах), по которому Ольга Григорьевна допросила тысячу человек и восстановила картину сталинской провокации до мелочей. За трусость она глубоко презирала Хрущева и, когда после отставки он просился в гости, отказалась его принять. Последним делом ее жизни была публикация статьи (кажется, в «Известиях»), где она сообщала, что все решающие документы дела Кирова и справка о числе жертв Большого террора были изъяты, уничтожены и подменены другими данными, на которые сегодня опирается Г. А. Зюганов. Шатуновская умерла в 1990 году, восьмидесяти девяти лет, до конца сохраняя ясность ума. Цифру 19 840 000 я слышал от нее несколько раз. Рассказы ее детям и внукам записаны ими и находятся в Интернете. Облик Ольги Григорьевны я пытался передать в одном из своих эссе («Октябрь», 1996, № 12).

Вы скажете — единичный случай. Да, потому что таких людей Сталин целенаправленно истреблял. И все же в диссидентское движение влилась «коммунистическая фракция»: Костерин, Григоренко, Лерт. Для них путь в диссидентство был так же органичен, как путь в революцию. С Лерт я был хорошо знаком, с Петром Григорьевичем дружен и храню светлую память о нем. Он стал коммунистом, как и многие на Юге Украины, после террора дроздовцев, потом перестал быть коммунистом, но он никогда не переставал быть самим

собой — начиная с прыжка из окна второго этажа в кучку учеников, избивавших малыша, кончая ударом ребром ладони по кадыку санитара, избивавшего душевнобольных в психушке. Тоталитарной штамповке поддавались люди без Божьей печати в душе. У кого была нравственная харизма, тот никогда ее не терял. И всегда находились Дон Кихоты, борющиеся за соблюдение хоть каких-то законов. Об этом стоит почитать в книге воспоминаний Петра Григорьевича.

Вы подчеркиваете, что масштабы красного террора были чудовищными и несравнимы с белым террором. Это подтверждают все, в том числе Григоренко, который при этом задает вопрос: почему его односельчане, испытавшие и то, и другое, с красным террором помирились, а белый осуждали? Ответа он не знал. Я думаю, что однозначного ответа и нет. Но один из ключей к разгадке — революционная риторика, увлекавшая Россию. Из противников большевизма ею владели эсеры. К несчастью, белые с ними поссорились, а сами они умели разговаривать только со своими, с людьми своего круга. Слов, доступных мужикам, способных увлечь их, — не нашли. Разве только то, что Петя Григоренко наблюдал в городке, где учился: на другой день после вступления дроздовцев в Ногайск город был оклеен плакатами: «Бей жидов, спасай Россию». Но на Юго-Восточной Украине этот призыв не был подхвачен. Семена ненависти дали здесь другие всходы: анархии и большевизма.

Красные выиграли войну, увлекая народ своими иллюзиями, а иногда прямо обманывая народ. Белые ее проиграли, просто не считаясь с народом, с крестьянством, составлявшим подавляющее большинство народа. Белые презирали как невежество крестьянские представления о земельной собственности, восходившие к феодальным порядкам (мы ваши, а земля наша). Белые презирали волю крестьян, избравших в Учредительное собрание эсеров, а не либеральных профессоров и монархических генералов. Колчак проиграл войну не из-за любви к Анне Тимиревой, а из-за пены ненависти на губах, из-за разгона Комитета членов Учредительного собрания, из-за неспособности к компромиссу всех антибольшевистских сил. Из-за того, что не расстрелял по крайней мере зачинщиков расправы над депутатами, избранниками народа...

Мир праху героев, белых и красных. Правильно поступил Франко, похоронив всех погибших в одну долину и водрузив над ними один большой крест. Мертвые сраму не имут. Но путь героев — не мой путь.

Григорий ПОМЕРАНЦ.

Москва — Хамовники.

Дорогой Григорий Соломонович! Ваш анализ статьи «Сорок дней или сорок лет?» весьма взволновал меня. Статья эта действительно посвящена размышлению над причинами «нашего национального несчастья» и о возможностях и путях преодоления нынешней бедственности, которая, на мой взгляд, напрямую уходит в 1917 год. Во многом, особенно в анализе болезней, приведших к революции, мы с Вами согласны, но есть и пункт разномыслия, тем более важный, что он касается нравственной оценки прошлого и той позиции относительно революции и советской эпохи, которую стоило бы занять сейчас обществу, дабы исцелиться. В том, что ныне российское общество глубоко больно, мало кто сомневается, но каково имя болезни, от которой мы страдаем? На мой взгляд, предельно обобщая, — это *бессилие перед злом и согласие на зло*.

В выступлении при вручении Большой Ломоносовской медали РАН в начале июня 1999 года А. И. Солженицын охарактеризовал нынешнее наше состояние как «хаос, безвозбранно усугубляемый высокопоставленным грабительством», и добавил: «В условиях уникального в человеческой истории пиратского государства под демократическим флагом, когда заботы власти — лишь о самой власти, а не о стране и населяющем ее народе; когда национальное богатство ушло на обогащение правящей олигархии... в этих

условиях трудно взяться за утешительный прогноз для России»¹. Да и Ваша, Григорий Соломонович, недавняя характеристика состояния России сходна: «Наши реформы начались с полного непонимания духовных параметров социального сдвига... А то, что восстановление нравственных норм связано с восстановлением священной иерархии целей и ценностей, до сих пор мало кто понимает. Реформы начались с призыва обогащаться кто как может — без понимания, к чему это может привести при очень расшатанном уважении к чужой собственности. Итогом стало разграбление народных богатств»².

Но что мешает обществу, миллионам полуголодных и практически нищих людей, получающих символические зарплаты, на которые новые властители России не смогли бы прожить и нескольких часов, — что мешает им объединиться в настоящие политические движения, сыскать и выдвинуть нравственных и порядочных вождей, добиться действительного местного самоуправления, контроля над деятельностью чиновников и олигархов, над городскими, губернскими и провинциальными властями, а затем и сменить эти власти? Может быть, жестокое принуждение к повиновению? — Нет. Когда-то мощный, аппарат подавления сейчас крайне слаб, да к тому же практически почти не применяется. Но почему не подавляемый никем извне народ безмолвствует при явном разграблении своего дома? Я вижу ответ только в одном — *потому что он не только жертва, но и грабитель*. Потому что чиновный вор, олигарх, бандит стали для большинства не врагами, но объектами зависти и желания уподобления.

Наши девушки мечтают выйти замуж за богатого, нимало не интересуясь, как заработано это богатство, наши юноши ищут место поденежней и, как правило, не поднимают вопросов, на что используется их труд работодателями. Обслуживание пиратов, бандитов и преступников считается не постыдной сделкой с дьяволом, но желанной работой, потому что за нее платят деньги, не виданные теми, кто не сумел приблизиться к властно-криминальной кормушке. Мы перестали отличать добро от зла, нравственное от безнравственного, заменив эти пары иными: «выгодно — невыгодно»; «приятно — неприятно», и потому мы, вместо того чтобы сопротивляться злу, избираем для себя путь соучастия в нем, так как не видим больше в зле зла.

В Вашем письме разбор моей статьи начинается с «зацепки» — Анны Карениной. Здесь меня отчасти подвели выразительные особенности моего языка. Я вовсе не хотел сказать, что отношения Анны с графом Вронским были *для нее* «интрижкой» или что она бросилась под поезд «от дури». Произнося цитированную Вами фразу, я хотел как раз показать неверность таких вульгарных интерпретаций и подвести читателя к пониманию истинной трагедии Анны: «Трагедия Анны в том, что она сознавала неотвратимость страшного воздаяния за измену мужу, но страсть влекла ее к любовнику, а противостать страсти не хватало волевых сил». То есть Анна понимала: то, что творит она, есть зло, влекущее за собой неотвратимое возмездие Божие, но не творить этого зла она не могла. И в результате — гибель.

Помните, как мастерски описал Толстой путь Анны на вокзал в день трагедии? «Борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей» стало в эти часы ее *idée fixe*. Все встречные казались ей отвратительными, уродливыми и затевающими какое-то гадкое дело. Это — типичная черта демонического одержания. И причина одержания ясна: Анна жила во грехе, бросив мужа, совершив клятвопреступление, постоянно снедаемая подозрениями и муками ревности к Вронскому. Из такого состояния души есть два выхода: или глубокое раскаяние в содеянном и возненавидение греха, или — смерть. Раскаяние пришло, но в момент смерти. Последние слова Анны, уже под колесами вагона: «Господи, прости мне всё!»

¹ Солженицын А. И. Наука в пиратском государстве. — «Независимая газета», 1999, 3 июня.

² Померанц Григорий. В поисках свободы. — «Континент», 1999, № 100, стр. 341 — 342.

Вы полагаете чувство Анны к Вронскому «внезапным пробуждением женского сердца», просто чувством, прекрасным самим по себе. Но Толстой не случайно ведет в романе два женских сердца — Анны и Кити. Сердце Кити пробуждается Левиным на добро и жизнь. Сердце Анны — графом Вронским — на зло и смерть. И не случайно в их последней встрече Кити думает об Анне с любовью, а Анна о Кити — с ненавистью. Любовь бывает разная. Демоническая любовь эгоистична до самоистребления в ненависти, божественная любовь — жертвенна, до отдания своей жизни ради другого. «Моя любовь всё делается страстнее и себялюбивее», — думает Анна по дороге на вокзал. Она вовсе не жертвует собой ради любимого, она желает самой своей смертью досадить Вронскому и избавиться от муки греха. «Туда! — говорила она себе, глядя в тень вагона на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, — туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя». В таком чувстве нет ничего от «белого огня Божьей любви». Если уж на манер Цветаевой цветить огни, то это — черное пламя ада.

Желая подтвердить божественный источник любви Анны, Вы призываете имя другой одержимой страстью женщины, вспоминая Федру у Еврипида и Расина. Но две эти Федры — очень разные героини. «Федра» Расина — утверждение нравственного закона, о чем в предуведомлении пишет сам трагик: «Страсти изображаются с единственной целью показать, какое они порождают смятение, а порок рисуется красками, которые позволяют тотчас распознать и возненавидеть его уродство. Собственно, это и есть та цель, которую должен ставить перед собой каждый, кто творит для театра...» Федра Расина — жертва демонической страсти к пасынку, насланной на нее разгневанной Афродитой. Она предпочитает смерть позору и умирает не ради любви и любимого, но от стыда за свою любовь и желая хотя бы смертью победить ее. «Позор моей любви, позор моей измены меня преследует... Смерть! Вот прибежище от всех моих несчастий».

Еврипид, однако, тоньше Расина в изображении действительных чувств, их мотивов и последствий. Не случайно древние единогласно именовали его «философом на сцене». И его Федра борется с «внезапным пробуждением женского сердца» всеми доступными средствами, а отнюдь не следует за его порывами, как советует кормилица. Федра свое чувство полагает ужасным, а не прекрасным. «Несчастливая! Что я, что сделала я? / Где разум? Где стыд мой? Увы мне! Проклятье! / Злой демон меня поразил... Вне себя я / Была... бесновалась... Увы мне! Увы!» Если уж нельзя победить страсть, то хотя бы не выдать ее и умереть: «Я думала потом, что пыл безумный / Осилю добродетелью... И вот / Когда ни тайна, ни борьба к победе / Не привели меня — осталась смерть. / И это лучший выход. <...> Пускай для той проклятий будет мало / Со всей земли, которая с другим / Впервые обманула мужа».

Какая уж тут «Божья любовь»? Такая убивающая «личная страсть» — это мука кромешная. И пока Федра борется со страстью, она вызывает «пусть горькое, но восхищение» поэта. Когда же, доверившись кормилице, она раскрывает себя Ипполиту и отвергается им, то не «белый огонь» раскаяния, но месть входит в сердце Федры. Она умрет, но с ней умрет и тот, кто отверг ее страсть. Последние слова царицы — смертоносная клевета на пасынка, и, начертав их на дощечке, она зажимает ее в руке, повиснув в петле. Не высокая любовь-жертва и не страх беззакония, но демоническая страсть-месть, тот же черный пламень, что пожирал Анну, движет Федрой в самоубийстве. Можно ли назвать Федру Еврипида и Анну в последние минуты их жизни «благородными грешницами»? Если да, то в чем тогда благородство? Благородный человек не способен на месть, он ненавидит грех, он утверждает закон, а не попирает его. Вы же востоковед, Григорий Соломонович, и знаете, как дзюн-дзы, этот джентльмен конфуцианства, относится к закону — *ли* и как стремится он следовать «воле Неба». Не эти ли качества суть отличительные признаки истинного благородства?

«Род лукавый и прелюбодейный» называет Иисус Христос падшее человечество. Прелюбодейние оказывается в устах Спасителя не только именованием конкретного греховного недуга, но и сущностным качеством человека, ищущего не служения Богу и ближнему, но хищнического и беззаконного самоуслаждения за счет другого.

Борьба с беззаконием, следование божественному закону ведет к жизни, согласие на беззаконие — все равно Анны ли, подавшейся Вронскому после ее, как казалось, предсмертного раскаяния перед мужем, или Еврипидовой Федры, согласившейся на посулы кормилицы, — открывает путь в бездну небытия. Вы называете борьбу за закон, снедающий Федру до ее надлома и заставляющий Анну обнимать в предсмертной муке родильной горячки плешивую голову мужа и молить его о прощении, «вялым соблюдением закона». Бог Вам судия. По мне, в этом — великий апофеоз Правды над ложью, жизни над смертью, божественной любви над сатанинской страстью. И Толстой, и Еврипид блистательно запечатлели, что закон человеческий, всегда строго судивший прелюбодейние и наказывавший его обычно смертью, — всего лишь юридическая формализация абсолютного нравственного принципа, подобного известному «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом» (Откр. 13: 10). Если убийцу не настигает человеческий суд, его карает Бог. «Среди людей неизвестно ничего столь же вредящего благоденствию, как для мужчины в этом мире ухаживание за женой другого» (Законы Ману, 4, 134). Мы можем как угодно менять и смягчать наши человеческие законы, но абсолютную нравственную закономерность никто ни отменить, ни смягчить не в силах. Потому-то и избраны эпитафией к «Анне Карениной» страшные слова Божии: «Мне отмщение и Аз воздам».

«Да, уже целые тысячелетия, из века в век, из часа в час, из сердца в сердце передается всех и вся равняющий и единящий завет: *чти скрижали Синая*. Сколько раз человечество восставало на них, дерзко требовало пересмотра, отмены их велений, воздвигало кровавые схватки из-за торжества новых заповедей, в кощунственном буйстве плясало вокруг золотых и железных тельцов! И сколько раз, со стыдом и отчаянием, убеждалось в полном бессилии своих попыток заменить своей новой правдой ту старую как мир и до дикости простую правду, которая некогда, в громах и молниях, возвещена была вот в этой дикой и вечной пустыне со скалистых синайских высот!»³

Могут ли «в громах и молниях» возвещенные Моисею с высот Синая вечные и непреложные законы быть релятивными установлениями, «грех нарушения которых также простителен, как убийство на войне»? Грех убийства на войне, кстати, далеко не так простителен, как Вам кажется, по крайней мере в Библии и в христианстве, но не об этом сейчас речь. Не правее ли Вашей релятивизации закона эти слова, записанные Буниным после созерцания вершины Синая и скрепленные опытом «окаянных дней» русской смуты? «Чти Бога, Творца твоего», «не убивай», «не кради», «не лги», «не желай чужого добра», «не прелюбодействуй» — это не «доведенные до пустоты абстрактные принципы», но *сути*, на которых воздвигнут мир и при попрании которых он с неизбежностью разрушается, как дом, лишенный надежного основания.

Когда божественный глагол касается души художника, он, повинувшись гению совершенной гармонии и правды, всегда приводит законопреступника или к раскаянию, или к гибели, попросту потому, что таков абсолютный закон, порой скрываемый от нас в неполном нашем знании, но обязательно раскрываемый в поэтическом вымысле. Ведь и «Пир во время чумы» завершается не надменными рифмами гимна Чуме, которые вспоминаете Вы, но раскаянием и мольбой Вальсингама.

Таков суд над стихией законопреступной страсти, который, как Вы совершенно справедливо замечаете, является для меня моделью для суда над стихией

³ Бунин И. Воды многие. Соч. в 9-ти томах, т. 5. М., 1966, стр. 316.

революции. Впрочем, только ли для меня? В «Записках гадкого утенка» Вы пишете: «Но вот что отличает *нашу* революцию, и именно *нашу*, а не английскую или американскую: она попросту отменила нравственный опыт трех тысяч лет. Грешат все, но катастрофой была отмена самого понятия „грех“. Как ни страшно любое насилие, еще страшнее насилие „по совести“: „нравственно то, что полезно революции“... Оказалось, что никакая цель не оправдывает средств. Дурные средства пожирают любую цель... Средства важнее цели»⁴.

К этому добавить нечего. Никакой романтики, никакой поэзии в делах тех, кто провозгласил отмену нравственного закона, нет и быть не может, как не может быть романтики в преступлениях Чикатило или Джека Потрошителя. Единственные естественные чувства в отношении «стихий» их деяний — тошнотворный ужас и отвращение.

Впрочем, одна ремарка все же необходима. Большевики не отменили, да и не могли отменить нравственный закон, как не могли они отменить закон всемирного тяготения или законы термодинамики. Большевики лишь объявили эти законы не существующими и стали безжалостно преследовать тех, кто пытался соблюдать их. Они верили сами и убедили большую часть нашего общества в том, что никаких абсолютных нравственных законов нет, все релятивно и классово: мораль, закон, интересы, цели. Мерзкая жизнь и ужасная гибель большинства революционеров и тех, кто поверил им и сам отбросил посох закона, — лучшее свидетельство абсолютности установлений, возведенных Израилю с вершин Синая, индийцам — в откровениях древних смрити, китайцам — в правилах ритуала — *ли*, восстановленных конфуцианцами. То же, что случилось бы с человеком, объявившим, что он не верит в закон всемирного тяготения, и прыгнувшим с телебашни, случилось и с теми, кто разуверился сам и научил других неверию в нравственные установления, — самолично отмененный ими закон попросту расплющил их.

Вы абсолютно правы, когда пишете в воспоминаниях, что российская революция была *идейной и принципиальной* отменой нравственного закона. Весь смысл коммунизма был именно в беззаконии. Пожелать завладеть чужим имуществом — не добровольно пожертвовать свое, но силой захватить чужое — в этом главный побудительный мотив коммунистической идеи Маркса и одновременно принципиальное нарушение восьмой и десятой заповедей Моисеевых. Поскольку никто добровольно своего добра не отдаст, то революция призвала к уничтожению социально чуждых элементов, то есть, нарушая шестую заповедь, к насилию и убийству. Отмена и нравственного закона, и исходивших из него формально юридических установлений государства, убийство царя как «воплощенного закона», отмена всей истории страны были обязательны для строительства нового, вненравственного мира, и в этом — нарушение революционерами пятой заповеди «почитай отца твоего и мать твою». Стремление овладеть душой народа заставляло революционеров делать толпу соучастником своих преступлений, а потому лживо, нарушая девятую заповедь, сулить «мир народам, землю крестьянам и хлеб голодным», не думая ни минуты о действительном наделении землей, миром и хлебом никого, кроме самих себя.

Русская революция не наделила, но лишила людей имущества, конфисковав, в частности, уже на следующий день после переворота все земли страны, ввергла народы в бесконечные внутренние и внешние войны, явилась причиной неслыханного со средневековья голода, когда в 1921 году в Поволжье, в 1933 — 1934 годах — на Украине, в 1941 — 1942-м — в Ленинграде людоедство и трупоедство становилось почти что обычным явлением. Но все это или скрывалось, или извращалось новой ложью. Ложь всецело заступила место правды в десятилетия тоталитарной диктатуры. И наконец, никакой нравственный закон не может быть предан забвению, пока сохраняется в сердцах

⁴ Померанц Г. Записки гадкого утенка. М., 1998, стр. 307.

людей источник и виновник этого закона — Бог. Богоборчество стало с первых же часов знаменем русской революции и привело к такому сатанинскому разгулу, какого не знало еще человечество. Так была поправа первая, и главнейшая, заповедь о почитании Бога и Творца.

Напомню, что посприятие закона, тем более сознательное, идейное, неизбежно ведет к смерти. Войдя в стихию революции, поддержав партии, призывавшие к отмене закона (а таковы были и социалисты-революционеры, и социал-демократы — и левые, и правые, отличавшиеся в то время лишь тактикой, но не стратегией), наш народ головой бросился в бездну, совершил коллективное самоубийство. Слава Богу, нашлись люди, которые решили сопротивляться всеобщему беззаконию — одни молитвой, другие полемическим словом, третьи силой штыка. Блаженны те, кто сражаются за правду и жизнь доступными им оружием. Из них и возникло Белое дело. Помните стихи Ивана Савина, белого воина и поэта, о генерале Лавре Корнилове:

Не будь тебя, прочли бы внуки
В истории: когда зажег
Над Русью бунт костры из муки,
Народ, как раб, на плаху лег.

И только ты, бездомный воин,
Причастник русского стыда,
Был мертвой родины достоин
В те недостойные года.

И только ты, подняв на битву
Изнемогавших, претворил
Упрек истории в молитву
У героических могил⁵.

Белое дело было в первую очередь борьбой за закон, за Правду. Там, куда приходили во время Гражданской войны 1917 — 1922 годов белые войска, восстанавливался российский закон и порядок, действовали российские суды, административные учреждения и государственные власти. Правительствующий Сенат заседал в Ялте до последних дней белого Крыма, до ноября 1920 года. «Уничтожение большевистской анархии и водворение в стране правового порядка» неизменно ставилось на первое место в списке задач Белого движения⁶.

«Граждане, власть большевиков в Ярославской губернии свергнута. Те, кто несколько месяцев тому назад обманом захватили власть и затем, путем неслыханных насилий и издевательства над здоровой волей народа, держали ее в своих руках, те, кто привели народ к голоду и безработице, восстановили брата на брата, рассеяли по карманам народную казну, теперь сидят в тюрьме и ждут возмездия... Как самая первая мера будет водворен строгий законный порядок, и все покушения на личность и частную собственность граждан... будут беспощадно караться». С этого воззвания, в котором далее шло подробное указание о восстановлении губернской и уездной администрации, судов, земского и городского самоуправления, началось в июле 1918 года антибольшевистское восстание под руководством полковника А. Перхурова в Ярославле⁷. Подобных примеров десятки. Россия как бы вновь возникала там, откуда удавалось изгнать большевиков, и исчезала сразу же вместе с приходом красных армий. Окончательное же поражение белых, по верной интуиции Георгия Иванова, означало, что «в страшный час над Черным морем Россия рухнула во тьму».

При этом Белое дело отнюдь не являлось реакционным реставраторством старой России со всеми теми ее изъянами и язвами, которые и вызвали в 1917 году «наше национальное несчастье». Белые, как Вы знаете, были не-

⁵ Савин Иван. Мой белый витязь... М., 1998, стр. 25.

⁶ Деникин А. И. За что мы боремся? Б. м., 1919.

⁷ «Ярославское восстание. Июль 1918». М., 1998, стр. 97 — 99.

предрешенцами относительно будущего устройства России. Среди их вождей были такие убежденные монархисты, как барон Петр Врангель, и такие принципиальные республиканцы, как Лавр Корнилов или Евгений Миллер, но большинство даже не имели сформированных, продуманных политических воззрений. К последним относились и адмирал Колчак, и генерал Деникин. Всех их объединяло одно: «опомнившийся от революционного безумия народ» сам определит форму устройства Русской земли, но вакханалия незаконной должна быть прекращена немедленно, свободы и права граждан восстановлены в полном объеме, разграбленные имущества возвращены законным владельцам, убийцы — наказаны, оскверненные святыни всех религий освящены заново.

Это была отчаянная борьба немногих против большинства, но большинство, как Вы прекрасно знаете, далеко не всегда бывает право. Боровшиеся с революционным беззаконием вовсе не сражались за свои капиталы, заводы и фабрики. Они сражались за закон, за правду, за жизнь Отечества. Большинство белых бойцов, как и большинство белых мыслителей (Бунин, Бердяев, Евгений Трубецкой, Петр Струве), были вовсе не богатеями. Может быть, лучше других об этом сказал Антон Васильевич Туркул, кадровый офицер Русской армии и герой Белого дела. В бою за станцию Ямы был убит один из солдат его отряда, молоденький гимназист:

«Я сложил крестом на груди совершенно детские руки, холодные и в каплях дождя... Русский мальчуган пошел в огонь за всех. Он чуял, что у нас правда и честь, что с нами русская святыня. Вся будущая Россия пришла к нам, потому что именно они, добровольцы — эти школьники, гимназисты, кадеты, реалисты, — должны были стать творящей Россией, следующей за нами. Вся будущая Россия защищалась под нашими знаменами: она поняла, что советские насильники готовят ей смертельный удар. Бедняки офицеры, романтические штабс-капитаны и поручики и эти мальчишки-добровольцы, хотел бы я знать, каких таких „помещиков и фабрикантов” они защищали? Они защищали Россию, свободного человека в России и человеческое русское будущее. Потому-то честная русская юность, все русское будущее — все было с нами»⁸.

Безусловно, «не всегда были подобны горному снегу одежды белого ратника». Как Вы сами пишете, Григорий Соломонович, три года войны сильно ожесточили сердца, но все зверства белых не идут ни в какое сравнение с планомерным кошмаром красного террора. Красный террор был официальной политикой большевиков, был провозглашен Совнаркомом 5 сентября 1918 года. Массовый расстрел заложников «из буржуазии и офицерства», виновных только своим социальным положением при старом режиме, объявлялся законной мерой пресечения «малейших попыток сопротивления» советской власти. И не только объявлялся. По всей России сотни тысяч людей, как Вы знаете, были убиты самым ужасным образом как заложники, то есть, по определению, без суда и следствия, так как лично их не за что было судить даже советской власти.

После убийства председателя Петроградской ЧК, отвратительного палача и садиста Моисея Урицкого, «Красная газета», официальный орган Петроградского совдепа, возглавляемого Зиновьевым, писала: «Убит Урицкий. На единичный террор наших врагов мы должны ответить массовым террором... За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов». На следующий день: «Кровь за кровь. Без пощады, без сострадания мы будем избивать врагов десятками, сотнями. Пусть их наберутся тысячи. Пусть они захлебнутся в собственной крови!.. За кровь товарища Урицкого, за ранение тов. Ленина, за покушение на тов. Зиновьева, за неотмщенную кровь товарищей Володарского, Нахимсона, латышей, матросов — пусть прольется кровь буржуазии и ее слуг, — больше крови!» А уже через четыре дня та же газета с

⁸ Туркул А. За Святую Русь! М., 1997, стр. 74 — 75.

видимым огорчением сообщала в передовой: «Вместо обещанных нескольких тысяч белогвардейцев и их вдохновителей — буржуев расстреляно едва несколько сот». В действительности только по сохранившимся спискам в те дни в Петрограде было расстреляно до 900 заложников и еще 512 в Кронштадте. Факты можно приводить бесконечно⁹.

Среди белых встречались дурные люди, а среди красных попадались порядочные натуры, но и то и другое было *вопреки* целям этих двух сил русской Гражданской войны, так как цель белых была защита закона и Отечества, а цель красных — попрание закона при полном равнодушии к России. Первый путь вел к жизни. Второй, как это и всегда бывает при попрании закона, — к смерти. Результаты движения по первому из путей нам неизвестны — белые борьбу проиграли, но то, что второй путь привел наш народ к бесчисленным смертям, невероятным страданиям, полному культурному и нравственному вырождению, — очевидно.

«Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом... созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы», — говорил Бунин в 1924 году¹⁰. Не подтвердилась ли стократно правота его слов и в последующие десятилетия? Не подтверждается ли она ежечасно и в наши «посткоммунистические» годы нищеты и одичания? — *«По плодам их узнаете их»*.

Но Вы говорите, что средства важнее цели, что дурные средства уничтожают даже благую цель. У большевиков и средства были отвратительны, и цель гнусна — ведь не в «мир без нищих и калек», а в мировой пожар без Бога и Его нравственного закона обещали они привести человечество. А белые? Их цели были белы, нравственны, проникнуты любовью к России и уважением к закону. Но, может быть, средства достижения этих целей были уж так негодны?

Да, были эксцессы жестокой Гражданской войны, да, случались бессудные расправы над коммунистами и комиссарами, грабежи, насилия и даже убийства. Но террора как провозглашенной политики белых правительств, террора в отношении мирного населения не было нигде и никогда. Даже к заподозренным в шпионаже применялся суд и следствие, разумеется, по процедуре военного времени, и немало подозреваемых «отступали» в 1919 — 1920 годах вместе с белыми войсками в Крым и так и не успели быть приговоренными ни к какому наказанию к моменту эвакуации армии Врангеля. Красные освободили их из-под следствия.

Здесь можно говорить много, но я остановлюсь только на примерах, приведенных Вами. Со слов генерала Григоренко, который сам в ту пору был девятилетним ребенком, Вы пишете, что отряд полковника Дроздовского по пути из Румынии на Дон расстреливал все Советы. Современный историк Гражданской войны представляет картину несколько иначе: «Население встречало их как избавителей от местного большевизма. Из далеких сел присылали делегатов с просьбами навеститься, освободить их. Привозили связанными своих большевиков и совдеповцев — на суд. Он был коротким. Приговоров два: виновен — не виновен. Раз большевик — значит, виновен»¹¹. Жестоко? Быть может, но в это время большевики проливали моря крови, бесчинствовали по всей Украине и Новороссии, грабили и насильничали, то есть вели себя именно так, как только и могли себя вести принципиальные враги Бога и нравственного закона. Конечно, часть населения была с ними заодно, но другие

⁹ Литвин Л. А. Красный и белый террор в России 1918 — 1922 гг. Казань, 1995, стр. 63.

¹⁰ Бунин И. А. Публицистика 1918 — 1953 годов. М., 1998, стр. 150 — 151.

¹¹ Шамбаров В. Белогвардейщина. М., 1999, стр. 110.

страдали от бессилия перед этим злом, от страха за свою жизнь и честь и были рады-радешеньки отряду Дроздовского, приветствуя его как избавителя от «огня мирового пожара». И разве борьба со злом не есть благо? И разве большевицкие убийцы, грабители и насильники не заслуживали петли или пули, если за малейший грабеж мирных жителей Дроздовский и Корнилов вешали своих соратников?

Вот картинка, сохраненная Гольденвейзером, из жизни Киева под большевиками за два месяца до того, как отряд Дроздовского пробивался на Дон: «26 января, когда стихла канонада и в город вступили большевики, и в последующие дни нам было не до спокойных наблюдений и параллелей. Эти первые дни были полны ужаса и крови. Большевики производили систематическое избиение всех, кто имел какую-либо связь с украинской армией и особенно с офицерством... Солдаты и матросы, увешанные пулеметными лентами и ручными гранатами, ходили из дома в дом, производили обыски и уводили военных. Во дворце, где расположился штаб, происходил краткий суд и тут же, в царском саду, — расправа. Тысячи молодых офицеров погибли в эти дни. Погибло также много военных врачей — между ними известный в городе хирург Бочаров... Та же участь постигла доктора Рахлиса, недавно только возвратившегося из австрийского плена... Тогда же был самочинно, гнусно и бессмысленно расстрелян киевский митрополит Владимир... Были случаи вымогательства и шантажа под угрозой расстрела...»¹² Как прикажете Вы после таких подвигов, причем подвигов принципиальных, поступать с большевиками полковнику Дроздовскому?

Публичные казни в Ростове? Любая казнь отвратительна, но шла война, и казнь шпиона, приговоренного военно-полевым судом, — дело естественное. Вы сами пишете об этом в воспоминаниях. Иное дело — кровавая мясорубка ЧК, в которой гибли ни в чем не повинные люди. Здесь не просто различие масштаба зверств. Здесь — огромное качественное отличие. Казнь преступников российских законов и убийство этими преступниками невинных людей. Жаль, что А. В. Пешехонов, которого Вы цитируете, этого не понимал.

Никогда ни один из вождей Белого дела не писал ничего подобного ленинскому письму пензенским товарищам от 11 августа 1918 года: «1) Повесить (непреренно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. 2) Опубликовать их имена. 3) Отнять у них весь хлеб. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал... Найдите людей потверже. Ваш Ленин»¹³. И опять же красный главарь требовал публичного повешения лишь для устрашения, считая богатство крестьянина достаточной причиной для его казни.

Разве можно поставить в ряд с официальными директивами СНК о красном терроре в сердцах брошенную Колчаком фразу, что он повесит Блока. Уверен, что дойди адмирал до Петербурга, он не только пальцем бы Блока не тронул, но еще и денежное содержание ему определил. А вот Ленин Колчака тайно и бессудно убил, когда тот попал к нему в руки в начале 1920 года. Так же распорядился поступить он и со всеми министрами Верховного правителя.

Третий Ваш пример — убийство эсеров и меньшевиков, депутатов Учредительного собрания, находившихся в омской тюрьме. 23 декабря, после разгрома большевицкого восстания в Омске, офицеры вывели из тюрьмы восемь депутатов — заключенных и убили их на берегу Иртыша. Этот возмутительный факт самосуда сам Колчак рассматривал как попытку дискредитации его власти. Было начато следствие, выявлены исполнители. Поручик Барташевский и его сподручные, дабы избежать кары, бежали в Семипалатинск к ата-

¹² Гольденвейзер А. А. Из Киевских воспоминаний (1917 — 1921 гг.). — «Архив Русской Революции». Т. 6. Берлин, 1922, стр. 205 — 206.

¹³ Цит. по кн.: «Во власти Губчека». М., 1996, стр. 68.

ману Б. Анненкову¹⁴. Быть может, адмирал Колчак и не очень хотел доводить дело до казни исполнителей самосуда. Армия рассматривала эсеров и меньшевиков как революционеров, экспроприаторов и пособников большевиков. Знали, что они одобряют убийство царя. Подозревали их в связи с восставшими омскими боевиками. Но как бы там ни было, официально Верховный правитель всегда осуждал самосуд 23 декабря и называл его исполнителей преступниками. Для большевицких же вождей массовый террор был программной целью.

Особая тема — Гражданская война и еврейство. В зоне действий белых войск имели место погромы, на следующий день после занятия Дроздовским Ногайска на его улицах появились воззвания «Бей жидов!», Колчак, по воспоминаниям Гинса, зачитывался «Протоколами сионских мудрецов». Эти факты, разбросанные по Вашему письму, в действительности далеко не однозначны.

Вот мнение историка, тщательно изучившего жизнь и переписку Колчака: «Он патриот России, но национальный вопрос для него будто не существует... Ни слова осуждения в адрес какой-либо нации как таковой. Слово „еврей” встретим в его письмах один раз, да и то в речи японского самурая (известно, что, хотя в сибирском окружении Колчака бытовал антисемитизм, сам он был ему абсолютно чужд, а евреи в Сибири — политссылные тут не в счет — оказывали поддержку его режиму)»¹⁵.

«Протоколы...» действительно могли попасть на стол Колчака. Их в Белом стане читали тогда очень многие. Читали со сложным чувством. В кодекс русского интеллигента обязательным пунктом входил принцип, что антисемитизм позорен и неприличен. Помню, как меня в один день отрезвил отец, когда я из школы притащил какой-то скверный анекдот «про абрамчиков»: «Для культурного человека — это постыдно». Так воспитывались и Колчак, и Деникин, и Юденич, и большинство других русских интеллигентов, и военных и штатских, составивших потом основу Белого движения. И вдруг — в стане революции, в стане убийц, насильников, бандитов чекистов, среди главарей, продавших Россию Германии в позоре Брестского мира, глумящихся над Православной верой, Христом и Церковью, — в этом стане так много евреев. «Евреи были всецело на стороне большевиков, и большинство руководителей большевиков — евреи», — докладывал начальнику Операционного отделения германского Восточного фронта в марте 1918 года известный немецкий публицист Колин Росс¹⁶. Пусть это преувеличение, но по данным С. С. Маслова, написавшего интереснейшую книгу «Россия после четырех лет революции», «участие евреев в правительственных органах советской власти 33 — 40 процентов»¹⁷.

Советская власть, бандитски утвердившись в России, творила невиданные злодеяния и глумления над сотнями тысяч русских людей, и многим начинало казаться, что программа «Протоколов...» последовательно претворяется в жизнь «всесильным и циничным мировым еврейским правительством». Неужели это не фальшивка, а правда, неужели правы погромщики из «Союза Русского народа», а не наши родители, не наши учителя? Задаваясь этими вопросами, вчитывались интеллигенты в «Протоколы...» и, должен сказать, большей частью побеждали соблазн. К чести русской интеллигенции, ненависть к большевизму не была перенесена на народ, в силу ряда причин оказавшийся особенно к большевизму расположенным и даже кое-где русским за их прошлые грехи перед еврейством жестоко и сознательно мстившим (например, в киевской ЧК в 1919 году всех юристов, участвовавших в деле Бейлиса на стороне обвинения, расстреливали без разговоров).

¹⁴ Иоффе Г. З. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977, стр. 194 — 195.

¹⁵ Перченко Ф. Ф. О нем, о ней, о них. — В кн.: «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна». М., 1996, стр. 37.

¹⁶ «Архив Русской Революции». Т. 1. Берлин, 1922, стр. 289.

¹⁷ Цит. по кн.: Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 6. Берлин, 1928, стр. 147.

Скорее наоборот: многие русские испытывали ужас за грядущую судьбу богоизбранного народа, значительная часть которого, впад в революционное безумие, уклонилась в неслыханное богоборчество и беззаконие. И в этом немало правды. Думаю, что даже катастрофа Холокоста имела менее разрушительное влияние на душу еврейского народа, чем соучастие многих евреев в злодеяниях коммунизма. Богу угодней не тот, кто преследует, но тот, кого преследуют (Ваикра раба (Второзаконие), 27).

Командование Белых армий делало все от них возможное, чтобы не допускать погромы, Православная Церковь многократно возвышала свой голос о крайней греховности изуверств и национальной нетерпимости. Агитационные отряды печатали массу листовок и обращений, объясняющих недопустимость антисемитизма, и, наконец, многие погромщики были судимы и осуждены за свои преступления. Погромщиками большей частью были обыватели Юго-Западного края, зараженные традиционным антисемитизмом. Особым юдофобством отличались банды Махно, армия Петлюры. Не имея в тылу войск, Белая администрация не всегда успевала вовремя пресечь погромщиков.

«Опять еврейские погромы. До революции они были редким, исключительным явлением. За последние два года они стали явлением действительного бытовым, чуть не ежедневным. Это нестерпимо... Да, соборы нельзя переделывать и переименовывать в кинематографы „имени товарища Свердлова“, и убийство за одного Урицкого целой тысячи ни в чем не повинных людей есть чудовищная гнусность, но ведь какой-нибудь конотопский еврей не виноват в осквернении московских соборов, и ведь убивали-то за Урицкого все-таки русские матросы, русские красноармейцы, латыши, китайцы... Правительство уже не раз высказывалось и уже не раз действовало по мере сил и с успехом и с полной твердостью в этом духе. Еврейские погромы не его вина. Это вина части русского народа, и до сих пор еще распаляемого на всяческую братоубийственную рознь и всяческое озверение» — вот свидетельство честного современника¹⁸.

Вины Белых армий в погромах нет (хотя были, конечно, частные эксцессы). Белые сражались за то, чтобы ни русских «за товарища Урицкого», ни еврейских погромов не было, чтобы в хаосе бесправия и вседозволенности вновь восторжествовал закон. Белое движение не было антисемитским. И в рядах его сражались и умирали за возрождение России и латыши, и немцы, и евреи. Революция разделила Россию не национально и даже не классово (и дворяне, и крестьяне были по обе стороны фронта, в обоих станах, хотя и не в равных пропорциях) — *революция разделила Россию нравственно*.

Можно ли было в этом нравственном разделении оставаться «над схваткой»? Есть ли вообще *в этом мире* третья позиция «по ту сторону добра и зла», закона и беззакония? Думаю — нет. Представьте себе, что на Ваших глазах убивают Вашего отца, бесчестят Вашу жену, — разве сможете Вы оставаться «над схваткой» или «под схваткой», не знаю уж где? Уверен, что, забыв об ограниченности своих сил, Вы вступите в борьбу, потому что лучше погибнуть, защищая дорогого Вам человека, чем безучастно смотреть на его страдания и смерть. А для ратников Белого дела убиваемым отцом и насиуемой женой была сама Россия, над которой творили «советы» неслыханный разбой и беззаконие. «Смело мы в бой пойдем за Русь Святую и как один прольем кровь молодую», — пели белые воины, и их слова совсем не параллельны украденной и переименованной песне, в которой призывалось идти в бой «за власть Советов» и умереть «в борьбе за это».

Тот, кому дорога была Россия, Святыня, Бог и Его Правда, не могли оставаться над схваткой, когда одни беззаветно отдавали свои жизни за «Русь Святую», а их враги попирали все законы Божеские и человеческие, отменяя, как Вы сами пишете, саму идею «греха».

¹⁸ Бунин И. А. Публицистика 1918 — 1953 годов, стр. 30 — 31.

Вы приводите в пример Волошина. Но разве над схваткой был он в эти годы? Это он хотел быть «над», а был в схватке, в самом горниле ее. Он принимает приглашение большевицких хозяев Одессы украшать город к Первому 1919 года. «Я напоминаю ему, — пишет Бунин, — что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут непрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы, по ночам — непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ: „Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник”»¹⁹. Волошин знакомится с палачом Одессы, председателем городской ЧК Северным и восхищается им: «У него кристальная душа, он многих спасает!.. Это очень чистый человек». Потом на всякий случай бежит в Крым к белым на шхуне «Казак», но в качестве платы большевикам за свое избавление помогает проникнуть вместе с ним в Белый Крым трем агентам ЧК, за что и заслужил от них благодарность. Живет благополучно в Коктебеле, философствуя по поводу «северо-востока» и приветствуя большевиков, от которых его защищает еще в Крыму горстка белых воинов Русской армии Врангеля: «Нам ли весить замысел Господний?/ Всё пойдем, всё вынесем любя, — / Жгучий ветер полярной преисподней, / Божий Бич! приветствую тебя!»

Следуя своей привычке влюбляться в начальников Чрезвычайек, он посвящает Сергею Кулагину, руководителю ЧК 30-й Сибирской дивизии Красной Армии, занявшей 15 ноября 1920 года Феодосию, проникновенные строки (с плохими, впрочем, наспех сколоченными рифмами): «Пред вами утихает страх / И проясняется стихия, / И светится у вас в глазах / Преображенная Россия». По всему Крыму идет кровавая бойня. Около шестидесяти тысяч человек расстреляно, утоплено, убито самым зверским образом по приказу «освободителя» Крыма Бела Куна, а тут «свет в глазах» чекистского начальника. Какое уж тут «над схваткой» — это или нравственный идиотизм, или прямое сотрудничество с дьяволом. К чести Волошина надо сказать, что размах зверств вскоре заставил его замолчать на несколько месяцев, а потом начать писать нечто прямо противоположное восхвалению «Божьих бичей». Его «Красная Пасха», «Террор», «Бойня» — совсем другие песни, и опять же не над схваткой написаны они, но в сопереживании жертвам «преображенной России», хотя и тут не может он порой удержаться от того, чтобы одобрительно не похлопать по плечу Бога: «И из недр обугленной России говорю: „Ты прав, что так судил!”»

Не может быть позиции «над схваткой» в катастрофе Холокоста. Можно быть или с Гитлером и его приспешниками, или с жертвами Аушвица, с Янушем Корчаком и героями Варшавского гетто. Нельзя быть над схваткой и в нашем российском Холокосте. Позиция стороннего наблюдателя людских трагедий двусмысленна, если не порочна.

Одно из любимых Вами выражений, Григорий Соломонович, — «пена на губах ангела», то есть доброе дело, делающееся со страстью, с фанатизмом, с беснованием. Вы и на губах белых замечаете ключья пены. Но где и когда видели Вы среди людей бесстрастных воинов? В той страшной войне, быть может, навсегда погубившей нашу родину, за спиной воинов оставалось слишком много горя, чтобы сохранять холодную отрешенность: сожженные родовые гнезда, обесчещенные невесты, убитые дети, обкраденные до нитки старики родители, поруганные святыни, вздернутая на дыбу Россия. Я, признаться, поражаюсь не пене на губах, а выдержке белых, их нравственной высколленности, сравнительно редко опускавшихся до мести, и уж тем более до мести по классовому и национальному признаку — всем крестьянам, всем рабочим, всем евреям, всем латышам. Такого просто не было. Белые старались исправить своих заблудших соотечественников, красные — уничтожить. Вы сами приводите статистику из воспоминаний Петра Григоренко: «У нас в селе ЧК

¹⁹ Бунин И. А. Публицистика 1918 — 1953 годов, стр. 391 — 392.

расстреляла семь ни в чем не повинных людей-заложников, в то время как белые не расстреляли ни одного человека. Несколько наших односельчан побывали в плену у белых и отдавали шомполов, но головы принесли домой в целости»²⁰.

Вы не отрицаете героизма ни за красными, ни за белыми, хотя, на Ваш взгляд, и у тех, и у других «слишком много было пены на губах». Сами же предпочитаете героизму «праведность». Но что такое «герой»? В точном понимании греческого слова — это «сильный, благородный, знатный». Отец Сергей Булгаков указывает, что в культе героев или «полубогов» дохристианские народы предвосхищали почитание «богов по благодати», святых праведников²¹. Но между теми и другими есть одно существеннейшее различие. Языческий герой нравственно нейтрален, он сильный и на добро, и на зло. В нем ценят средоточие сил, не интересуясь ни источником этой силы, ни ее приложением самим героем. Христианский же праведник осуществил в себе образ Божий, обожился, стал подобен своему Творцу, абсолютному Благу. Сила праведника — благодать Божия. Могут ли быть героями те, кто сделал Бога своим главным врагом? Видимо — да, но героями вроде Тантала, Сизифа и прочих богоборцев древности. А уж праведниками называться они никак не могут. Тот же, кто отдал свою жизнь, защищая Бога, святыню и образ Божий в человеке, восстанавливая погранный закон и спасая обесчещенную родину, — тот и герой, и праведник, пусть даже и с неизбежной для нас, несовершенных, «пенной на губах». И вечная память им, белым праведникам, не оплаканным еще обеспамятствовавшей Россией.

Почему же не приняла Россия Белого дела? Почему пошла за красными? Почему до сих пор считает красных «нашими», а белых «чужими»? Это действительно трудный, тяжелый вопрос. Но без ответа на него нет возможности вылезти из нашей сегодняшней выгребной ямы.

Генерал Григоренко, которого цитируете Вы, не знает ответа. Вы полагаете, что «однозначного ответа и нет». Иван Бунин думал иначе. В 1924 году он говорил: «„Народ не принял белых...” Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа. Но, слава Богу, это не совсем так: *не* принимал хулиган да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут назад ворованное и грабленое»²². Жестоко? — Да. Тем более жестоко, что хулиганом и жадной гадиной да еще трусом, дрожащим над своим пока еще упитанным телом, оказалось большинство русских людей. Большинство не всегда право, Григорий Соломонович, и в те страшные и в прямом смысле судьбоносные для России года большинство из нас было глубоко не право, глубоко преступно. Не мир без нищих и калек, а зависть к богатым и жадность до их земли и добра заставили крестьян считать «своими» красных, позволивших грабить и расхищать чужое имущество, а не белых, восстанавливавших закон. Не «светлое будущее», а желание безнаказанно бежать с фронта к бабе и сохе заставило солдат стрелять в спину своим офицерам, а потом остервенело биться с золотопогонниками из страха даже не перед законом, а перед собственной совестью. Да стоит ли все перечислять? Наш народ убил Бога в своем сердце, потому что Бог был ему, хулигану и жадной гадине, бельмом на глазу в его бесчинствах и грабежах. Да, не все убили Бога. Но для немногих, «Его завет хранивших», настали десятилетия гонений, изгнанничества, крестных мук и слез, порой прерываемых то Антоновским восстанием на Тамбовщине, то восстанием 1934 — 1936 годов в Дагестане, то борьбой «лесных братьев» в Литве и Латвии в 1944 — 1956 годах.

И ныне правит нашей страной хулиган и жадная гадина, пираты и бессовестные циники, грабящие страну и безумно радующиеся тому, что нищий и

²⁰ Померанц Г. Записки гадкого утенка, стр. 357.

²¹ Прот. Сергей Булгаков. Православие. Париж, б. г., стр. 260.

²² Бунин И. А. Публицистика 1918 — 1953 годов, стр. 154.

полуголодный народ пребывает в прострации и астении, позволяя делать с ним все, что заблагорассудится. «Завтра будет то же, что сегодня, да еще и больше», — уверены новые хозяева, закабалившие Россию. — Этому народу ничего нельзя давать — все равно все проплет, потому возьмем сами все богатства России, все несметные сокровища ее».

Но таково состояние большинства россиян именно потому, что, сделав неверный нравственный выбор в 1917 году, мы до сих пор держимся за нашу ошибку, не прокляли ее, не раскаялись в ней, не изменили ума. Мы не почтили тех, кто защищал, пусть не всегда безукоризненно, правду и закон, и не встаем в их ряды, чтобы завершить восьмидесятилетнюю гражданскую войну победой Белого дела. И потому у нас нет Родины, нет памяти о предках, нет собственности, копившейся ими для нас, непутевых их потомков. Мы — Иваны, не помнящие родства.

Генерал Франко, о котором вспоминаете Вы, завершил испанскую «гражданку». Восстановил веру, закон, государство. В величественном храме среди гор Кастилии покоится прах героев их Белого дела. А рядом, вне стен, лежат и героини республиканской Испании. Их память не поругана. Но между белым и красным — порог храма. Где останки белых воинов нашей брани? Где храм, под сводами которого найдут вечное упокоение поруганный прах Корнилова, утопленный Кутепов, расстрелянный Колчак, сожженный в топке крематория Миллер, спящие на чужбине Деникин, Врангель, Туркул и бесчисленные сонмы иных праведников-героев? Когда возродим мы Россию, когда отдадим им, как ныне отдают израильские воины последним защитникам Масады, воинские почести? Пока они, последние защитники России, не станут нашими героями, проклятие Божие, которое навлекли на себя наши деды, будет тяготеть над нами, и никакие годы, никакие века не сотрут его. Мы сами сделали себя в том нашем выборе рабами сатаны и вот уже почти век пребываем в рукотворном аду, в петле Федры и под колесами поезда в Обираловке.

Нет ничего труднее раскаяния, но нет и ничего благоднее его. Экономисты, политики, праведы найдут оптимальные формы организации нашего будущего общества, но их проекты успешно воплотятся в жизнь только тогда, когда мы, изменившись, станем достойны будущего. Пока мы пребываем в нынешнем нашем состоянии, *будущего у нас нет*. Но человек властен над своей судьбой, ведь он — образ Божий. Не он детерминирован миром, но он детерминирует мир, ибо «где Дух Господень — там свобода».

Андрей ЗУБОВ.



МИР ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО



В РЕЖИМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Фрагменты из новой книги «Музыкальный запас. 70-е»

Вместо предисловия

«Я в музыке плохо разбираюсь...» — статистически преобладающее высказывание об искусстве звуков.

Между тем происходит повседневное превращение в музыку, непрерывное «выговариваемых», «вызвучиваемых» музыкой. Как будто многоканальный фонендоскоп прирос к нашим исторически реальному и исторически возможному, к опорным и дрейфующим ценностям и идеологиям, укладам социальных будней и стилям общения, к попыткам самоопределения и к опыту существования в режиме неопределенности...

В эту фонограмму слух невольно и безвыходно погружен. Уши фатально открыты звучащему, а звучащее всегда тут как тут — хотя бы в виде саундтрека телезаставок. Иммануил Кант в «Критике способности суждения» сдержанно возмущался, как воспитанный человек, столкнувшийся с неотесанным выскочкой: «музыке не хватает учтивости», «она навязывает себя». Жан Кокто легкомысленно куражился: «Осторожно!.. среди всех искусств только музыка крутится вокруг нас сама». Но, при всей обоснованности соответствующих оценок, педантичные разоблачения изменчивости погоды или веселые предостережения от неизбежного старения мало что меняют. «Поставить музыку на место» невозможно — просто потому, что, как пелось в старой песенке, «нет такого места».

Так что «плохо разбираемся» мы в том, что хорошо разбирается в нас. Да еще и неотвязно нас сопровождает — не то как тень, не то как внутренний голос...

На деле музыка понятна, даже когда непонятна (как и наоборот). Исчерпывающего понимания вообще не бывает (и абсолютного непонимания тоже). Понимание сводится к желанию понять. Одно понимать желательно, другое не желательно: проблема самотождественности.

Между прочим, разговоры вокруг понимания музыки начались только на исходе эпохи Просвещения. Прежде не понимать музыку никому даже в голову не приходило. Зато теперь сочинения, например, Жоскена Дебре (1440 — 1524) солидарно «не понимают» (с его младшим современником и таким же гением, живописцем Рафаэлем Санти, недоразумений почему-то нет).

У музыки сложные отношения с историей. Музыка не вполне совпадает с окружающим ее настоящим временем¹, потому что вполне совпадает с его смыслом². «Музыкальная современность» — скорее омоним, чем синоним современности внемузыкальной: звучит похоже, но «не то, что вы думаете». А как раз то, что не продумывается.

Чередниченко Татьяна Васильевна — музыковед и культуролог; доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, автор шести монографий по проблемам музыкальной истории и эстетики, а также современной массовой культуры. Постоянный автор и лауреат премии «Нового мира». Книга «Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи» готовится к печати в издательстве «Новое литературное обозрение».

Приходится осторожно предполагать: история — тоже не совсем то, что думается современникам.

Иногда музыка позволяет расслышать в режиме живого времени (а не реконструировать задним числом) «несовременную» тенденцию современности.

1970-е — как раз такой момент.

Момент не равновелик цифрам между календарными нулями. Он стягивается к 1974 — 1978 годам. Но и растягивается в окружающие десятилетия: вперед, в теперешние наши дни; назад, в XIX век и дальше, до совсем уж стародавних столетий.

Историческая память избирательна³. В XIX столетии в картине музыкальной истории доминировали факты, подпадавшие под объяснительную схему прогресса. Наиболее популярной была интерпретация, согласно которой «музыка вполне закономерно стремится ко все более определенно, более ярко проявляющемуся индивидуальному выражению; наконец, она достигла такого уровня, на котором, принадлежа к искусству духа, приблизилась к его крайнему пределу: она стремится изображать области душевной жизни так, как это может осуществить полностью лишь слово...»⁴. В XX веке порождением и подтверждением этой парадигмы стал авангард. А по аналогии с ним — вся история европейской композиции (и даже всеобщая история музыки).

Хотя схематизированные совокупности музыкальных фактов всегда так или иначе «правильны» (прежде всего в том смысле, что образуют поле, в котором возможны согласованные интерпретирующие суждения), из них может ускользать — если не бояться традиционного, но нынче размыто-пафосного слова — некая *правда*, настоятельно себя диктующая.

В 1970-е произошло ускользание правды из казалось бы уже до бесспорности правильно понятой истории европейской композиции. 1970-е растут на интерпретационном поле, дававшем щедрый урожай не менее полутора столетий, но считать его родной почвой отказываются; кажется оно им какой-то гидропоникой, а не землей. Творческая энергия, ранее питавшая «рост индивидуального выражения», уходит теперь в отводной корень, который нащупывает для себя «настоящую» землю, обетованную.

Когда закончился XIX век

Ян Сибелиус (1865 — 1957) или Сергей Рахманинов (1873 — 1943), Александр Гречанинов (1864 — 1956) или Александр Глазунов (1865 — 1936), помню, удивляли последними датами в биографических справках. На слух, в котором образ современной музыки формировали 1970-е, они казались авторами незапамятной эпохи, не знавшей телефона, иприта и борьбы двух систем.

В 1970-е в «продвинутых» музыкальных кругах имела хождение шутка: «Родион Щедрин — это Кабалевский XX века». Если вычесть саркастическую оценку творчества обоих композиторов, в остатке получится представление, еще и теперь типичное для профессионального музыкального сознания: есть «истинно современное» творчество, а есть «мусор современников». Невозможность причислить к последней категории наследие Рахманинова или Сибелиуса как раз и заставляла бессознательно относить время жизни этих композиторов в архивное прошлое.

«Истинно современная» музыка понимала себя как историю, а историю — как становление целевых альтернатив настоящему, как сплошное движение в будущее⁵. Для систематического предвосхищения будущего была избрана стратегия акустической очевидности: регулярные реформы композиторской техники. На технику композиторского письма легла ответственность уже не столько за отдельное произведение и его уникальный художественный образ, сколько за глобальную тенденцию самодвижения музыки, за ее совокупное высказывание о грядущем. Техническое «как» подменило «как» эстетическое, а заодно взяло на себя функции исторического «куда». Вот дополняющие друг друга авторитетные свидетельства: «100 — 150 лет назад кри-

терий значимости произведения мог не совпадать с его техническим устройством. Говорилось лишь о таланте и бездарности. В XX веке все показалось измеримым и объяснимым»⁶; «Произведения стали моментами или стадиями исторического процесса, в котором методы существеннее, чем результаты»⁷.

На историзированной почве порой расцветало новое эстетическое качество: непреходящая начальность. Свежесть свободной атональности до сих пор переживается в монодраме Арнольда Шёнберга «Ожидание» (1909), и не только в сравнении с сочинениями Густава Малера (1860 — 1911) или Рихарда Штрауса (1864 — 1949), от которых Шёнберг отталкивался, но и в сравнении с самим позднейшим Шёнбергом и его последователями. Да и без всяких сравнений — переживается. Пуантизм в Симфонии (ор. 21; 1928) Антона фон Веберна и теперь звучит как «иное или слишком иное» (Ал. В. Михайлов), хотя эту технику изучают в консерваторских классах. Впрочем, профессиональный слух в подобных случаях легко примиряет первозаповности и историческую тенденцию. Более того, особо вросшим в ментальную ситуацию «истинно современной» музыки первое интересно лишь постольку, что есть второе.

Но в общем, несмотря на великие образцы «вечно начатого», техника композиции превратилась в перемещаемый по мере продвижения указатель «прямо, без остановки». Указатель не только для самой музыки, но и для цивилизации. Казалось, что на партитурной бумаге решаются судьбы мира. Отсюда — небывалое культурное самонимение авангардистской композиции, чистосердечно непропорциональное весьма узкому обществу к ней интересу.

Впрочем, общественный интерес или его отсутствие не есть критерий значимости музыкальных поисков. В 1878 году Рихард Вагнер писал: «Каждый оперный режиссер хотя бы раз в жизни занимается переделкой „Дон Жуана“ в духе времени, тогда как всякий рассудительный человек должен был бы сказать себе: не „Дон Жуана“ нужно сообразовывать с нашей эпохой, а нам самим — меняться, чтобы прийти в согласие с творением Моцарта!»⁸

Дело новой музыки — обозначить предвидимое *Иное*. Парадокс состоит в том, что для предвидимого *Иного* не хватило очевидных (воплощенных в обновленной технике) «иначе». История проглотила собственные футурумодели. В 1970-е неожиданно возникает *Иное Иного*, отказавшееся от исторической проективности.

Моцарт тут остается в стороне. Хотя его творчество и размещается в том культурном пространстве, в котором развернулась гонка за ожидаемым *Иным*, художественный мир автора «Дон Жуана» о власти истории, власти над историей или о свободе от истории еще ничего не знал. Проблему породил XIX век.

Необходимость опережать самое себя (не говоря уже об окружающем) привела к двойному эффекту: быстрой смене систем сочинения и быстрому их эстетическому и историческому исчерпанию. Те композиторы, которые начинали радикальными новаторами, но не меняли технических принципов (иногда просто не успевали), через десятилетие-два попадали в категорию либо классиков, либо академистов, либо даже «мусора современников».

Статус классики задается постоянным присутствием произведений в концертном репертуаре, а также литературой о музыке, предназначенной внецеховому читателю. Академизм — это признание в профессиональной среде, когда композиторское наследие служит ориентиром, но сравнительно редко выходит к широкой аудитории.

Из модернистов, заявивших о себе в первой половине века, концертный репертуар выделил в качестве классиков Александра Скрябина (1871 — 1915), Игоря Стравинского (1882 — 1971), Сергея Прокофьева (1891 — 1953), Дмитрия Шостаковича (1906 — 1975). Реже исполняются, но окружены почтением пишущих о музыке Карл Орф (1895 — 1982), Бела Барток (1881 — 1945), Арнольд Шёнберг (1864 — 1951), Альбан Берг (1885 — 1935), Антон фон Веберн (1883 — 1945), Оливье Мессиа́н (1908 — 1991).

Другие довоенные авангардисты — Пауль Хиндемит (1895 — 1963), Бенджамин Бриттен (1913 — 1976), Артур Онеггер (1892 — 1955), Золтан Кодай (1882 — 1967), Николай Мясковский (1881 — 1950) — ныне авторитетные академисты.

Такая же кристаллизация, только ускоренная, случилась с поколением родившихся в конце 1920-х и в 1930-е годы. Вызывавшая яростные споры в 1960-е, музыка Альфреда Шнитке (1934 — 1998), Софии Губайдулиной или Кшиштофа Пендерецкого (род. в 1933) к 1990-м стала престижным реквизитом всякого уважающего себя фестиваля. Премьеры новых сочинений названных авторов — не просто премьеры, а мировые премьеры; приезды Пендерецкого в Россию в 1990-х из просто событий выростали в новости первой строкой.

Наследие других прежде спорных новаторов, например выдающегося советского авантюра Эдисона Денисова (1929 — 1996) или его друга, некогда лидера послевоенного французского авангарда, крупнейшего дирижера Пьера Булеза (род. в 1925), превратилось в профессорский академизм, в то, чему учат в классе сочинения и в чем можно быть тривиальным, сохраняя благородную осанку эстетической пристойности.

С 1970-х не появилось ни одной новой технической системы. Авангард стал «Сибелиусом» наших дней (если даже не коллективным «Кабалевским»). Впрочем, Сибелиус (а возможно, и Кабалевский) потихоньку обрастают неким подобием актуальности, поскольку свобода из содержания исторического процесса превращается в свободу *от* исторического процесса. *Становление Иного* останавливается на *расстановке* уже существующего, *освоенного*, в точном соответствии с корневым смыслом слова «свобода» (svobъ от svojъ).

Культурный стандарт *расстановки* Клод Леви-Строс описывал как логику бриколажа, оперирующую «остатками психологических и исторических процессов», обломками некогда полезных предметов, которые находятся под руками. Между изъятыми из истории знаками бриколёр устанавливает аналогии по не задействованным ранее признакам («по размеру, по яркости цвета, прозрачности»), но вне соответствия с тем дискурсом, которому они служили. Аналогия вносит содержание, «приблизительно одинаковое для всех... она действует как калейдоскоп, с помощью которого осуществляются структурные размещения»⁹. За счет неисчерпаемости вариантов размещения «осколки» и «обломки», вопреки исходному статусу исторического хлама, становятся полноценно бытийствующими величинами. В конечном счете «логика размещения» побеждает смерть.

«Дороги нет, но надо идти вперед» — так названо одно из последних сочинений итальянского авангардиста Луиджи Ноно (1924 — 1990). Двадцатиминутная пьеса для большого симфонического оркестра состоит из единственного звука *соль*, который интонируется с отклонениями от камертонной высоты: в четверть тона, треть тона, одну восьмую тона и т. д. Из разных *соль* складываются вертикальные комплексы — подобия аккордов, квазимелодические фигуры, тембрововысотные пятна... Когда в конце опуса оркестр сходится в унисоне, это простейшее звуковое событие кажется ослепительно неожиданным обретением. Дороги нет (от единственного звука к нему же), но она пройдена.

Между прочим, начинал Ноно как вебернианец, то есть с 12 звуков, которые не могут повторяться в теме сочинения.

В нынешней композиторской ситуации «унисон» еще не прозвучал. Но уже нащупывается: многие думают, что музыка — на пороге некоторого единого стиля¹⁰, в котором, возможно, оригинальное авторское начало не будет играть первенствующей роли¹¹.

Между тем на музыкальном рынке ревизия авторства произошла уже давно. Деньги оказались авангарднее идей. В концертной индустрии общественное внимание сосредоточено на звездах-исполнителях.

Такое уже случалось — например, в XVIII веке, когда в рецензиях на оперные премьеры обсуждались либреттисты и певцы, о композиторах же не вспоминали; их как будто не было (зачастую и вправду композиторов не было — были «составители», «подборщики» музыки)¹².

Концертная жизнь неплохо обходится без нового, если не считать таковым свежие исполнительские имена, появляющиеся благодаря дорогостоящей технологии «раскрутки». Рынок имен, промоция художественно-торговых марок есть экономическая версия вариаций на один звук, в роли которого выступает сегодняшнее общезначимое — известность, приносящая деньги.

Попса (не только популярная легкая музыка, но все, что сегодня втянуто в концертную индустрию) — вольноотпущеница истории. Как свойственно либеральным рабам (вспомним латынь: *libero* — «отпустить на свободу», *libertinus* — «вольноотпущенник»), она третирует бывшего господина — передает историю решительно-бездумному забвению или унижительному использованию.

Преодолевать историю — другая свобода.

Конечно, не об отказе от истории и не о возвышении над историей идет речь. Это было бы очередной одиозной утопией. Речь идет о попытке выхода из некоторых социальных конвенций (например, связанных с самостоятельным развитием техники), которыми в идеологии и политической практике Нового времени обросло понятие истории — обросло настолько, что его собственных контуров чуть ли уже и не видно. Да и контуры упомянутых образцов в последнее время нарастают: в них заметны уплотнения, очаги с измененной генетикой. Возникают не слишком приятные аналогии с дисфункциональной конфигурацией злокачественной ткани¹³. В современной онкологии точечные генные воздействия по разным причинам большей частью неприменимы. Цитостатики же накрывают весь организм, тормозят рост всех клеток, в том числе и вполне здоровых. Иногда помогает. Вот и музыка пост-авангарда¹⁴ обращена не столько к отдельным социальным конвенциям, сколько к подразумеваемой их генеральной конвенции Нового времени — социоцентризму.

Социоцентризм и «прямосознание»

Авангарду была свойственна любовь к историческим прямым. Предшествующая музыкальная история вытягивалась в линию-стрелку, указывающую на новации XX века.

В «Лекциях о музыке» (1933) Антон Веберн говорил о своем учителе, изобретателе додекафонии Арнольде Шёнберге: «К новой музыке, какую ее создал Шёнберг, прямо вело не только развитие и все более широкое освоение звукового материала, но и эволюция в области форм...»¹⁵ Вслед за Веберном «прямохождение» музыкальной истории увлеченно описывали (доводя его до «своих» десятилетий) Карлхайнц Штокхаузен (род. в 1928), Альфред Шнитке и многие, многие другие.

«Прямосознание», впрочем, ни в коей мере не было авангардистской сенсацией. Удивительно, какой предустановленно-необратимой видится история европейской музыки вот уже более двухсот лет начиная со «Всеобщей истории музыки» биографа И. С. Баха Иоганна Николауса Форкеля (1788)! Идет ли речь об истории композиции в целом или об истории отдельного жанра, системы письма или школы, создается впечатление, что эту историю сочинил Бетховен — настолько последующее связано с предыдущим, до такой степени все вытекает из «головного мотива», что бы в его роли ни выступало.

Необратимость-необходимость историко-музыкального процесса представляется абсолютной, оценки же его направленности относительны. До недавних пор господствовала вера в то, что процесс «прогрессивен». Авангардисты в это верили безусловно. Традиционалисты — с оговоркой: мол, все шло хорошо, вот только авангард «зарвался». Логического права на такую оговорку представление об исторической прямой не дает. Если «зарвался» авангард, значит, и прежде дело шло не так уж хорошо.

Кажется, первым (и едва ли не единственным), кто усомнился в аксиоме необратимости-непрерывности музыкального развития, был Карл Дальхауз

(1928 — 1989). Единство исторического процесса означает единство субъекта этого процесса, рассуждал Дальхауз. Но как раз его-то в музыке и нет. Смен субъекта развития наблюдается немало. Их можно заметить в том, через призму каких категорий объясняли музыку в разные века¹⁶. «Вряд ли непрерывная процессуальность является необходимым условием исторического описания. Скорее следует присоединиться к З. Кракауэру и Г. Р. Яуссу, считающим, что ориентация историков на непрерывность связана с романтической тенденцией, с техникой повествования в квазиисторических романах Вальтера Скотта»¹⁷.

Какого бы происхождения ни были эволюционные или инволюционные прямые — романического или социально-утопического, они трудно согласуются с фактами. Например, микрохроматика, выглядящая в схемах развития музыкального мышления как последнее достижение европейского прогресса, испокон века была известна в Индии или Японии, да к тому же в массе вариантов (звукоряды строились не только из четверть-, но и третьтонов и из других микроделений тона)...

Тут можно возразить: фактов всегда больше, чем нужно, и потому приходится выбирать одни, оставляя без внимания другие. Это неоспоримо. И можно было бы до бесконечности пикироваться фактами, если бы не два простых вопроса.

Первый вопрос — логический: как примирить историческое «прямосознание» с категорией нового? Ведь лишь на первый, поверхностный, взгляд они хорошо сочетаются, органично подразумевают друг друга. А уже на второй и все последующие взгляды видим: новое — по определению — *начало*, а не продолжение. Между тем каждая следующая точка исторической прямой *продолжает* единую линию. Так что если говорить о необходимо-необратимом процессе, в нем не будет новаций. Если же говорить о новациях, не будет непрерывной процессуальности...

Вопрос второй: признаём ли мы, что для того, чтобы творить историю как непрерывность, необходимо помнить прошлое? Если признаём, то обязаны отказать музыкальной истории в непрерывности до самого конца XVIII века.

Ведь долго не существовало даже понятия «история музыки»¹⁸. Музыка делилась на современную и легендарную (в последнем качестве выступало и пение ангелов, и музицирование Орфея, и игра на флейте Пифагора). Конкретные очертания прошлого обретало очень постепенно. Иоанн Тинкторис в 1475 году «помнил» только сорок последних лет композиции. Джованни Баттиста Дони в 1635 — 1647 годах охватывал два века знаменитых в свое время авторов. Но трактаты трактатами, а еще в XVIII веке в Европе слышали главным образом современный репертуар: музыка прежних эпох не исполнялась.

Это было связано, во-первых, с отсутствием в музыке античного пантеона, который составлял обязательную классику в других искусствах (существовали только выписки из античных авторов, которые исправно цитировались все Средние века, но эти фрагменты большее отношение имели к числам, космосу, устройству государства и этическим нормам, чем к практическому музицированию).

Во-вторых, музыкальную жизнь структурировала система патронажа и меценатства. Исполнение музыки приурочивалось к конкретным событиям из жизни церкви и знати. Служившие в соборе или при дворе композиторы обязаны были отрабатывать свой хлеб, поставляя новые произведения. Как правило, сочинения (кроме опер) не исполнялись дважды. Для наследия же предшественников в музыкальной жизни и вовсе не хватало времени.

Помнить прошлое не только в книгах, а и в повседневном репертуаре стали лишь в XIX веке, благодаря институту публичных концертов (их программы уже не подчинялись меценатам — заказчикам новых произведений). Одна из первых ярких констатаций наличия «репертуарной» музыкально-исторической памяти — исполнение в 1829 году Феликсом Мендельсоном-Бартольди «Страстей по Матфею» И. С. Баха, вызволившее имя Баха из полувекового

забвения. Между прочим, Мендельсон прослушал лекции Гегеля по эстетике. Уж не философия ли историзма воплотилась в мемориальной концертной политике?

Во всяком случае, Бах и его предшественники прорвались в «современный» горизонт, а музыковеды освоили множество конструкций исторической памяти: от наивного прогрессизма до шпенглеровских схем расцвета и упадка отдельных национальных школ и композиторских эпох, до учения о последовательности стадий мирового развития музыки, соответствующих экономическим формациям.

Композиторы с готовностью «поверили» историкам: быть звеном предполагаемой всемирно-исторической необходимости — это ведь как знак почета, а заодно и алиби для любого творческого произвола. История музыки в XIX — XX веках в самом деле *стала* непрерывной.

Но до этого поворота... Всякое нововведение можно объяснить предшествующим накоплением тенденций, а еще лучше — «духом времени», вбирающим в себя любые конкретные тенденции. Результат, уж конечно, будет внушительнее, чем при поисках нового на «пустом» месте, где оно оказывается какой-то мелкой, унижительной случайностью, из которой извлечены непропорционально крупные последствия.

Однако факты позволяют заключить: новое до 1910 года (условная дата начала «истинно современной» музыки) не росло из корня предшествующих находок. Оно прививалось к историческому стволу черенками эстетической провинции или нивозой культуры, где жило себе незамеченным испокон века. Музыка действовала по-мичурински, обновляя культуру дичками, экзотическими или вышедшими из употребления сортами. Исторический ствол музыки образовало переплетение таких привоев¹⁹. Единство же корней и кроны создавалось апостериори, в сознании последних двух веков.

Когда в 1970-е разгорелся спор: есть ли еще в композиции последнего десятилетия, открывшейся навстречу сырой случайности и окружающему фону (в хеппенинге, в коллажах с использованием радиоприемников и т. п.), авторское автономное произведение, или надо говорить о крушении эстетики «мира для себя самого» (Вакенродер), бросились искать исторические константы, которые «продлили» бы идеалы XIX века за новый перевал.

Самые широкие константы нашел Ханс Хайнрих Эггебрехт (1919 — 1999). Опус-музыка — это «тип творчества, который в противоположность первичным фольклорным и неевропейским формам (с которыми опус-музыка вступает в спор), а также тривиальному и прикладному творчеству (которое ею питается) стремится к власти так же, как в ней самой властвует Ratio»²⁰.

«Воля к власти», которой Эггебрехт награждает европейскую композицию в целом, требует такой же редактур, как непрерывность-необратимость европейской музыкальной истории. Музыкально-символические числа в старых мессах — не та же самая рациональность, которая потрясает и чуть ли не подавляет в построении бетховенской формы. Да ведь и смешно представить, как английский фобурдон, этот простонародный недоучка, сидит столетие или больше на своем острове, страдает от изоляции и мечтает о подчинении континентальных музыкальных умов (а ведь заимствование провинциально-бедной манеры пения параллельными аккордами, пережив ряд схоластических преобразований, породило главную в передовых музыкальных странах XV — XVI столетий полифоническую технику хоровых месс — так называемое строгое письмо). Но зато творчеству XIX века (и позже, до 1970-х) инкриминировать некоторую дозу нищестанства можно.

Со времени Бетховена на недавно (в XVIII столетии) выстроенный концертный подиум музыка выставляет харизматически-путеводные фигуры: «гения» — в высоком искусстве, «звезду» — в музыкальном бизнесе. Эти персонажи совсем не то, что «образцовый кантор» или «совершенный капельмейстер» (приведены типовые названия учебных руководств XVII — XVIII веков). «Ге-

ний» и «кантор», «звезда» и «капельмейстер»: пары слов подразумевают разную этику, стилистику и статистику музыкальной жизни.

Демократизм общедоступных концертов формировал новое слышание, включавшее обязательное *эхо зала*. Задача произведения, в которое заложено эхо зала, — *привлекать внимание, выделяться*. Она вступает в двусмысленный и весьма пластичный компромисс с прежней задачей — *пиететным служением* (у алтаря или трона).

Выделяться — быть новым, и не вообще новым, а в конкурентном режиме — в сравнении со старым. Сцепления «более старого — менее старого — менее нового — более нового» образовали непрерывную линию исторического позиционирования музыкальных идей, техник, авторов и школ.

Из-за инкорпорированного в музыкальный язык эха зала музыкальное XIX столетие не смогло остановиться — завершиться в отведенный ему календарный срок. Оно продолжилось в следующем веке. Проекцией осуществившегося анахронизма являются глобальные исторические прямые, которые музыкознание по инерции чертит до сих пор. В самой музыке «прямая» давно уже демонстрирует поучительную кривизну.

«Да!»

В 1920-е французские новаторы мечтали об оркестре «без ласкающего тембра смычковых». К 1960-м повсеместно вошли в обычай оркестры из одних ударных... В 1930-м году Теодор Адорно угадывал в благоговейно-чутких паузах Веберна «отдаленное эхо Вердена». В «Sinfonia robusta» (1970) Бориса Тищенко (род. в 1939) в финале раздается (в акустике филармонического зала совершенно оглушительный) выстрел из самого настоящего пистолета... «Два самых характерных звучания музыки Шостаковича — медленные мучительные размышления и катастрофические кульминации» (В. Н. Холокова). «Мир — это система ужаса, но мыслить мир как систему — это значит оказывать ему слишком много чести, потому что... суть мира — это несуть»²¹.

Еще недавно музыка настраивалась на хорошо темперированное «нет!».

«Нет!» — всевозможным оковам. Но получилось что-то вроде «клин клином». Главные итоги авангардистских деструкций традиции: звук (субъект музыкального движения) превращается во «всё» (не только в шум, но в жест, картинку, запах, осязаемый предмет, виртуальный концепт); форма (система пределов, в которых движется звук) нестационарно начинается и заканчивается, все функциональные позиции в ней переменны. Первое можно понять как торжество личной инициативы, отрицающей любые пределы. Второе моделирует произвольное полагание пределов.

Диалектическое столкновение обеих либерально-индивидуалистических экстрем произошло в «Структурах» (1952 — 1961) Пьера Булеза, «Группах» (1957) Карлхайнца Штокхаузена, «Вариантах» (1956 — 1957) Луиджи Ноно. Перечисленные сочинения — совершенные образцы всепроникающей организации, в основу которой положен чистый произвол²². Свобода, во имя которой воздвигался огромный храм музыкальной «нет-героики», в них абсолютно и исчерпывающе осуществлена. По инерции после «Структур», «Вариантов» и «Групп» базилику свободы продолжали достраивать — добавляли лепнины на фасаде, колонн при входе, наращивали башенки. Но в несущих конструкциях для новых «нет!» уже не было места.

Более того, выяснилось, что в ходе строительства в чертежи вкралась ошибка, и выстроили на самом деле большое «да!». Получилось, как в акции Джона Кейджа (1912 — 1992) для трех музыкально препарированных поездов, озаглавленной «В поисках утраченной тишины» (1979): гремя на стыках (к колесам прикреплены звукосниматели), едут три железнодорожных состава, плотно набитые пассажирами, которые, в изнеможении от производимого ими шума, неустанно поют, играют на инструментах и слушают радио. Цель, объявленная в названии проекта, фатально не совпадает с тем, во что вылива-

ется осуществление проекта. Вагоны и люди паузируют (то есть находят тишину) в моменты остановки поездов согласно железнодорожному расписанию (то есть как раз за пределами инициированных композитором активных «поисков тишины»)...

«Структуры» Булеза, «Группы» Штокхаузена, как и кейджевские гремучие поезда, отправившиеся за тишиной, могут озадачивать, эпатировать, кому-то покажется даже, что грозить и пугать. Но внутренне они невозмутимы. Они ничего не отрицают. Они колоссально-утопичны, но спокойны и холодны.

Первейший признак обозначающего «да» — незаинтересованность в ответе. «Структуры», «Группы», «Варианты» — очевидно не-диалогические названия. А ведь когда кричат «нет!», ждут аффективного ответа. Для классического авангарда характерны взывающие, кричащие, ожидающие ответа имена и сюжеты сочинений: «Уцелевший из Варшавы» (кантата Арнольда Шёнберга, 1947), «Плач по жертвам Хиросимы» (оратория Кшиштофа Пендерецкого, 1960)... И сама непонятность авангардистской музыки рассматривалась как своего рода воззвание: непонятное выступало в роли понятного — протеста против массовой невостребованности подлинного. Но постепенно непонятное-шок, непонятное-вызов трансформировалось в непонятное-данность. Данность уже по этимологии своей исключает «нет!» и, напротив, включает «да!».

В 1965 году Стравинский иронизировал над индифферентным звучанием новейших сочинений: «...я с величайшим нетерпением жажду услышать беззвучные „Флуктуации“ Торкеля Сигурдйорнсена... „Испарения“ и... „Продолговатости“ сеньора Кагеля или... „Происшествия“ г-на Лигети. Надеюсь только, что все это будут творения первоклассной длины»²³. «Первоклассная длина» (полтора, два, три, четыре часа — против типовых авангардистских десятиминуток) появилась позже. В середине 1960-х тенденция, которую обнаруживают названия сочинений, саркастически подобранные Стравинским, только намечалась и потому могла казаться достойным осмеяния случайным поветрием.

Дело шло к «Обретению абсолютно прекрасного звука» (приметное название одного из сочинений Владимира Мартынова, род. в 1946). Трагические столкновения, на которых держался образный мир Г. Малера и Д. Шостаковича (и продолжателя их симфонизма А. Шнитке), диссонантность отчаяния в оркестровых драмах А. Шёнберга или операх А. Берга, кричащий шок шумовой музыки и кромешное неблагозвучие конкретной музыки, холодный абсурдизм хеппенинга — все это в конце концов ушло, отпало, растворилось. Отчаяние и смятение уступили место если не хвалю, то спокойствию. Не комфортно-комфортное, а отрешенно-сосредоточенное, но все же «да!», а не «нет!».

В 1970-е возникает новое базовое переживание, новый тон настройки творчества и восприятия: не служение, не привлечение внимания, а *вовлеченность в...* Аксиомой становится отсутствие субъект-объектных отношений: как если бы созерцатель пейзажа не любовался рощей или рекой с пасторальным умилением горожанина, а непосредственно присутствовал в этом пейзаже, был в него включен — в том числе и своим сознанием. Посыл вовлеченности в бытие размещает «послания» композиторов в онтологическом реестре; собственно, эти «послания» уже и не авторские сообщения, не индивидуально отмеренные дозы неповторимой информации, а непосредственно *события бытия*. Поскольку же бытие, во-первых, заслонено рутинными событиями жизни, а во-вторых, само по себе не ухватываемо, то композиция, базирующаяся на переживании вовлеченности, занята *сочинением событий бытия*, или, иначе говоря, *провоцированием бытийной событийности*.

У каждого из принявших этот риск и шанс мастеров авангарда перелом от «нет!» к «да!» совершался по-своему. Одни переживали депрессию, чуть не закончившуюся суицидом (Карлхайнц Штокхаузен). Другие на годы уезжали в деревню (Арво Пярт, род. в 1935). Третьи спешили подчинить музыку первому попавшемуся реальному позитиву (Ханс Вернер Хенце, род. в 1926, в середи-

не 1970-х вдруг ненадолго заделался музыкальным последователем русских народников). Четвертые откладывали в сторону партитурную бумагу и погружались в изучение канонических традиций (Владимир Мартынов)...

Еще в 1950 — 1960-е годы без всяких кризисов — легко, щедро, лихо — трансформировали музыку в данность бытия экстравагантные изгой композиторского сообщества, мастера интеллектуально-балаганного жеста — Маурисио Кагель (род. в 1931) или Джон Кейдж. Знаменитая «молчаливая» пьеса Кейджа «4' 33"» есть не что иное, как провокационное зияние, втягивающее в себя каждого находящегося в зале: издаваемые слушателями шумы, от поскрипывания кресел в ситуации напряженного ожидания до смешков и нетерпеливых аплодисментов; состояния, в которые невольно погружается публика («когда же начнется?», «нас что, за дураков держат?», «да ведь это же остроумно», «ну, мы уже все поняли, хватит» и т. д.), непосредственно оказываются тем звучанием, которое «сочинил» композитор (вернее, дал его «сочинить» слушателям). И автор, и исполнители, и публика равно втянуты в совместно выявляемый (в качестве некоего непреложно сущего) фрагмент жизни...

Стравинский сводил начинания Кейджа к тому обстоятельству, что «мистер Кейдж — американец», следовательно, не умеет прилично вести себя в Европе. Экстремалы веселого шока напялили на авангард шутовской колпак. И под этот колпак попало все, включая социально-судьбоносное «нет!».

Новая частная жизнь

С 1950-х прибежищем новой музыки в Европе стали фестивали.

Фестивали срачивались с мастерклассами (авторитетный дармштадтский фестиваль, например, получил имя «Каникулярные курсы новой музыки»), и профессиональная среда сама себе становилась публикой. Ядро профессионалов постепенно наращивало оболочку любителей: знакомых; знакомых знакомых; знакомых знакомых знакомых...

Процесс со стороны СМИ не стимулировался. Общая журналистика на события новой музыки и нынче практически не откликается (да и на рядовые филармонические вечера тоже), востря перья для оперных премьер именитых дирижеров и гала-концертов мировых звезд.

В пору наименьшей заполняемости залов на фестивале премьер «Московская осень» (примерно с 1994-го до 1998 года) глухота прессы окрашивалась у нас в тона катастрофизма: мол, непродуманные рыночные реформы завели в глубокий духовный кризис. При этом не ставился вопрос, насколько и какой музыке необходимо широковещательное позиционирование, рассчитаны произведения на эхо зала или, быть может, на какой-то иной отзыв-отзвук.

Множество музыкальных практик обходятся вовсе без концертного зала (соответственно без публики в привычном понимании этого слова).

Фольклор на филармоническом подиуме — случайный гость в чужом застолье, даже и тогда, когда представлен адаптирующими обработками или стилизующим этнографизмом. А ведь существуют такие жанры народной музыки, которые на публике и вовсе невозможны, даже в случайно-гостевой роли (например, якутское пение во сне).

Противятся подиуму богослужбное пение или традиционная ритуальная музыка. Их появление в концертной обстановке отдает не то наивной сувенирностью, не то конъюнктурной профанацией.

Рондо и баллады композиторов Ars nova были поводом и выражением тесного общения, не рассчитанного на пассивных свидетелей. Сама акустика аутентичных инструментов предполагает пространство беседы, исчезающее малое для современного микрофонизированного слуха. Да что там модерности XIV века! Еще Шуберт писал свои песни исключительно для друзей, вовсе не стремясь к широкой презентации.

До появления оратории и оперы (обе условно датируются 1600 годом) музыка захватывала большие акустические пространства и соответственно массо-

вые аудитории в двух случаях: в церкви и на площади (или на пленэре). Но и тут она адресовалась не столько публике (молящейся, торгующей или гуляющей), сколько дисциплине храма, суете ярмарки, перспективе паркового ландшафта. Собственно, быть музыкальной аудиторией в Средние века и в эпоху Ренессанса означало всего лишь: находиться в том месте, где поют и играют на инструментах, и находиться не для музыки, а по ходу жизненных дел. Знайки тоже не имели слушательских обязательств; их статус опирался на прочитанные и написанные трактаты. Специально для слушания музыки и разговоров о ней собирались только на внутрицеховых состязаниях (они выполняли функцию квалификационных экзаменов для членов менестрельного цеха) или же в интеллектуальных кружках (при дворах, в замках, в монастырях). Традиционные непубличные музыкальные практики далеки от авторского самовыражения. Они в том или ином смысле, в той или иной степени «общинны». Но не «общественны».

Публика становится потребностью, когда светское искусство обретает личностно-психологическое содержание и параллельно теряет характер личного общения (укрупняются исполнительские коллективы, разбухает акустическая масса вокального и инструментального звучания, растет громкость: все это показатели увеличения дистанции между автором и слушателем). Дефицит конфидентов искупается аншлагом, профицит субъективности уравнивается внушительными социальными объективациями успеха (гонорарами, превышающими доходы премьер-министров, статусом VIP...).

На пути к поставангарду музыка очищается от психологизма. К 1990-м изменилось чувство звука — конкретного звука, извлекаемого из инструмента или поющего. Туше (изысканная нюансировка прикосновения к клавишам) или вибрато (колебания высоты и громкости в пении, в игре на струнных и духовых), которые выражают спонтанную взволнованность, тонкую чувствительность, ранимую эмоциональность, все в большей мере отзываются не то высокой музейностью, не то коммерческой ремеслухой. Из аутентичного исполнения старинной музыки субъективные светотени звучания и вовсе изгоняются, как нестерпимый анахронизм.

В 1970-е движение аутентизма обрело равные с традиционным филармонизмом права. А сегодня уже просто неприлично петь Баха дальнобойно-маслянистым оперным *bel canto*; если такое встречается, то лишь как признак провинциализма, безвкусыя или безграмотности. Да и Моцарта петь, как если бы это был Верди или популярная неаполитанская песня, позволительно лишь великим «стадионным» тенорам, живущим в звуковом анклаве комфортного, дорогостоящего и каникулярного душещипания и ухолоаскания. Их исполнительство — это перманентный курортный роман щедрых миллионеров с падкими на красоту ухаживаний золушками. Не столь гомерически популярные музыканты сегодня чувствуют необходимость быть скромнее и играть даже и «героического» Бетховена не в резонансе со сверхчеловечески-субъективным Вагнером, а в духе остроумного, благодушного, трезвомыслящего Гайдна, — уж кто-кто, а он был предельно далек от стремлений к разнузданной власти над коллективизируемыми душами.

В музыке поставангарда звучание окрашено не эмоциональными колебаниями, а символическими нагрузками. Эмоциональные состояния, конечно, есть. Но они более «прямые», более «открытые», ближе к «белому» звуку. Даже если это ужас и бешенство (как в громадных кульминационных плато симфоний Бориса Тищенко), в них нет «внутреннего» — эгоцентрического аффектного самозвинчивания. Концептуально реконструируется или бессознательно нащупывается то объективное понимание звука, которое существовало в космологически ориентированной древности²⁴, а впрочем, не было чудом и раннему романтизму²⁵. Звук — онтология²⁶. Звук может себе позволить быть «белым», потому что означает теперь «белый свет», бытие-мироздание.

Психологизм истончился, почти исчез. Дело за вторым членом традиционной филармонической пары — широкой публикой. Для того чтобы произведе-

ние состоялось как культурный факт, аншлаг уже не обязателен. И вместительный зал не обязателен. Достаточно камерного, клубного пространства, вмещающего не сотни, а десятки человек (между прочим, камерные залы в последние годы множатся; в Москве, например, за 1990-е их появилось не менее сотни). И эти слушатели — уже не совсем «публика», не та платежеспособная аудитория, которой надо показывать товар лицом.

Кстати, лицом-то показать товар все реже получается — даже и в самых парадных залах и на самых-самых престижных гала-концертах. А когда получается, то лица-то этого и не замечают²⁷. Замечают затратный дизайн буклетов, богатую обивку лож и эксклюзивные люстры (что подчас выручает: лишь неизменно блистательная люстра показывала высокий класс в Большом театре на транслированных недавно в живом эфире государственного телеканала провальных гала-концертах в честь юбилея М. Плисецкой и самого ГАБТа).

И вновь о звуке. Парадный лоск, вынесенный на суд публики, уже и в звукозаписи кажется не слишком обязательным, почти сомнительным — чуть ли не пошлым технологическим «Hi-Fi-листерством» (от Hi Fi Stereophonie)²⁸. В последние годы, когда CD-индустрия в поисках уменьшения затрат схватилась за старые радио- и телевизионные записи с живых концертов, шорохи и призвуки, естественные дисбалансы и спонтанные акценты живого исполнения постепенно входят в норму²⁹. А такая норма означает, что музыка, даже когда она записана на пластинку, экзистенциально не выходит из самого близкого к музыканту (к исполнителю, к автору) акустического горизонта, за линию, отделяющую сцену от первого ряда.

Впрочем, независимо от тенденций к живой шероховатости звука, в музыке разворачивается новая частная жизнь. Частная — в смысле *непубличная*³⁰.

Музыка переориентируется на круг частных лиц, на доверительно-тесную совместность. При этом, в отличие от авангарда 1910 — 1960-х, чье самосознание парадоксально соединяло всемирные исторические претензии с теоретическим отрицанием инстанции публики (на практике же от публики страдальчески добивались и не могли добиться широкого признания), слушатели концептуально важны. Но не в функции заполнения зала, а в роли участников событий, не связанных с разделением на сцену и зал.

Вот что можно прочесть в аннотации компакт-диска Сергея Загния (род. в 1960) «Новогодняя музыка» (1999): «Новогодняя музыка — это звук, записанный вечером 30 декабря 1999 года в культурном центре „Дом“, Москва... „Новогодняя музыка“ — это произведение, куда в качестве составных частей вошли звуковые образы других, вполне самостоятельных произведений, а также иные звуки, которые там и тогда случились». В рубрике «Исполнители и участники» читаем: «Владимир Епифанцев, вокал; Евгений Вороновский, шумы; Алекс Царев, гитара; Ярослав Павшин, бас-гитара; Сергей Загний, фортепиано; *публика*».

Слушатель — полноправный участник музыкального события. Но и композитор — тоже участник события (а не одиночный творец).

Предлагаю краткую хронику коллективного творчества. Она начинается с пародийно-провидческого анахронизма. О советских композиторах, методом бригадного подряда создававших в 1930 — 1950-е оперно-симфоническую культуру Казахстана, Киргизии и прочих цивилизуемых в рамках СССР национальных республик, бытовал обидный анекдот: статья в энциклопедии о композиторе Фере: «см. Власов»; о Власове: «см. Малдыбаев», о Малдыбаеве: «см. Фере».

Отсылки друг к другу в 1967 году уже отнюдь не страшились участники «композиторского ансамбля», организованного К. Штокхаузенем. «В ансамбле „пьесы“ двенадцати композиторов исполняются одновременно... Итоговый четырехчасовой процесс стал больше чем суммой „пьес“... Вертикализация восприятия событий и релятивизация определенности форм актуальна не только в области музыки»³¹.

У нас в 1975 году существовала импровизационная группа «Астрея», в которую входили композиторы Виктор Суслин (род. в 1942), София Губайдулина и Вячеслав Артемов (род. в 1940). При еженедельных встречах композиторы импровизировали по пять-шесть часов подряд.

В 1990 году в Москве было скопировано интернациональное сочинение «Двенадцать побед Короля Артура. Семь роялей». В него вошли уже существовавшие ранее опусы Джона Кейджа (один рояль), Николая Корндорфа (два рояля), Сергея Загния (три рояля), Александра Рабиновича (четыре рояля), Марка Фелдмана («Пять роялей»), Стива Райха («Шесть роялей»). Завершался цикл пьесой Владимира Мартынова для семи роялей.

Но этот авторский коллектив частично оставался заочным (Кейдж и Райх о своей российской премьере ничего не знали). А вот в 1994 году коллективное сочинение было написано вполне очно: в цикле «Времена года» для струнного оркестра Мартынов сочинил «Осень», Александр Бакши (род. в 1952) — «Зиму», Цзо Чженьгуань (род. в 1945) — «Весну», а Иван Соколов (род. в 1960) — «Лето».

Дальше — больше. В 2000 году осуществлен проект «Ночь Баха. Страсти по Матфею-2000». В четырехчасовой контрафактуре баховских «Страстей по Матфею» участвовали несколько десятков композиторов и поэтов, объединенных автором идеи и продюсером Петром Поспеловым. Музыка не столько сочинялась, сколько бралась из запасников: члены авторского коллектива отдали П. Поспелову партитуры, написанные в разное время в разных техниках, и мало кто из участников представлял себе итоговое целое. В качестве хоральных напевов (обязательных в жанре немецких пассионов) использовались известнейшие мелодии, подсоединявшие авторский коллектив к анонимной массе музицирующих поколений: «То не ветер ветку клонит», «Сулико», «И мой сурок со мною», «В лесу родилась елочка»...

Утвердившееся правило таково: авторы адресуют опусы прежде всего друг другу, а не сторонней, неразлично-массовидной публике. Более того, авторы сами превращаются в слушателей, которые вслушивают себя в некую «общую» музыку.

В 1992 году Борис Тищенко создал цикл «12 портретов для органа». Названия пьес цикла: «Андрей Петров», «Катя», «Дмитрий Шостакович»... Каждый портрет — комментарий к стилю и характеру музыканта, входящего (или входившего) в ближний круг автора. Органное звучание накрывает этот круг храмовыми отголосками. Цикл музыкальных пьес — как житийные иконы общины единоверцев.

Вообще-то авторские обращения к близким по духу музыкантам известны издавна. Монограмма BACH (*си-бемоль, ля, до, си-бемоль*), которую лейпцигский кантор иногда шифровал в темах фуг, повторяется, как «Верую!» или «Ей, Господи», в сочинениях множества композиторов XX века. С 1970-х у отечественных композиторов вошли в обычай звуковые ссылки на Дмитрия Шостаковича (DSCH: *ре, ре-бемоль, до, си*). В сочинениях памяти Альфреда Шнитке встретим ASCH (*ля, ля-бемоль, до, си*), в опусах, посвященных Эдисону Денисову, — EDE(I)S (*ми, ре, ре-бемоль* или *ре-диез*) и т. д. Масса мотивов-имен, напоминающих о менее известных авторах, — уж и вовсе тайнопись для публики.

Традиция интонационных адресатов, впрочем, коренится не в обращениях композиторов к самим себе, а в обращении музыкантов к Богу. Тот же И. С. Бах, решавшийся инкрустировать в тему фуги звуковое факсимиле, не заболелся о самоувековечивании. BACH (две перекрещенных малых секунды) — это еще и канонический мотив креста. Надо думать, что совпадение с собственным именем общепринятого звукового символа (когда он отстроен от седьмой ступени гаммы в тоне *до*) для пиетиста, каким был Бах, имело не столько значение личной печати, сколько провиденциальный смысл.

В XX веке традиция музыкальных обращений к общепочитаемому адресату возрождалась в обмирщенном виде. В последние десятилетия эти обраще-

ния замыкаются друг на друга и совместно, в качестве некоторого корпуса взаимосвязанных текстов, выходят из горизонта «профанной» коммуникации. Музыка обретает не-публичность еще и в том смысле, что становится «не-светской» (хотя при этом не обязательно литургической).

Произведения мыслятся как со-бытие «единоверцев». В 1985 году появился фортепианный диалог Владимира Мартынова и Георга Пелециса (род. в 1947) «Переписка». В виду имеется реальная переписка двух композиторов, московского и рижского; под музыкальным слоем кроется словесный эпистолярный. К обмену частными музыкальными письмами присоединился живший в Канаде Николай Корндорф (1947 — 2001); в 2000 году в Москве исполнялось его фортепианное «Письмо Вл. Мартынова к Г. Пелецису»...

Описаны некоторые частные случаи из новой частной музыкальной жизни.

Частной: не-светской, но и не церковной. Частной: не-публичной. Не-публичной, но и не-индивидуалистической.

Горизонт такой жизни — община вовлеченных. В глобальную коллективность она не пытается встроиться, ни тем более влиять на общественные процессы, социализировать общество «по себе». Потому что те, кто добился успеха в навязывании обществу собственного стиля, в итоге сами оказываются в ситуации навязанной обобщественности (в ней пребывают сегодня, например, «стадионные» тенора или успешные постмодернисты).

Вообще говоря, малые художественные группы — культурная константа. В Новое время (в музыке — начиная с флорентийской камераты, изобретшей оперу) эти группы приняли экстравертную модель поведения. Одобрения просвещенного мецената перестало хватать для произведений, долженствующих иметь судьбоносно-историческую значимость. Художники устремились вначале к широкой известности, затем к идеологическому пасторству, потом еще и к политическому влиянию, а там уже и к максимально возможной монополизации общественного мнения и материальных ресурсов развития искусства.

Необходимость «пробиваться» стала императивом и начинающих, и продолжающих свои «карьеры» музыкантов (кстати, слово «карьера» в лексикон музыкальных критиков проникло запоздало недавно).

Да ведь и в разнообразных литературных кружках XIX и XX веков первой мечтой и главной акцией был свой журнал, а группы живописцев заявляли о себе новой галереей. Недаром футуристы и имажинисты ночью срывали таблички с названиями улиц и лепили на их место свои имена. И если уж видеть этот симптом в его социальной полноте, не случайно члены того же агрессививно-публичного художественного кружка (за разящим исключением Велимира Хлебникова) в пору повального голода и непроглядного бездомья располагали и комфортными жилищными условиями, и изысканным столом (как о том залиристо вспоминают А. Мариенгоф или В. Шершеневич). Тесное общение названных поэтов с начальственными чекистами тоже выразительно.

Экстравертная публичность в конце концов породила коллективно-духовных монстров вроде творческих союзов в СССР, которые за участие в манипулировании массами получали от государства часть национального дохода. Но советская система не была исключением из мировых правил. Таким же монстром (хотя иначе устроенным), которому общество щедро платит за манипулирование им, является, например, Голливуд.

Новая частная музыкальная жизнь интровертна. С 1970-х музыка открывает коллективное пространство отшельничества — не одиночества, непонятости, неудачи (и, само собой, вознаграждающей посмертной славы), но обретенной вдаль от социоцентризма самостождественности. Поставангард нашел «правильность», которая не обязана подтверждаться общественной борьбой за историческое право считаться правильной. В общинно-частной творческой жизни меняют лад ценности прежних эпох (так, удивительным образом со «Страстей по Матфею» Баха, наново переписанных композиторским коллективом в 2000 году, спала драпировка формально-музейной духовности).

Онтология свободы — не внушенного, не симулированного и потому ни к чему актуальному не примыкающего — *своего бытия*... А как же социология свободы? И просто социология? И вообще социум? Что, композиторы высокомерно отворачиваются от нормальной, обычной, глубоко человеческой коллективности? Хуже — от благ гарантированной гражданским обществом свободы, от обязательств сплоченного отстаивания прав личности?

Нет. Просто музыка попала в такую ситуацию, в которой вдруг обнаружилось: массовые формы практического осуществления свободы (как и других высоких ценностей) инфицированы оборотничеством.

Впрочем, и без музыки кое-какие сомнения есть. Почему, если свобода в демократическом обществе социально неизвратима, так много говорят о политических технологиях? Почему политтехнологи становятся публичными экспертами? Только что под ковром хитро намастырили с общественным мнением — и тут же объясняют этому же общественному мнению, почему оно клюнуло или в ближайшем времени клюнет на их удочку. Более того, публичные разъяснения того, что задумано под ковром, сами являются частью подкововерного плана! Пиар пиарит сам себя, толсто намекая, что это именно он, и только он, а не выборные парламентарии и президенты, ловко правит людьми и их свободой...

В нынешней высокой композиции нет «пиара». Нет и «партийной» борьбы направлений и школ. Нет даже обыкновеннейшего противостояния «традиционалистов» и «новаторов». Не потому ли не хочется музыкантам сбиваться в ряды и строиться в отряды, что коллективные воодушевления развеваются, как флаги на ветру, — под влиянием любого целенаправленного ветра, в любую заинтересованную сторону? Так, может быть, не нужно «пробиваться» в знаменосцы?

Приходится подозревать, что социально-солидарные действия, в том числе и в пользу всем и каждому понятных прав личности, способны оборачиваться как десоциализацией, так и исчезновением личности. Есть тут какой-то морок.

Вот ведь вчера (пишется 10 апреля 2001 года) легализовано-таки право на эвтаназию. Большая победа в демократической борьбе за права человека. И что в оперативном телеэфире нашел возразить против решения парламента Нидерландов российский министр здравоохранения? Что эвтаназия — «большой грех». Аргумент кажется весьма далеким от современных медицинских технологий. И однако он прежде всего профессионален. Ведь любой профессионализм покоится на нормах, образцах; значит — на послушании. А у всякого послушания, в свою очередь, есть абсолютный образец: послушание религиозное, свободное от приводящих притязаний общества или личности. Можно представить, что по прошествии некоторого времени безусловное обязательство медиков — бороться за жизнь человека несмотря ни на что — станет музейной условностью. В чем тогда будет состоять критерий профессионализма медицины? В стерильности шприцев для смертельных инъекций? Но вслед за отменой императива ни при каких условиях не прекращаемой борьбы за жизнь пациента само право на жизнь, и не только пациентов, но и здоровых людей, не будет уже казаться безусловным. На что же, в конце концов, опираться гражданскому обществу, существующему для защиты свободы личности?

Дисциплину, без которой нет самотождественной личности, путают с коллективно санкционированной принудительностью. Но безусловность самопослушания неотрывна от добровольности. При компромиссах невольной свободы и условного послушания получается то, что излишне сочно (с анахронистическим, то есть как раз *невольно свободным* пафосом — с пафосом исторического самоутверждения) описал композитор Вольфганг Рим (род. в 1952) под видом герметично-инженерного авангарда 1950 — 1960-х: «„Вычисленная“ музыка может стать бесстыдным мучительством из-за своей одновременной упорядоченности и энтропии, вся истомленная желанием ужасной

клинической правильности, из которой изъята случайность, и вместе с тем вся проникнутая отращением к ней»³².

По поводу музыки, монашествующей в мире, здоровый (как, впрочем, и нездоровый) скепсис естествен. Тем более, что слушателей она не призывает в себя уверовать. Публику вообще ни к чему не призывают, никуда не тянут и не манят впервые со времен культуры Просвещения. Нас оставляют (иронично! предательски! Или: с бескорыстной любовью, о которой мы перестали и мечтать, с безусловным доверием, на которое мы давно не рассчитываем?) наедине с нашим свободным самоопределением (между тем трудно решить, куда его деть). Что это? Признание воистину неотъемлемых прав (наконец-то)?.. разоблачение (справедливое)?.. утопия (очередная)?.. Благодарить? Негодовать? Отворачиваться?

Не купить ли уж лучше экстрадорогие билеты на аншлаговый супергала-концерт с участием мировых звезд? Это — выход.

Но не вход.

¹ Музыка часто запаздывает. Например: на три десятилетия позже, чем в литературе и живописи, в ней утвердился романтизм и как минимум на целых полвека в ней задержался — как анклав на территории позитивизма. А бывает, что музыка опережает культурные перемены, иногда задолго. Но чаще всего она сразу и опережает, и запаздывает: идет по кромке возможного, отчасти уже упущенного, отчасти еще предстоящего, но ценностно *настоящего*, подлинного. К такому — *современному себе* — времени музыка большей частью и тяготеет, что не мешает ей болезненно точно попадать во время, текущее за ее пределами.

² Максима, вызревшая в недрах гегелевской исторической школы: «Только музыка непосредственно выражает истину времени» (см.: Droysen J. G. *Historik*. 3. Aufl. München, 1958, S. 96, 422).

³ Какие исторические факты учитываются в качестве существенных, значимых, а какие нет, определяется системами ценностей. С художественными же фактами дело обстоит совсем непросто: мало того, что их подверстывают под (зачастую неэксплицируемую) эстетическую идею, они еще и сами по себе нестабильны. Возьмем такой типовой факт, как биография художника: житейские обстоятельства Перотина Великого, трудившегося в XII веке в парижском соборе Нотр-Дам, фактом истории искусства отнюдь не являются (даже если бы мы их и знали день за днем и год за годом), а обстоятельство Бетховена еще как являются...

⁴ См.: А. В. Амброс, «Границы музыки и поэзии» (1856). Цит. по переводу Ал. В. Михайлова: «Музыкальная эстетика Германии XIX века». В 2-х томах, т. 2. М., 1982, стр. 360.

⁵ Императив футурологичности — наследие XIX века. Выражение «музыка будущего» принадлежит Рихарду Вагнеру (1860); едва высказанное, оно было подхвачено Гектором Берлиозом и с тех пор надолго превратилось в «передовой» стереотип. А общекультурное представление об истории как о неуклонном продвижении к некоторым целевым идеалам (прежде всего — к «свободе» и «правде») фигурировало в качестве обязательного триумфа уже к 1840-м (ср. следующий фрагмент из воспоминаний Б. Н. Чичерина об учебе в Московском университете: «Грановский... с удивительной ясностью и шириной излагал движение идей... Он указывал... как две школы, отправлявшиеся от совершенно противоположных точек зрения, немецкая философская и французская историческая, пришли к одному и тому же результату, к пониманию истории как поступательного движения человечества, раскрывающего все внутренние силы духа и направляющего все человеческие общества к высшей нравственной цели: к осуществлению свободы и правды на земле» /см.: Чичерин Б. Н. Воспоминания. — В кн.: «Русские мемуары. Избранные страницы 1826 — 1856 гг.». М., 1990, стр. 201/) — и оставалось им и в 1910-е, и в 1970-е. Конечно, свобода и правда после 1917 года в разных углах мирового ринга трактовались непримиримо, но в одинаковом качестве целевой неизбежности. В конце 1980-х цивилизованный консенсус был достигнут и по вопросу о со-

держании целевых исторических понятий. Но произошло это как раз тогда, когда в массовых умонастроениях возобладали упоение настоящим. Эпоха, начинавшаяся бумом вокруг отдаленных перспектив теории относительности, пришла к идеалу *fast food* — лапше быстрого приготовления (ее в качестве самого важного достижения столетия выделили японские телезрители, опрошенные в конце 2000 года).

⁶ Из интервью самого популярного отечественного авангардиста Альфреда Шнитке начала 1970-х (цит. по кн.: Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. Очерк жизни и творчества. М., 1990, стр. 21).

⁷ Dahlhaus Carl. 19. Jahrhundert heute. — «Musica», 1970, № 1, S. 10.

⁸ Статья Вагнера «Публика во времени и пространстве» цитируется в переводе Ал. В. Михайлова. См.: «Музыкальная эстетика Германии XIX века». В 2-х томах, т. 2, стр. 208.

⁹ См.: Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994, стр. 140 — 141.

¹⁰ «Сейчас возникла какая-то новая музыкальная ситуация, канун какого-то всеобъемлющего универсального стиля», — говорил в начале 1990-х композитор Валентин Сильвестров, род. в 1937 (цит. по: Савенко С. Рукотворный космос Валентина Сильвестрова. — В кн.: «Музыка из бывшего СССР». Вып. 1. М., 1994, стр. 79 — 80).

¹¹ Некоторые симптомы: Владимир Мартынов свою творческую линию обозначает «opus posth» (то есть буквально — посмертное сочинение; в контексте размышлений Мартынова — посткомпозиторское сочинение); Арво Пярт в последние годы говорит о необходимости перекрыть «сточные воды творчества»; Фарадж Караев (род. в 1944) к собственному 50-летию написал произведение под названием «Довольно!» (по-немецки «Es ist genug» — один из любимых хоралов И. С. Баха, цитированный под занавес жизни «культовыми» композиторами XX века — Альбаном Бергом, Эдисоном Денисовым...) и подчеркнул, что в виду имелся в некотором смысле *последний* опус; Татьяна Сергеева авторский концерт, приуроченный к своему 50-летию, намерена заполнить фортепианными сочинениями Бортнянского и Аренского (Сергеева — также блестящая пианистка)...

¹² Показательны фрагменты из книги М. И. Пыляева «Старая Москва» (М., 1990, стр. 110): «В числе русских опер непомрачаемо блистал в прошлом московском веке „Мельник-колдун, обманщик и сват“ Аблесимова, за ним стоял „Сбитенщик“ Я. Б. Княжнина... После них имели большой успех две оперы князя Горчакова „Баба-яга“ и „Счастливая Тоня“... За этими операми следовал „Архидиач“ — „Иван-царевич“, опера Великой Екатерины, замечательная по великолепию своих декораций... Музыка ко всем этим операм составляли большей частью какие-то мелодические сборники из русских и всяких песен».

¹³ Абсурдистский рост конвенции освобождения-прогресса был продемонстрирован коммунистической политической практикой. Свою неконтролируемую пролиферацию имеет и демократическая борьба за свободы. См., например: Ошеров В. Предел демократии? — «Новый мир», 2001, № 3.

¹⁴ Термин «поставангард» применен в сугубо хронологическом смысле («после авангарда»). Ассоциации с эстетической программой постмодернизма не имеются в виду. В музыке не случилось постмодернизма в том смысле, в каком говорят о нем в связи с литературой или кинематографом. Цитатные пастиччио в музыке, во-первых, не доминируют, а во-вторых, в отличие от постмодернистского упразднения ценностных вертикалей, встроены в чувство (или предчувствие) всеобщего канона.

¹⁵ См.: Веберн А. фон. Лекции о музыке. Письма. М., 1975, стр. 45.

¹⁶ Например, в XVII — XVIII веках в центре размышлений — предмет музыкального изображения (страдания Христа в пасхальных ораториях, условные жанровые сценки в придворной музыке и т. п.). Историки же XIX — XX веков исходят из структуры произведений.

¹⁷ Dahlhaus C. Grundlagen der Musikgeschichte. Köln, 1977, S. 80 — 81.

¹⁸ Впервые словосочетание «история музыки» появилось в 1600 году в трактате Кальвизия (Calvisius Seth., «Exercitationes Musicae Duae»).

¹⁹ Формат журнальной публикации не допускает развернутых иллюстраций. Потому спросим только: откуда взялась оперная монодия (сольная мелодия с ак-

кордовым сопровождением)? Прообразов ее в дооперных техниках композиции не отмечается. Приходится заглянуть (вслед за К. Дальхаузом) в непрезентабельную подсобку профессионализма. Джулио Каччини и его соратники возвели на пьедестал художественности упражнения вокалистов, практиковавшиеся испокон веку (и сегодня тоже). Всякий имеет о них представление — хотя бы по сцене из кинокомедии «Веселые ребята», где безголосая певица разбивает яйца о нос бронзового Бетховена. Артисту надо распеться, концертмейстер дает на рояле тон, и вокалист пропеваает от этого звука, как от точки отсчета, некую руладу на «а-а». Потом берется тон выше, и вокалист повторяет руладу тоном выше, пока не пройдет весь свой диапазон. Такие вокализы называются мелодиями на выдержанный бас. Бас аккомпанирует, распевающийся голос солирует. Эти голосовые упражнения подвернулись под руку творцам оперы, искавшим драматически четкого музыкального воплощения слова, потому что они сами были певцами.

Если же искать преемственности между эпохами мессы и оперы, то выйдет довольно нелепая периферийно-боковая смычка. Дело в том, что в XVI веке техника месс применялась в светских хоровых мадригалах, мадригалы же, в свою очередь, иногда разыгрывались на театре (это называлось мадригальной комедией). Но из полифонических мадригальных комедий оперную монодию можно вывести примерно с той же правомерностью, как из «Лебединого озера» — выступления Тарапуньки и Штепселя, раз уж то и другое происходит на сцене.

²⁰ Eggebrecht H. H. Opusmusik. — «Schweizerische Musikzeitung», 1975, № 1, S. 7.

²¹ Теодор В. Адорно цитируется (из его «Minima moralia», 1969) в переводе Ал. В. Михайлова по статье последнего: «Музыкальная социология: Адорно и после Адорно» в кн.: «Критика современной буржуазной социологии искусства» (М., 1978, стр. 183). Адорно привлекается здесь не только как философ — идеолог авангарда, но как композитор (он учился сочинению у Альбана Берга) и наставник многих композиторов — лидеров послевоенного авангарда (творчество К. Штокхаузена 1950 — 1960-х было бы трудно объяснить, не зная о его постоянных беседах с Адорно; после смерти Адорно Штокхаузен пережил тяжелейший кризис, и творчество его резко изменилось).

²² В основе названных сериальных сочинений лежат ряды из 12 величин, сочиненные авторами для высот и длительностей звука, а также для оттенков громкости, темпов исполнения, штрихов звукоизвлечения, регистров, тембровых сочетаний и вообще всего, что только можно вычленишь в качестве некоторого параметра. Однако точное градуирование, например, громкостей — это чистейшая утопия. В реальном звучании невозможно воспроизводить, скажем, некое постоянное различие между тремя и четырьмя пиано.

Зыбкость фундаментов, на которых держатся пандемониумы порядка, никто и не скрывал. Влиятельный куратор послевоенных музыкальных движений, теоретик Х. Х. Штукеншмидт писал в 1963 году: «Сериальная техника, организующая также и вторичные параметры... скорее спекулятивна, чем прагматична. Она не берет в расчет требования акустики, слуховые привычки и платит за это недоступностью для восприятия» (Stuckenschmidt Hans H. Zeitgenössischen Techniken in der Musik. — «Schweizerische Musikzeitung», 1963, № 4).

²³ См.: Стравинский И. Ф. Статьи и материалы. М., 1973, стр. 63.

²⁴ «...от движения светил возникает гармония, так как от этого происходят гармонические звуки... так как казалось странным, что мы не слышим этого звука, то в объяснение этого говорят, что причиной этого является то, что тотчас по рождении имеется этот звук, так что он вовсе не различается от противоположной ему тишины» (пифагорейский фрагмент в переводе А. Ф. Лосева).

²⁵ «Медицина. Каждая болезнь — музыкальная проблема; излечение — музыкальное разрешение... Природа — золова арфа, она — музыкальный инструмент, звуки которого, в свою очередь, служат клавишами высших струн в нас самих» (из «Математических фрагментов» Новалиса, перевод Ал. В. Михайлова).

²⁶ Даже и до забавной конкретности — онтология. Игорь Кефалиди (род. в 1941) в сочинении «_noiseREaction_» для оркестровых и электронных звуков (2000) использует в качестве темы записанные на московском Садовом кольце в час пик

сигналы автомобилей. Обработанная на компьютере документальная звукозапись шумов градуируется в набор тембровысот, которыми композитор оперирует, как звуками гаммы.

²⁷ Свидетельство пианиста Михаила Аркадьева, работающего в ансамбле со знаменитым певцом Дмитрием Хворостовским: «...даже при очень большом успехе есть ощущение, что самое главное от абсолютного большинства публики, а часто и от критики, все же ускользает. Например, мы с Дмитрием Александровичем после труднейших концертов... ничего, кроме эйфории поверхностного удовольствия, в отзывах слушателей не слышим... для них музыка — это уже десерт, а не основная пища. Профессиональная критика — это особая статья... незаинтересованность критика в профессиональных подробностях исполняемого частенько граничит просто с некомпетентностью... Я играл „Пляску смерти” Листа с БСО, дирижировал любимый в Вене Владимир Федосеев. Был очень сильный успех... Но ни один критик не заметил, что мы показали совершенно новый вариант сочинения, что расширены каденции у рояля, что многие места переинструментированы...» («Музыкальная академия», 1998, № 1, стр. 6 — 7).

²⁸ Идиому «хай-филистерство» придумал в немецком «Новом музыкальном журнале» (в свое время редактировался Р. Шуманом, и вкусы филистеров в нем были постоянной темой) в 1983 году критик, укрывшийся за громким девизом *ff* (то есть *фортиссимо*). Он восклицал: «Для меня бесконечно ценнее шумящая, потрескивающая, неровная фонограмма этюда Шопена в исполнении Ферруччо Бузони, чем технически совершенные новые исполнения того же произведения виртуозами от *A(schkenazi)* до *Z(uckermann'a)* (упомянуты очень известные пианисты, общепризнанные звезды. — *Т. Ч.*)!» («*Neue Zeitschrift für Musik*», 1983, № 1, S.18).

²⁹ Возможно, меняется идеология звукорежиссуры в целом. В телефильмах последних двух-трех лет допускается однопорожечная запись реплик героев и фоновых шумов. Может быть, от бедности и спешки, но делается это постоянно; статистическая тенденция ощутима.

³⁰ Напомню, как обстоит дело с соответствующим корнем в латинском слове: в лучшем случае («*publicum*», «*publicus*», «*publico*») речь идет о государственном имуществе, общем достоянии, общепринятом поведении; в худшем же («*publicatio*», «*publica*») — об откупщиках и публичных женщинах.

³¹ См.: *Gehlhaar R. Zur Komposition Ensemble. Mainz, 1968, S. 7—8.*

³² Цит. по кн.: *Frobenius W. Die «Neue Einfachheit» und die bürgerliche Schönheitsbegriff. — In: «Zur „Neuen Einfachheit” in der Musik”. Wien, Graz, 1981, S. 59.*



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

*

НАШ ПРУСТ

1

Вышла книга «Пруст в русской литературе»¹ — и стало ясно, с каким восторгом и сопротивлением был он встречен в России. О том, что говорил Горький («Нестерпимо болтливый Марсель Пруст»; «Французы дошли до Пруста, который писал о пустяках фразами по 30 строк без точек...») или Бунин («Что же, для вас и Пруст лучше Гюго?»), стыдно вспоминать; впрочем, многие и сегодня думают точно так же, только стесняются в этом признаться.

Но от Андрея Белого, а тем более Михаила Кузмина ждешь другого отношения. Увы, ожидания обмануты. «Как читатель, я тянусь к простым формам: боготворю Пушкина, Гёте, люблю Шумана, Баха, Моцарта, пугаюсь психологизма Пруста и выкрутасов Меринга, а как писатель появляюсь в рядах тех, кто понимает простоту форм, и это неспроста». Что хочет сказать Андрей Белый («О себе как о писателе», 1933) в этом своем пассаже, понять нелегко. Оказывается, «как читатель» он любит Шумана, Баха и Моцарта, «появляется в рядах тех...» — советская идеология явно сказала не только на смысле фразы, но и на манере строить фразу — так писали в газете «Труд», в журнале «Красная новь»... Борис Зайцев привез ему книгу «Под сенью девушек в цвету». В следующий его приезд в Москву Андрей Белый вернул ее со словами: «Это бормашина какая-то». Сказать такое об одной из лучших книг в этом мире — как же надо было растеряться, утратить слух, а заодно и способность воспринимать новые вещи. И уже кажется сильным преувеличением поэтический некролог, в котором ему приписывалось «первородство» и способность «дирижировать кавказскими горами»: если бы он знал (или как раз потому так и сказал, что нечто подобное предчувствовал), какой провинциальной, манерной, натужной окажется его ритмизованная проза по сравнению с Прустом.

Но вот и Кузмин, если верить воспоминаниям В. Петрова, говорил, что прустовская проза «кажется ему слишком совершенной и недостаточно живой, он сравнил ее с прекрасным мертворожденным младенцем, заспиртованным в банке». Интересно, вспомнил ли при этом собственные прелестные стихи: «Поверим ли словам цыганки, — / До самой смерти продрожим. / А тот сидит в стеклянной банке, / И моложав и невредим...»? Впрочем, добавляет Петров, «последние книги Пруста, написанные несколько наспех и не столь отточенные, нравились Кузмину гораздо больше первых». И на том, как говорится, спасибо.

Зато Ахматова... Но нет, лишь один раз встречается в указателе имен к ее сочинениям имя Пруста, и какое же это общее, расхожее суждение: «Три кита, на которых ныне покоится XX век, — Пруст, Джойс и Кафка — еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди» — это из очерка «Амедео Модильяни». Примерно то же самое, про трех китов, только с отрицательным знаком, можно было встретить в те годы в любом советском учебнике по зарубежной литературе. И больше нигде, ни в стихах, ни в прозе, — ни одно-

¹ М., «Рудомино», 2000.

го намека на Пруста, ни одного упоминания... А ведь Ахматова в молодости бывала в Париже («И словно тушью нарисован в альбоме старом Булонский лес...») и, возможно, даже видела Пруста, не зная, разумеется, о том, что это он, — на каком-нибудь парижском бульваре, — выходил же он иногда на улицу (и никто, кроме его друзей, не знал тогда, что это он). Правда, из записок Л. К. Чуковской можно узнать, что А.А. целый час излагала ей содержание романа «Альбертина скрылась». И еще в разговоре о Хемингуэе сказала: «Полная противоположность Прусту: у Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками кухарки». Вряд ли это сказано с одобрением. (Интересно, у кого еще «все герои опутаны тетками...»? Как насчет Толстого? Гончарова? Грибоедова?)

Нас еще интересуют Мандельштам и Пастернак, не так ли? (От Зошенко, Платонова, Булгакова, даже Бабеля, большого ценителя французской прозы, даже Эренбурга мы в этом смысле ничего не ждем — и, как выясняется, правильно делаем.) Нет, не совсем так. Рассказывая о своих встречах с Бабелем, Эренбург вспоминает: «Он говорил мне о романах Пруста: „Большой писатель. А скучно... Может быть, ему самому было скучно все это описывать?..”» Скучно было, по-видимому, и самому Эренбургу, с его установкой на короткое дыхание и телеграфный стиль, хотя однажды, в 1928 году, с польским писателем Бой-Желенским они в поезде «всю ночь проспорили о Монтене, о Прусте». Думаю, в этом споре Эренбург был на стороне Монтеня. Жаль, что составители книги «Пруст в русской литературе» в Эренбурга не заглянули, этих свидетельств не привели.

Зато Мандельштам не забыт: он сравнил нашу критику с прустовской герцогиней, обмахивавшейся веером, «но не в такт исполняемой музыки, а вразнобой — для независимости», — и это все.

Пастернак «узнавал о Конраде и Прусте» еще в 1924 году, занимаясь в библиотеке Наркоминдела подбором «иностранный ленинъяны», а в 1929 году в письме к В. С. Познеру писал: «Пруст года три назад был для меня совершенным открытием. Боюсь читать (так близко!) и захлопнул на пятой странице». Несколько смешно, не правда ли? Придравшись к этому высказыванию, можно было бы порезвиться, но я слишком люблю Пастернака, чтобы позволить себе такое. Тем более что в 1930-м, получив от сестры из-за границы книги Пруста, он благодарит ее и восклицает: «Какой удивительный писатель!» Однако Евгений Борисович Пастернак уточняет: «Лишь после завершения работы над романом „Доктор Живаго” он мог позволить себе внимательно прочесть Пруста, задавшись целью понять, что значило для него потерянное и обретенное время».

В чем дело? Откуда такое безразличие к небывалой прозе даже у наиболее тесно связанных с европейской культурой русских авторов? Объяснить это, думаю, нетрудно: никогда еще русская жизнь так не отдалялась от общечеловеческой; Советская Россия жила своими проблемами: революцией, классовой борьбой, голодом на Украине, великими свершениями и пятилетками, репрессиями, — в сравнении с ними проблематика и персонажи Пруста казались не только официальным критикам и пролетарским писателям, но и тем, кто от них страдал, — чем-то далеким, отсталым (добро бы еще Пруст был авангардист!), не имеющим отношения к сегодняшней жизни, «боевой, кипучей». «Симптоматично, например, — справедливо замечает автор вступительной статьи А. Д. Михайлов, — что деятели ОПОЯЗа творчеством Пруста не заинтересовались вовсе».

Здесь я, разумеется, не говорю о переводчиках, прежде всего — А. А. Франковском, А. В. Федорове, — они-то, конечно, понимали, кого переводят. («Произведение Пруста грандиозно» — А. Франковский). И для справедливости надо отдать должное Луначарскому: в 1923 году, когда и во Франции-то еще не были изданы все книги романа, просвещенный и не кроваво-жесткий нарком уже опубликовал заинтересованный отклик в советской

печати о Прусте, а затем не раз в своих статьях, хотя и с необходимыми оговорками, восхищался им.

Что касается русской эмиграции, ее отношение к Прусту было, конечно, куда более адекватным событию. За статьи Б. Ф. Шлёцера (1921 год!) и тем более В. В. Вейдле (1924) не стыдно, хотя ни тот, ни другой не могли прочесть ни «Беглянки», ни «Обретенного времени», тогда еще не опубликованных.

Отвечая на прустовскую анкету, М. Алданов не побоялся поставить Пруста в один ряд с Толстым, а Георгий Иванов проверял Прустом русскую прозу: заявлял, что если Гоголь «в соседстве с Прустом „остаётся“ целиком... то с Толстым на глазах „что-то делается“ — как-то Толстой перестает „сиять“, вянет, блекнет». Говоря такое, следовало, наверное, заметить, что Пруст многим обязан Толстому, — Георгий Иванов этого не сделал.

В. Сирин на вопросы анкеты («Считаете ли Вы Пруста крупнейшим выразителем нашей эпохи?»; «Считаете ли, что особенности прустовского мира, его метод... должны оказать решающее влияние на мировую литературу?..») отвечал уклончиво: «Мне кажется, что судить об этом невозможно: эпоха никогда не бывает „нашей“...», «Литературное влияние темная и смутная вещь...». Но можно сказать со всей определенностью, что набоковская «Лолита», например, перекликается с «Пленницей»; даже имена Лолита, Аннабелла явно связаны с Альбертиной; Аннабеллу, свою детскую любовь, Г.Г. вспоминает на фоне морских волн, на морском берегу, и одна из работ Г.Г. посвящена «прустовской теме в письме Китса к Бенджамину Бейли». А в своих лекциях о литературе, говоря о «повествователе» в прустовском романе и самом авторе, Набоков замечает: «...есть Марсель-соглядатай и есть Пруст-автор. Внутри романа, в последнем томе, рассказчик Марсель воображает тот идеальный роман, который собирается написать. Книга Пруста всего лишь копия этого идеального романа, зато какая копия!» Но то же самое Набоков мог бы сказать (и наверняка говорит в этом пассаже) о себе, о своем романе «Дар», о Годунове-Чердынцеве, тоже воображающем «идеальный роман», который вместе с ним и вместо него пишет автор.

В то же время скажем прямо: и в эмиграции Пруст был понят далеко не всеми; в некоторых суждениях о нем русских авторов (о Горьком и Бунине уже было сказано) ощущается тот же гнет идеологических предрассудков, что и в советской критике. Иван Шмелев, например, сравнивает Пруста «с нашим М. Альбовым, школы Писемского и отчасти Достоевского... Но у Альбова есть полет и светлая жалость к человеку, есть Бог, есть путь, куда он ведет читателя». Даже советские литераторы, кажется, не договаривались до такого абсурда. «Куда приведет нас Пруст? — спрашивает Шмелев. — Наша дорога — столбовая, незачем уходить в аллеи для прогулок».

2

Здесь я наконец перейду к той, кто взволновала меня больше всех, — к Цветаевой. Не Ахматова, Кузмин, Мандельштам, Пастернак — Цветаева оказалась на высоте понимания ошеломительной новизны прустовской прозы! Да, она — безоглядный романтик, да, эмоции захлестывают ее поэтическую речь, и со словом она обращается своевольно, едва ли не жестоко: выворачивает приставки и суффиксы, как руки, но не формальная, футуристическая задача движет ею, а подлинное чувство, поэтическая страсть. Она умна — и, при всей своей оригинальности, непохожести, обособленности от других, шире братьев по «святому ремеслу» в понимании чужой поэзии, чужой поэтической правоты. (Не потому ли так любила не только Блока, Пастернака, Ахматову, Кузмина или Маяковского, но была благодарна и Андрею Белому, и Есенину, и даже Бальмонту...)

В письме к С. Н. Андрониковой-Гальперн (14 марта 1928 года) она пишет: «Сейчас читаю Пруста, с первой книги, (Svann), читаю легко, как себя, и все думаю: у него всё есть, чего у него нет??»

Кажется, впервые в жизни меня не раздражают два ее вопросительных знака. Кажется, поставила бы два восклицательных — и я добавил бы к ним третий! О, конечно же «легко», и у него действительно «*всё* есть»: для меня, например, он стал чем-то вроде Библии; стоишь перед книжной полкой в раздумье, кого взять с собой на две недели в Крым или на Кавказ (так было в шестидесятые — восьмидесятые) или на неделю — в Италию, во Францию, как это случается теперь, — и берешь Пруста, один из томов, потому что его можно читать, как стихи, с любой страницы; кажется, так бабушка у него в романе читала письма мадам де Севинье.

А в письме к тому же адресату в феврале 1930 года Цветаева сообщает о «франко-русском собеседовании о Прусте: Вышеславцев и не знаю кто — 5, Rue Las-Cases — Musée Social, нач. в 9 ч. Зайцев, напр., — о Прусте: интересно!»

Зайцев и впрямь интересно, — это он, как мы помним, привозил второй том в Москву Андрею Белому — и выслушал от него жалобу насчет «бормашины». Увы, что говорил Зайцев на том вечере, до нас не дошло, но что говорил Вышеславцев и что сказала Цветаева, узнаём из нашей книги. «Когда... он называет „маленький мирок“ Пруста, господин Вышеславцев забывает, что не бывает „маленьких мирков“, бывают только маленькие глазки». И еще: «Что касается отсутствия больших проблем — искусство заключается не в том, чтобы ставить их, а в том, чтобы уметь давать на них большие ответы. Весь Пруст и есть ответ — откровение».

Нет необходимости защищать Пруста ни от советской, ни от эмигрантской критики, — Цветаева сделала это за нас.

И это не все. «По поводу цитаты „дар видеть поверхность вещей“ я бы сказала: „скорбь вещей“». И здесь она говорит не только о Прусте — говорит, конечно, и о себе. Какое счастье, что это устное выступление не пропало, было зафиксировано, сохранилось, несмотря на отсутствие в 1930 году магнитофонной записи. «...удручает банальность примеров, приведенных господином Вышеславцевым. Каждый из нас, хоть раз в жизни, наслаждался запахом хороших духов или красотой осеннего вечера. По отношению к Прусту он мог бы выбрать... что-нибудь получше». Выбрать что-нибудь получше ни Вышеславцев, ни наши скептики не могут — для них Пруст сводится к «запаху хороших духов».

Сколько раз мне, пишушему эти заметки, и моим друзьям, с которыми я открывал для себя Пруста в начале шестидесятых, приходилось сталкиваться с чудовищным непониманием людей, не только отвергавших Пруста, но и ставивших под сомнение чужую любовь к нему...

Мы читали его в шестидесятые — и он размыкал для нас границы, очерченные вынужденными советскими обстоятельствами, одаривал той самой «землей и жимолостью», к которой тянулся в воронежских стихах Мандельштам. И, наверное, наша увлеченность им объяснялась еще и колоссальными переменами, происшедшими в стране: с террором было покончено, с иллюзиями и утопиями — тоже, возвращалась возможность частной жизни, начиналось ее освоение. Поколение двадцатилетних одновременно с теми, кто годился им в дедушки и бабушки (Пастернак в последние годы жизни; здесь я вспомню и Лидию Гинзбург, ученицу прошедших мимо Пруста опоязовцев, в это время много думавшую о Прусте, а в книге «О психологической прозе» написавшую о нем; от нее-то я впервые и услышал его имя), читало и впитывало Пруста: гениальный автор опережает свое время, через головы современников обращается к будущим читателям.

Откроем же любой из томов наугад, ну вот хотя бы второй, и прочтем такое: «И потом, я ее любил, а значит, не мог смотреть на нее без волнения, без желания чего-то большего — желания, которое в присутствии любимого существа отнимает у нас ощущение любви». И подумаем с благодарностью о Цветаевой: когда мы, в те же примерно годы или немного раньше, впервые читали ее «Поэму Горы» и «Поэму Конца» — разве не определили вместе с нею любовь как «желание чего-то большего»?

А дальше я не стану сопоставлять Пруста с Цветаевой, потому что это было бы натяжкой, потому что в искусстве многих больших художников найдутся прустовские черты. Открою еще раз Пруста на случайной странице: «В том же номере газеты, где моралист, принадлежащий к „цвету Парижа“, восклицает... по поводу певицы, пользующейся „минутной славой“: „Кто вспомнит об этом через десять лет?“ — на третьей странице в отчетах о заседании Академии Надписей часто упоминается о менее важном событии, о дошедшем до нас полностью посредственном стихотворении времен фараонов...» И дальше рассказчик вспоминает, как был потрясен, когда впервые прочел в книге египтолога, «что точно известен список охотников, которых Ассурбанипал приглашал на облавы за тысячу лет до Рождества Христова».

Вот именно. Пруст, заглянув во времена Ассурбанипала, учит нас любить сегодняшний день. Потому-то он, как всякий большой писатель, абсолютно современен. О чем бы ни шла речь в романе — о салоне Вердюренов или дамских нарядах конца XIX века — все это имеет прямое отношение к тебе, перешагнувшему в XXI век, освоившему компьютер, переписывающемуся с приятелем, живущим в США, по электронной почте. Ибо человек все тот же, независимо от того, в каком веке он живет. В персонажах Боттичелли, Беллини, Мантеньи, Дюрера Пруст узнавал своих знакомых. И мы узнаем своих — в Сване, Одетте, Жильберте, бабушке, Альбертине... Читавшие его в шестидесятые, мы разочаровывались в девушках, равнодушных к Прусту. В последней фразе меня смущают две вещи: местоимение «мы» и интеллектуальная нетерпимость. Множественное число местоимения готов заменить на единственное; что касается нетерпимости — здесь уступки быть не может: речь идет не о вкусе и цвете и даже не о мировоззрении (другое мировоззрение — почему бы нет?), речь идет, решусь прибегнуть к рискованному словосочетанию, о родственном устройстве души: без него любовь заведомо обречена, — собственно, эту драму Пруст и показал в своем романе. Можно сказать даже так: имей возможность его рассказчик выяснить отношение Альбертины к роману Пруста «В поисках утраченного времени» — и, глядишь, его жизнь сложилась бы по-другому (и какой книги мы тогда были бы лишены!).

«Ошибки темное сознание храним», — сказал любимый поэт в подобном случае. «Темное сознание» ошибки замечательно проанализировано у Пруста. В конце концов, даже выясняется, что человек страдал от любви к той, кого не любил. И этот род любви едва ли не самый распространенный — вот что удивительно. Есть проверенный способ избавиться от такой любви — жениться на той, кто внушает мучительную страсть. Сван, например, так и сделал — женился на Одетте, — и любовь прошла, как рукой сняло!

Все жду, что будет написан роман о другой любви — счастливой. Счастливой любви в несчастливых обстоятельствах. Любви, рассчитанной надолго, если не навсегда; не безумной любви, а любви в безумном мире; любви — вечном «страхе и трепете» за любимого человека. «В двадцатом веке надо гибельным / Жить, смертоносном, массовидном, / Чтоб дело счастья было прибыльным / И чувство радости — завидным!»

«Сравнивая Пруста с поколением довоенных русских, господин Выше-славцев, — говорит Цветаева, — забывает о том, что пить чай, спать днем, а ночью гулять — все это с искусством не имеет ничего общего. Иначе все мы были бы Прустами». Пруст был бы рад услышать такое мнение. Он и сам утверждал, что биографические подробности, личные черты пишущего — дело второстепенное. Как будто предвидел нашествие нынешних критиков, вооружившихся фрейдистским методом в поисках разоблачительных комплексов, в погоне за ними — для объяснения анатомируемых ими книг. Их интерес лежит вне словесного искусства, вообще вне искусства; поэзия, проза для них в лучшем случае — иллюстративный материал к нескольким банальным положениям психоанализа — и заносится в ту или иную графу таблицы.

Не только Пруст — Цветаева тоже немало претерпела от них сегодня: стихи отставлены в сторону, все внимание направлено на то, «спала ли она днем, гуляла ли ночью», а главное — с кем спала и с кем гуляла.

Французы, надо отдать им должное, говоря о Прусте, как правило, осторожны и умны. Большой правовой, демократический опыт, наряду с развитой цивилизацией, приучил их уважать человека и его талант. А кроме того, они, несомненно, вдумчивые и благодарные ученики Пруста, его уроки бесследно для них не прошли. «То, что разные глаза нуждаются в разных очках для корректировки образа, ничего не меняет в принципах оптики; то, что разные существа нуждаются в разных иллюзиях, чтобы испытать желание или ревность, ничего не меняет в ценностях любви», — пишет Андре Моруа в книге «В поисках Марселя Пруста» — и поиски эти сосредоточены на самой прозе: о скользких моментах человеческого облика автора говорится лишь в силу необходимости и всегда целомудренно, с пониманием и состраданием. То же можно сказать, например, о Клоде Мориаке, написавшем книгу «Пруст о себе самом». У нас — не так. И кажется, Цветаева предчувствовала это, когда утверждала: «Большое достижение Пруста заключается в том, что он обрел жизнь свою в писании, тогда как поколение довоенных русских растратило ее в разговорах». Цветаева, великий труженик («Вас положат — на обеденный, а меня — на письменный»), увидела в Прусте товарища по образу и смыслу жизни — это и есть ответ художника, беззащитного перед теми, кто растрчивает жизнь в разговорах, — ответ и сокрушительная победа над ними.

3

Наш Пруст... Кое-что сказав об этом, интересно зайти с другой стороны, посмотреть, хотя бы мимоходом, вскользь: а что пригодилось Прусту из русской прозы? Достоевский упоминается в романе восемь, Толстой — девять раз! Один раз назван Гоголь. Нет ни Тургенева, ни Чехова (за Чехова очень обидно).

«Передовая» маркиза де Говожо презирала романы из светской жизни; «толстовский мужик, крестьянин Милле являлись тем пределом, за который она не позволяла заходить художнику».

Ориана, герцогиня Германтская, с присущей ей язвительностью не побоялась задать русскому великому князю вопрос: «Ваше высочество! Правда, что вы собираетесь убить Толстого?» Она спросила об этом за обедом, и присутствовавшие были восхищены этим «номером» герцогини: «...они не только рады были умереть за Ориану, услышав, что такая благородная особа — страстная поклонница Толстого, — нет, они чувствовали, как в них самих растет любовь к Толстому и как их неужержимо влечет на борьбу с царизмом». Ирония Пруста доставляет не меньшее удовольствие, чем его лиризм; кажется, что и Толстого, доведись ему прочесть эти страницы, сцена эта не только позабавила, но и тронула бы, и рассмешила. Любопытно и то, что имя Толстого включено у Пруста в бытовой, повседневный контекст. Толстой и все, связанное с ним, — естественная, привычная тема разговоров.

Как тут не порадоваться еще и прозорливости Пруста? Одна из реальных герцогинь, с которых он писал свою Ориану, — Елизавета де Грамон — уже после смерти Пруста, как мы знаем из воспоминаний о нем и его среде, зашла так далеко в своей «левизне», что заказала в двадцатые годы модному парижскому ювелиру «драгоценную брошь, изображавшую серп и молот».

Что касается Достоевского, то в романе дается подробнейшая (на несколько страниц) характеристика его писательских приемов, идей и пристрастий. И здесь, кстати сказать, видно, как трудно автору, принадлежащему к другой культуре, оценить явление чужого языка, чужой традиции. Пруст сравнивает героинь Достоевского с женскими образами у Рембрандта! Грушенька и Настасья Филипповна напоминают ему рембрандтовскую Вирсавию. Нам это кажется натяжкой. Даже респектабельная черноокая девушка в меховой шапке у Крамского кажется более подходящей на такую роль, нежели «куртизанки Карпаччо», которых называет Пруст, или Вирсавия.

Эти несколько страниц о Достоевском, оформленные как монолог прустовского героя, обращенный к Альбертине (так вот о чем они говорили! нет, мы явно недооцениваем его подружку: «Малыш! Как это досадно, что вы такой лентяй! Вы говорите о литературе интереснее, чем наши учителя!»), содержат еще одно странное утверждение: «Что касается Достоевского, то я не отошел от него, как вам показалось, когда заговорил о Толстом, который во многом ему подражал». Здесь русский читатель вправе возмутиться: Толстой, мы уверены, слишком самостоятелен и никому никогда не подражал. (Но может быть, со стороны видней?) «У Достоевского есть много такого — но только в сгущенном, сжатом, обличающем виде, — что разовьется потом у Толстого». Может быть, и впрямь в позднем Толстом есть что-то от Достоевского? В «Крейцеровой сонате»? в «Живом трупе»? в «Воскресении»?

И потом, как бы ни были спорны мысли Пруста о Достоевском и Толстом, есть в них что-то, приковывающее наше внимание. Это «что-то» — тот непривычный ракурс, в котором они предстают у Пруста. «Подобно тому, как Вермеер является творцом не только души человеческой, но и особого цвета тканей и местностей, так Достоевский сотворил не только людей, но и дома» (следует ссылка на «дом с его дворником, где произошло убийство» в «Братьях Карамазовых», «мрачный, вытянувшийся в длину, высокий, поместительный дом Рогожина, где он убивает Настасью Филипповну»). Пруст так заинтригован Достоевским, что ему мало Рембрандта и Карпаччо, он привлекает еще и Вермеера, то есть едва ли не самые дорогие имена, — для объяснения этого ошеломившего его феномена. А дальше как раз и упоминается в первый и последний раз в романе Гоголь: «Новая, страшная красота дома, новая, сложная красота женского лица — вот то небывалое, что принес Достоевский в мир, и пусть литературные критики сравнивают его с Гоголем, с Поль де Коком — все это не представляет никакого интереса, ибо эта скрытая красота им чужда».

С Гоголем, с нашей точки зрения, Достоевского сравнивать все-таки верней, чем с Вермеером (и Гоголь, и Достоевский фантастичны), ведь мы читали и «Шинель», и «Записки сумасшедшего», и «Бедных людей», и «Белые ночи», и «Село Степанчиково», но подробный разговор об этом не входит в нашу задачу. Важно другое: важно, что Пруст так увлечен Достоевским (больше, чем Толстым), хотя на Достоевского-то он (и его герой) как раз и не похожи («А Достоевский... Все это мне в высшей степени чуждо, хотя есть у меня такие стороны характера, о которых я не имею понятия, — они выявляются постепенно»), что готов для понимания его прибегнуть к Рембрандту, Карпаччо, Вермееру... даже к помощи мадам де Севинье: «„Да, а теперь приведите пример из госпожи де Севинье”. — „Я признаю, — со смехом ответил я, — что это притянуто за волосы, но примеры я все-таки мог бы найти”»...

4

Пастернак, как мы помним, в письме 1929 года написал о Прусте: «Боюсь читать (так близко!) и захлопнул на пятой странице». А если бы не захлопнул и дошел до страницы шестидесятой, прочел бы о том, какая тоска находила на мальчика перед сном. «И все же те вечера, когда мама заходила ко мне на минуту, были счастливыми в сравнении с теми, когда к ужину ждали гостей и она ко мне не поднималась. Обычно в гостях у нас бывал только Сван». Прочел бы о том, как мальчик в своей тоске и страстном желании еще раз перед сном увидеть мать, но не смея спуститься в ночной рубаше из своей комнаты на втором этаже в гостиную, послал ей записку с Франсуазой — и получил отказ. (Мать считала необходимым воспитывать силу воли сына, боялась потакать его душевной слабости.) Прочел бы о том, что ночные звуки, долетавшие до его слуха, были похожи на мелодии, которые исполняет консерваторский оркестр под сурдинку.

И еще неизвестно, что включает в себя эта детская тоска, принявшая образ матери, нестерпимой любви к ней, — не содержит ли она также любви к гостям и взрослой жизни, к ее недоступной и непросматриваемой тайне.

«Мне представлялось, что если бы Сван прочел мою записку и догадался, какова ее цель, то моя тоска показалась бы ему смешной; между тем впоследствии мне стало известно, что та же самая тоска мучила его много лет, и, пожалуй, никто бы меня так не понял, как он; ее, эту тоску, нападающую, когда любимое существо веселится там, где тебя нет, где тебе нельзя быть с ним, вызывала в нем любовь, для которой эта тоска, в сущности, как бы и создана».

Фрейд с его «эдиповым комплексом» сделал, конечно, открытие важное, но недостаточное. Тоску, эту подоплеку жизни, нельзя свести к ревности, к желанию заместить отца, — эта ревность куда больше — к взрослой жизни, ко всем ее дарам, недоступным для тебя, в том числе — к разговорам за столом, которые волнуют ребенка так, что он запоминает обрывки из них на всю жизнь: он, а не взрослые — самый благодарный и впечатлительный слушатель! (А Сван, например, говорил в одном из таких разговоров, что надо в газетах, которые мы читаем ежедневно, печатать «Мысли» Паскаля — и наоборот, «в томах с золотым обрезом», которые достаем с полки от случая к случаю, — публиковать политические новости и светскую хронику.)

Так вот, возвращаясь к Пастернаку и его письму, отметим, что там было все-таки сказано: «Пруст года три назад был для меня совершенным открытием». И просто довериться, что прочитаны только четыре страницы, абсолютно невозможно. Было прочитано как минимум страниц шестьдесят, если не шестьсот.

На четвертой странице автобиографии («Люди и положения»), в главе «Младенчество», он рассказывает, как «проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали».

В отличие от несчастного французского мальчика, его «вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную». В гостиной, полной табачного дыма, он увидел «лакированное дерево» скрипки и виолончели. «Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высовывались из платьев, как именные цветы из цветочных корзин». Не правда ли, такая фраза создана для прустовского романа — и нечто похожее там где-нибудь есть наверняка.

Среди гостей сидел старик. Это был Лев Толстой.

«Эта ночь межевою векою пролегла между беспомощностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание...»

Лидия Гинзбург записала мнение Ахматовой по поводу этого случая, добавляя, что Ахматова считала Пастернака «удачником по природе и во всем — даже в неудачах»:

«У А.А. был свой вариант (совсем непохожий) эпизода, рассказанного Пастернаком... Излагала она его так: четырехлетний Пастернак как-то проснулся ночью и заплакал, ему было страшно. В ночной рубашке, босиком он побежал в соседнюю комнату. Там его мать играла на рояле, а рядом в кресле сидел старик с бородой и плакал. На другой день мальчику объяснили, что старик — это Лев Толстой.

— Боренька знал, когда проснуться... — добавляла Анна Андреевна». (Плачущий при музыке Толстой — это Ахматова взяла из воспоминаний Гольденвейзера — и досочинила за четырехлетнего Борю.)

Не только Ахматова — мы тоже завидуем четырехлетнему мальчику. Вот о чем надо было мне еще написать в эссе «Анна Андреевна и Анна Аркадьевна!» «Боренька знал, когда проснуться». Она тоже «проснулась», все они в той или иной степени «проснулись», — а рядом в кресле сидел старик с бородой и плакал».

Можно сказать, для многих из них, родившихся около 1890 года, с этой ночи (во всех гостиних взрослые говорили о Толстом) «пришла в действие память и заработало сознание».

5

Что касается «трех китов», на которых стоит двадцатое столетие, то иногда кажется (наверное, ошибочно), что к концу века два кита из трех потихоньку отвалили — и век теперь покоится, как в гипнотическом сеансе, когда из-под ног заснувшего убирают другую точку опоры (спинку стула), только на одном.

Кое-кто предлагает другую троицу. В книге приводится, например, высказывание Бродского (1991): «Для меня, разумеется, крупнейшее явление — это Пруст, второе — это наш соотечественник Андрей Платонов, третье — Роберт Музиль». (А в 1987-м, говоря о Горбачеве, Бродский советует ему начать просветительскую деятельность в стране публикацией Пруста в «Правде», — совсем как Сван.) Все-таки я ничего не преувеличил, вспоминая, как «мы» читали Пруста в шестидесятые годы (и составители книги правильно сделали, поместив в ней стихотворение Б. Ахмадулиной, в котором жимолость в саду внушала «Невнятный помысел о Прусте. / Смотрели, как в огонь костра, / до сна в глазах, до мути дымной, / и созерцание куста / равнялось чтению книги дивной»).

Возможны, как говорится, варианты, например: Пруст, Т. Манн, Хемингуэй. Не предложить ли двух китов из трех считать величинами переменными, чем-то вроде исполняющих обязанности, и. о. крупнейших млекопитающих в писательском животном царстве. И тогда наш короткий перечень может быть таким: Пруст, Набоков, Грэм Грин («Суть дела») — или таким: Пруст, Сэлинджер, Камю... Но Пруст, как видим, остается при любом раскладе.

6

Мандельштам свою статью о советской критике назвал «Веер герцогини». А я сегодняшнюю нашу передовую критику сравню с прустовской мадам Легранден-Говожо. Эта дама, считавшая себя знатоком искусства, придерживалась самых левых, самых модных, наиновейших, крайних взглядов. Искусство представлялось ей таким же торжеством прогресса, как наука и техника, сегодняшние достижения отменяли предыдущие. «Она мнила себя „передовой“; по ее собственному выражению, „все было для нее недостаточно левым...“, она воображала, что музыка не только прогрессирует, но прогрессирует в одном направлении и что Дебюсси — это что-то вроде сверх-Вагнера, это Вагнер, только чуть-чуть более передовой».

Страницы романа, посвященные беседе рассказчика с мадам Легранден-Говожо, я рекомендовал бы в качестве учебного пособия на филологических факультетах, наряду с книгами опоязовцев, умевших обнаружить самые скрытые связи современных авторов — с предшественниками. Скажу больше: может быть, Шкловский или Роман Якобсон с их увлечением Хлебниковым, по сравнению с которым и Маяковский недостаточно «левый и передовой», могли бы себя узнать не только в главном герое романа, но и в мадам Легранден-Говожо.

Не откажу себе в удовольствии привести здесь оригинальное стихотворение Романа Якобсона, вот оно:

мзгльбжвуо йихъяньдрью чтлэщк хн фя съп ськыполза
а Втаб-длкни тьяпра какайдчи евреец чернильница

Компьютер, на котором я набираю этот текст, подчеркнул красным цветом все слова, за исключением последнего слова «чернильница». Представляю, как он озадачен, — я тоже: не хотелось ошибиться и допустить неточность. Воображаю список опечаток, прилагаемый к такому тексту: «Напечатано: какаяздача, следует читать: какайдчи».

Наподобие театральной реплики, произносимой как бы на ухо зрителю в тридцатом ряду, замечу, что даже Тынянов, назвавший голос Ходасевича «не настоящим» («его стих нейтрализуется культурой XIX века»), забывший упомянуть в своем «Промежутке» М. Кузмина, тоже не свободен от эпохальной болезни века — погони за самым последним словом в поэзии и пренебрежением к последнему.

«„Ради бога, рядом с таким художником, как Моне, самым настоящим гением, не ставьте банального, бездарного старика Пуссена! Я не собираюсь от вас скрывать, что для меня он — мазилка, да еще скучнейший из мазилок... Моне, Дега, Мане — это художники!.. прежде я больше любила Мане. Я и сейчас обожаю Мане — как можно его не обождать? — но все-таки, пожалуй, отдаю предпочтение Моне. Ах, эти его соборы!” Она добросовестно, очаровательным тоном описывала мне эволюцию своего художественного вкуса. Чувствовалось, что для нее этапы его развития имеют не меньшее значение, чем разные манеры самого Моне».

Но ведь примерно так же смотрел Шкловский на Мандельштама. Тот был для него «неоклассиком», уже несколько устаревшим по сравнению с Маяковским или Хлебниковым, чем-то вроде Мане для госпожи де Говожо. В письме к Мандельштаму Шкловский назвал его стихи «заставленными», то есть слишком детализированными, тесными, предметными, культурными, — то ли дело широченная, почти ничем не нагруженная, газетная, плакатная строка Маяковского!

А в книге «Сентиментальное путешествие» о стихах из «Tristia» у него сказано, что их мог написать Козьма Прутков. И вообще «это стихи, написанные на границе смешного». Недаром в 1935 году в Воронеже Мандельштам жаловался в разговоре с С. Б. Рудаковым: «Я не Хлебников... Я Кюхельбекер — комичная сейчас, а может быть, и всегда, фигура... Оценку выковывали символисты и формалисты. Моя цена в полушку и у тех, и у других». Впрочем, все это не помешало Шкловскому называть Мандельштама «огромным поэтом».

«„Но ведь, — начал я, созная, что единственный способ реабилитировать Пуссена в глазах маркизы Говожо — это довести до ее сведения, что он опять в моде, — Дега утверждает, что, по его мнению, нет ничего прекраснее картин Пуссена шантильийского периода”. — „А что это такое? Я не знаю его шантильийских работ, — сказала маркиза де Говожо, — я могу судить только о луврских, и они ужасны”. — „А Дега в полном восторге и от них”. — „Надо еще раз посмотреть. Я их подзабыла”, — после минутного молчания ответила она таким тоном, как будто положительное мнение о Пуссене, которое ей волей-неволей придется скоро высказать, должно зависеть не от того, что она от меня узнала, а от дополнительной, и на этот раз уже окончательной, проверки, которую она рассчитывала произвести, чтобы переубедиться... я прекратил этот разговор, становившийся для нее пыткой...»

А все дело в том, что сами художники, поэты, композиторы, в отличие от передовой публики, критики и снобов вроде госпожи де Говожо, в своих вкусах и суждениях куда более терпимы, противоречивы и непоследовательны. Они-то знают цену подлинному таланту, и никакое обновление искусства невозможно без опоры на предшественников и современников, в том числе и самых «неподходящих». Не так ли Пастернаку понадобился Фет, которого презирали формалисты, — и ничего не стоит представить себе удивление какой-нибудь советской мадам Говожо, поклонницы Пастернака, ценительницы футуризма, узнающей об этой любви Пастернака где-нибудь в 1925 году. Точно так же была бы она ошеломлена, дай ей кто-нибудь прочесть в 1931 году «четвертую прозу» Мандельштама с требованием поставить памятник Зощенко в Летнем саду.

Через несколько страниц у Пруста тот же мотив повторяется, на этот раз — в связи с Шопеном. Передовая любительница искусств Легранден-Говожо, преклоняющаяся перед Дебюсси, третировала свою свекровь, старую маркизу, музыкантшу, ученицу Шопена, за ее любовь к «устаревшему» компози-

тору — и та не смела при невестке играть его пьесы. «Человеческое мышление, следуя обычным своим зигзагообразным путем, отклоняясь то в ту, то в другую сторону, вновь направило свет с высоты на некоторые забытые произведения, а стремление восстановить справедливость, возродить былое, вкус Дебюсси, его прихоть, слова, какие он, может быть, даже и не думал говорить, присоединили к этим произведениям произведения Шопена... Я не отказал себе в удовольствии сообщить ей (и я не откажу себе в удовольствии продолжить цитату. — А. К.), но сообщить, обращаясь к свекрови, — так на бильярде, чтобы попасть в шар, ударяют от борта, — что Шопен отнюдь не вышел из моды и что это любимый композитор Дебюсси. „Вот как? Интересно!“ — проговорила Легранден-Говожо, лукаво улыбаясь, как будто ей рассказали про какую-нибудь странность автора „Пелеаса“. Однако было совершенно ясно, что теперь она будет слушать Шопена почтительно и даже с удовольствием».

Что же касается ее свекрови, то «глаза ее заблестели, как глаза Латюда в пьесе под названием „Латюд, или Тридцать пять лет в тюрьме“».

Сколько раз за минувшее десятилетие я вспоминал эту прустовскую сцену! Обновление поэзии происходило ежемесячно, еженедельно; отличие от изложенного в романе состояло только в том, что кумиры, предлагаемые нам почтенными филологами и бесшабашными критиками со страниц газет и журналов, несопоставимы ни с Моне, ни с Дебюсси: вкус и понимание искусства мадам де Говожо несравненно выше.

7

«Писатель — всего лишь поэт», — сказал Пруст. И кое-чему научил, в частности, не бояться повторений, не стесняться многописания. Обязательно найдется в будущем человек, похожий на тебя, готовый пройти за тобой по всему волшебному лабиринту. И разве жизнь — не такой же лабиринт, только еще запутанней и чудесней? Упрощать его, сводить к однолинейному, прямо-направленному движению неинтересно. Ведь и наш мозг, и кровеносная система тоже разветвлены и извилисты.

Прустовская мысль, прустовская фраза разветвляется, набирает по дороге смысл, о котором не догадывалась вначале, мы присутствуем при ее становлении, при самом процессе мышления, меньше всего похожем на рациональный акт, больше всего — на музыкальную фразу Вентейля, «принадлежащую все-таки к разряду существ сверхъестественных». Бог у Пруста приходит к человеку в тысяче самых разных обликов: он может пролиться золотым дождем, как на Данаю, но предпочитает, кажется, прийти к нам самим рембрандтовским полотном.

Поэтическая речь так же ветвиста, петляет и сбивается с пути и возвращается с прибылью благодаря ритму и рифме, пробиваясь с их подсказкой к непредсказуемому результату.

Прустовский роман не считается ни с какими законами жанра, так он огромен, — недаром его не хотел издавать ни один издатель. Публикуя первый том за свой счет, автор намеревался сделать его в шестьсот страниц, без абзацев даже для диалогов: «В непрерывный текст входит больше слов», — объяснял он. Луи Робер, его друг, с трудом убедил его ограничиться пятьюстами страницами и дать согласие на несколько абзацев! Зато войти в роман Пруста и выйти из него можно на любой странице: сюжет не имеет привычного значения, ты захвачен не им, а первой же мыслью, выбежавшей тебе навстречу. Больше всего он похож на книгу стихов, нет, не книгу стихов — собрание стихотворений.

А еще этот лабиринт не надоедает потому, что, в отличие от каменного, ушедшего под землю, не стоит на месте, меняется от года к году, от книги к книге — вместе с автором. О таких подспудных переменах Пруст писал в связи с поэзией Гюго: «В своих первых стихах Виктор Гюго еще мыслит, вместо того чтобы, подобно природе, только наводить на размышления».

Прозаик Бергот, композитор Вентейль, художник Эльстир — вот кому в романе, кроме бабушки и матери, отданы симпатии автора. Нет только поэта, потому что поэт в романе — это сам автор, не пишущий стихов, но обладающий тем поэтическим взглядом на мир, который и сделал его роман самой поэтической прозой XX века.

«Поэт обретает красоту внешнего мира, с ликованием делясь ею с другими, — красоту как стакана с водой, так и бриллиантов, как бриллиантов, так и стакана с водой, как поля, так и статуи, как статуи, так и поля». И невольно подумаешь, что во все века живет один и тот же поэт, ибо между Прустом и сегодняшним поэтом больше общего, нежели между Прустом и каким-либо случайным его современником.

8

В книге «Против Сент-Бёва» Пруст замечательно объяснил глубокий изъян «биографического метода». «Этот метод идет вразрез с тем, чему нас учит более углубленное познание самих себя: книга — порождение иного „я“, нежели то, которое проявляется в наших повседневных привычках, общении, пороках», — иными словами, о писателе надо судить по его книгам, а не по тому, как он пьет чай, ухаживает за женщинами, относится к друзьям, тратит деньги и т. д. Вот, например, что Пруст писал о Бодлере: «...человек, уживающийся в одной телесной оболочке с гением, имеет с ним мало общего; близким раскрывается лишь человеческая сущность гения, и потому бессмысленно, подобно Сент-Бёву, судить о поэте по его человеческим качествам или по отзывам друзей. Что до самого человека, он — всего лишь человек и может даже не подозревать, каковы намерения живущего в нем поэта». Или как сказал другой поэт, русский: «А человек — иль не затем он, чтобы забыть его могли?»

Биографический метод, имея дело с человеком, а не с книгой, созданной им, упускает главное — вдохновение. Бергот — прустовский персонаж, прозаик и эссеист — был не самым блестящим собеседником, но тайлось в нем нечто более важное, чем интеллект или манера вести себя в обществе, — умение перевести горизонтальный полет в вертикальный подъем, и, «возвращаясь домой в прекрасных роллс-ройсах», его светские приятели «могли с некоторым презрением говорить о вульгарности Бергота, а он на своем скромном аэроплане, наконец „оторвавшись от земли,“ летал над ними».

«Пруст был знаком со многими великими, — пишет современный исследователь (А. Д. Михайлов), — с Мопассаном, Доде, Золя, Анатолем Франсом, с Оскаром Уайльдом, с актрисой Рашель... но присмотримся к очень немногочисленным фотографиям, где он запечатлен в их обществе: он всегда держится как-то сбоку, однако это не „знание своего места“, а жизненная позиция. Да и в маленьком кружке друзей он отнюдь не верховодил, тоже держась на периферии».

Почему мемуары часто разочаровывают? Потому что человек в них взят вне той единственной сферы, где он по-настоящему интересен, за пределами письменного стола.

«Почему факт знакомства со Стендалем позволяет судить о нем? — спрашивает Пруст. — Возможно, наоборот, мешает», — и в качестве примера приводит суждение о Стендале Сент-Бёва, лично знавшего Стендала: «Я перечел, или скорее попытался это сделать, романы Стендала; они просто омерзительны».

Выступление Пруста против Сент-Бёва — это еще и предупреждение его будущим исследователям и биографам: он предвидел, каким страшным может предстать его собственный облик в их книгах. Затворничество в запущенной комнате со стенами, обитыми суберином (пробковым покрытием) — для защиты от шума, ингаляционный прибор и клубы окуриваний, помогавшие ему от астмы, ночной образ жизни, гомосексуализм... В воспоминаниях одного из современников запечатлен жутковатый его портрет незадолго до смерти: длин-

ное пальто, «большие глаза египетской танцовщицы», черные круги под глазами, прямые, черные, длинные, плохо подстриженные волосы, запущенные усы. Грязный пристежной воротничок, затертый галстук, болтающиеся брюки, сшитые десять лет назад. «У него был вид гадалки», «несмотря на свои усы, он похож на шестидесятилетнюю еврейскую даму со следами белой красоты»... Разумеется, в молодости он был не таким. Разумеется, это человек при смерти, махнувший на себя рукой, человек в погоне за утраченным временем, торопящийся закончить книгу и знающий, что смерть его опередит. Имеет ли это какое-либо отношение к автору «Под сенью девушек в цвету»? Смертная, изношенная, обреченная оболочка — и великая душа (не побоимся высокого слова), создавшая несравненный роман о любви.

9

Прустовские метафоры непредсказуемы и парадоксальны. И все-таки, может быть, правильно будет заметить, что если у Толстого за всем стоит «народный», крестьянский взгляд на вещи — и потому люди на светском рауте уподобляются у него перелопачиваемому зерну, то для Пруста наиболее характерны все-таки ассоциации культурные — связанные с искусством, наукой, историей. И, конечно, с природой, но, как бы сказал Кузмин, природой «оприроденной», а не «природствующей».

Глядя на Робера Сен-Лу, рассказчик думает, что мужественный очерк его треугольного лица больше подходил бы средневековому лучнику, нежели утонченному эрудиту. Под тонкой кожей его лица угадывалась «дерзость сооружения, феодальная архитектоника». А дальше идет одна из тех головокружительных метафор, о которых только что шла речь: «Его голова напоминала башню старинного замка, зубцы которой хоть и отслужили свою службу, но не сломаны: в башне теперь размещено книгохранилище».

А вот первое появление стайки «девушек в цвету» — они так не похожи на других примелькавшихся на набережной людей, как отличалась бы от всех «залетевшая невесть откуда стая чаек, гуляющих мерным шагом по пляжу, — отставшие, взлетая, догоняют их, — причем цель прогулки настолько же неясна купающимся, которых они словно не замечают, насколько четко вырисовывается она перед птичьими их умами».

В другом месте стайка уподоблена живой изгороди, розовому кусту. И античному барельефу. И коралловому рифу.

И все вместе они являли «мерное колыхание, непрерывное излучение теплоты, собирательной, движущейся красоты». Альбертина, Андре, Жизель, Розамунда... И только в одном эпизоде для читателя, способного сохранить критический взгляд на вещи, уже находясь под полным, гипнотическим обаянием этой прозы, вдруг всплывает одна странная, едва ли правдоподобная деталь: старшая в стайке, воспользовавшись эстрадой как трамплином, перепрыгивает через старика, сидящего на складном стуле под эстрадой: «Она перескочила через перепуганного старика, задев своими ловкими ногами его морскую фуражку, чем доставила огромное удовольствие другим девушкам...» «„Бедный старикашка, мне его жаль, — ведь он чуть было не окочурился”, — с легкой насмешкой в хриплом голосе сказала одна из девушек». Потом, страниц сто спустя, мы узнаем, что через старика перепрыгнула Андре, самая умная, впечатлительная, склонная к состраданию, самая начитанная, самая болезненная, чуткая среди них. «Она садилась в казино рядом со мной и могла — в отличие от Альбертины — отказаться от приглашения на тур вальса или даже, когда я устал, шла не в казино, а в отель». Таких разных, обворожительных, обольстительных девушек до Пруста, кажется, не было в литературе. «Глаза у ее подруги были необычайно светлые, словно дверной проем из темного помещения в комнату, освещенную солнцем и зеленоватым отблеском искрящегося моря». Если бы не тот прыжок через старика... Только здесь, один-единственный раз на протяжении всего чтения, мелькает догадка, закрадывается

подозрение: уж не юноши ли это? Как будто смотришь на березовую ветвь и среди округлых ее листочков, «в этих тысячах и тьмах», вдруг замечаешь один разлапистый, пятиугольный, кленовый...

10

Пруст приглашает нас к размышлению каждой своей фразой. Не представляю себе его книги без карандашных помет. Так читают стихи, ставя над стихотворениями «птички». Я поостерегся бы дать почитать кому-нибудь свой экземпляр: мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь получил возможность так глубоко заглянуть мне в душу. Что такое «любовь Свана»? — ведь это история нашей с вами любви, читатель, даже если она была совсем другой. Выберу что-нибудь менее интимное, ну вот хотя бы этот отчеркнутый мною абзац: «Но маркиза Вильпаризи была похожа на тех эрудитов, которые изумляют, когда заводишь с ними речь об египетской живописи, об этрусских надписях, и которые не идут дальше общих мест в оценке произведений современных, так что невольно задаешь себе вопрос: уж не преувеличил ли ты трудность предметов, которые они изучают: ведь и там должна была бы сказаться их посредственность, однако она дает себя знать не там, а в их бездарных статьях о Бодлере...» Почему я помечаю карандашом это место? Потому что здесь на память мне приходят Х и У, филологи, знающие как будто все на свете, — и в то же время лишенные слуха, то есть не способные отличить в сегодняшней поэзии настоящее стихотворение от подделки: сельский библиотекарь, свободный от научных разысканий, понимает стихи так, как и «не снилось нашим мудрецам!» Что Х или У! Иногда кажется, что и модный наш филологический журнал — такой коллективный эрудит. Мне повезло: я дружил с Лидией Гинзбург, Борисом Бухштабом — «младоформалистами», замечательными учеными, любившими и слышавшими стихи. Когда-то казалось: это норма, теперь вижу, что это драгоценное исключение.

11

Открыть наугад, на любой странице, Пруста; открыть Толстого: « „А где ординарец Праскухин, который шел со мной?“ — спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились. „Не знаю, убит, кажется“, — неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте».

Вот и весь героизм. Или скажем по-другому: Толстой показывает, что беспримесных чувств, «чистых» цветов в жизни нет, что понятие того же героизма так же относительно, как понятие «красный» или «зеленый» цвет, — зато есть бесконечное множество их оттенков. Храброе поведение перемешано с тщеславием, самолюбованием, мелкими карьерными соображениями и т. д. Все это и есть психологизм — правда о человеке. Нет необходимости приводить выдержки подобного рода из Пруста — они у него на каждом шагу. Достаточно вспомнить «красные туфли герцогини»: ей некогда поговорить с заболевшим (умирающим) другом, приехавшим к ней повидаться (может быть, в последний раз), ведь она торопится на званный обед. Зато, спохватившись, что забыла сменить туфли, возвращается за ними — на это у нее время есть. При этом мы бы очень ошиблись, подумав, что она плохо относится к Свану или не испытывает к нему никакой жалости.

И еще несколько слов о самих поисках утраченного времени. Долго топтаться на этом не хочется: даже те, кто Пруста не читал, знают о кусочке бисквита «мадлен», или желтой, твердой, крахмальной салфетке в буфетной у Германтов, или неровности парижской мостовой, помогающих, наподобие внезапного озарения, вернуть автору прошлое, вспомнить детство в Комбре, гостиницу на морском берегу в Бальбеке, площадь Святого Марка в Венеции.

Нарочно такой прорыв не осуществить, специальные усилия памяти напрасны, — случайная вещь размыкает время, освобождает нас из его плена.

Но есть, есть и другие способы вдруг увидеть всю прожитую жизнь — в одно мгновение. Об одном из них, ставшем знаменитым не меньше, чем эпизод с прустовским бисквитом, только очень страшном, рассказал Толстой: его Праскухин в аршине от крутящейся бомбы за мгновение до смерти успевает увидеть всю свою жизнь, вспомнить про долг в двенадцать рублей, услышать цыганский мотив, разглядеть женщину, которую он любил, «в чепце с лиловыми цветами», и «тысячи других воспоминаний». На что похож этот эпизод? Сегодня мы сказали бы, что жизнь, выскользнув из рук, как моток фотопленки, падающий на пол, раскручиваясь с бешеной скоростью, предъявляет прошлое — кадр за кадром.

12

Эльстир — суммарный образ художника, включивший в себя черты Ренуара, Дега, Моне, всех импрессионистов, хотя Пруст, кажется, был знаком только с Дега: ведь расцвет их творчества (1870 — 1880-е годы) пришелся на его детство. И все-таки новому взгляду на вещи, людей и природу он учился по лучшему и самому современному учебнику на свете — их живописи. «После того, как Эльстир показал мне свои акварели, мой взгляд начали притягивать к себе те же явления и в живой жизни; я увидел поэзию в прерванном мелькании ножей, все еще косо лежавших на столе, в выпуклой округлости брошенной салфетки, в которую солнце вшивает клин желтого бархата...» Тот же Эльстир обращает внимание молодого человека на новые живописные сюжеты: спортивные состязания, морские прогулки на яхте, пляжные купания, ипподром... «Взять хотя бы это странное создание — жокея: на него устремлено столько взглядов, а он мрачно стоит на краю paddock'a, серенький, хотя на нем ослепительная куртка, составляющий единое целое со своей гарцующей лошадей, которую он сдерживает, — как было бы интересно написать его жокейские движения, показать яркое пятно, какое он, а также масть лошадей, образует на беговом поле!» И дальше: «Какими красивыми могут быть здесь женщины... при влажном, голландском освещении, а голландское освещение — это когда пронизывающая сырость ощущается во всем, даже в солнце. До этого мне ни разу не приходилось видеть женщин с биноклями, подъезжающих в экипажах, при таком освещении, а влажность этого освещения зависит, конечно, от близости моря». В этих описаниях Пруст не уступает ни Мане, ни Дега, ни Ренуару... Этих женщин с биноклями, эти жокейские движения, эти яркие пятна и гарцующих лошадей мы видели у них. У них, но и еще где-то... Где?

«Потные, измученные скакавшие лошади, проваживаемые конюхами, увиделись домой, и одна за другой появлялись новые к предстоящей скачке, свежие, большею частью английские лошади, в капорах, со своими поддернутыми животами, похожие на странных огромных птиц...» И лошади, и наездники, и дамы в экипажах, а потом — с биноклями и зонтиками — в беседке. И эти переливающиеся в солнечных лучах «столбы толкачиков-мошек, вившихся над потными лошадьми».

Георгий Иванов не прав: с Толстым ничего «не делается», он не вянет и не блекнет. Мало того, его красносельские скачки динамичнее и едва ли не сильнее, чем в Эпсоме, и если отличаются от французских, то примерно так же, как «русская рулетка» или дуэль на расстоянии шести шагов отличаются от французской дуэли на рапирах — до первой царапины. И лошадь с переломанным хребтом бьется у ног Вронского, как подстреленная птица, и Анна «стала биться, как пойманная птица: то хотела встать и идти куда-то, то обращалась к Бетси. „Поедем, поедем“, — говорила она».

Поразительно! У Толстого в романе выведен художник Михайлов, презирающий любительские упражнения Вронского, пишущий картину на еван-

гельский сюжет («Увещание Пилатом»), живущий в Италии (не во Франции с ее новой живописью!), но в своей прозе Толстой похож на Дега, Мане, Ренуара, которых никогда не видел. Не видел, но отзывался пренебрежительно, с чужих слов — в трактате «Что такое искусство?». Никогда не видел, но в те же самые годы, когда их живопись взошла на горизонт, превзошел их достижения, потому что сумел, наряду с новыми ракурсами и непредвзятым видением вещей, передать не только внешнее, но и скрытое под ослепительной поверхностью драматическое напряжение человеческой жизни.

И если Пруст — великий писатель, то еще и потому, что так же, как Толстой, сумел соединить поэтический взгляд на мир с трагической подоплекой вещей и явлений, — таковы в его романе любовь Свана, смерть бабушки, гибель Альбертины и страдания «автора» с его отчаянием и ревностью к умершей.

2001.

С.-Петербург.

* *
*

Мне весело, что Бакст, Нижинский, Бенуа
Могли себя найти на прустовской странице
Средь вымышленных лиц, где сложная канва
Еще одной петлей пленяет, — и смутиться
Той славы и молвы, что дали им на вход
В запутанный роман прижизненное право,
Как если б о себе подслушать мнение вод
И трав, расчесанных налево и направо.

Представьте: кто-нибудь из них сидел, курил,
Читал четвертый том и думал отложить — и
Как если б вдруг о нем в саду заговорил
Боярышник в цвету иль в туче небожитель.
О музыка, звучи! Танцовщик, раскружи
Свой вылепленный торс, о живопись, не гасни!
Как весело снуют парижские стрижи!
Что путаней судьбы, что смерти безопасней?

1979.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

ПЕРЕУЛОК — НЕ ТУПИК

Олег Павлов. В безбожных переулках. — «Октябрь», 2001, № 1.

Вероятно, есть какая-то закономерность в том, что многие прозаики среднего поколения не сговариваясь стали писать мемуарные повести о своем детстве. Назову только самые заметные имена: Петр Алешковский, Алексей Варламов, Андрей Дмитриев, Олег Павлов.

И почти в каждом случае мы имеем дело с неизбежным набором компонентов: дедушка и бабушка (с одной или обеих родительских сторон), мать и отец (фигура отца показана особенно напряженно), первые детские страхи (не страшные на взрослый взгляд, однако оказывающие мощное влияние на формирование души ребенка), коллекция более или менее случайных посторонних персонажей (иногда, как в последней повести Андрея Дмитриева «Дорога обратно», оказывающихся главнейшими). И это-то уж точно не случайно. У русских повестей о детстве со времен «Рыцаря нашего времени» Карамзина и аксаковских «Хроник» сложился вполне определенный «генетический код», нарушить или преодолеть который едва ли получится без нарушения первичных законов художественности именно этого жанра.

Олег Павлов всегда был не в ладах с жанрами. Его самая известная «Казенная сказка» — повесть? Пожалуй — да, но только в той мере, в какой она *не* роман и *не* рассказ. «Дело Матюшина» — разумеется, не роман, хотя по объему, по охвату биографии героя — разумеется, и не повесть. Предпоследняя вещь Олега Павлова под названием «Школьники» — в большей степени повесть, нежели рассказ, а вообще — «история», «эпизод». Или, вернее сказать, «истории» и «эпизоды», прихотливо сцепленные в «нечто» и объединенные одним замыслом: показать драму еще одного «гадкого утенка», мальчишки, не способного гармонично раствориться в школьном коллективе. К публикации «Переулков» автор и редакция журнала вообще не сообразовали поставить какое-либо жанровое обозначение.

Можно спорить о том, хорошо это или плохо. На мой вкус, гегемония жанра никогда не мешала проявлению художественной личности. Но Павлов есть Павлов, он бредет своей дорогой, своими «переулками», и советовать ему что-либо на этом пути надо с большой осторожностью, можно оказаться правым в частности и промахнуться по существу.

«Генетический код» тем не менее сработал и в павловской повести (все-таки повести) — и едва ли не увереннее, чем в случае других вышеназванных прозаиков. Повесть Павлова безошибочно отсылает к классическим образцам, и прежде всего, конечно, к «Детствам» Льва Толстого и Горького, несмотря на то что это две вещи принципиально разные по духовной идеологии.

Поначалу кажется, что действие безнадежно утопает в деталях. Но постепенно, по мере вживания в текст, начинаешь испытывать наслаждение от этой подробности. Каким-то образом Павлов заставляет увлечься этим странным миром постоянно скандалящих и ненавидяще-любящих друг друга взрослых, в центре которого волей Промысла оказался чуткий, наблюдательный, сердечный ранимый маленький герой. Даже не знаешь, чего здесь больше: страшного или трогательного. Порой как раз самое страшное, вроде пьяной деградации отца или попытки мальчика покончить с собой, и оказывается самым трогательным.

Павлов всегда был щедр на подробности, но не всегда они получались достоверными, часто в них чувствовался авторский нажим, «сделанность» (порой мас-

терская, но все же искусственная). «Школьники», например, пестрели подобными жестяными блестками, вроде шпилек в волосах нелюбимой учительницы, похожих почему-то на жерла пушек. В последней повести, как мне показалось, Павлов меньше всего вспоминал о том, что он писатель, и это пошло его писательству только на пользу. Я сильно подозреваю, что это вообще негласный закон любого творчества.

Киевский дедушка, «генерал Иван Яковлевич Колодин», похожий на Брежнева и оттого находящийся с ним в особых, каких-то сокровенных, отношениях. «Стоило диктору или дикторше произнести слова „Леонид Ильич Брежнев“, как дед восклицал: „От губошлеп! Развалил, понимаешь, партию, допустил, понимаешь...» — „Ну что ты брешешь? Что ты брешешь? И охота тебе брехать?“ — подавала голос бабка. „Эх вы, сани, мои сани, сани новые мои! — смеялся дед, чтобы позлить ее. — Много знаете вы сами...» — „Уж знаю, Ваня, сам-ка ты лучше помолчи“. Когда в телевизоре всплывало бровастое, с массивным скошенным подбородком лицо, дедушка поневоле замолкал, а потом беззлобно шерился и цедил: „Ну, здравствуй, Леня...»

В этой сценке все закончено и гармонично. В ней удивительно тонко подана картина *издыхающего* поколения большевиков, этого уже беззубого дракона, по своему трогательного и симпатичного, как в мультике Котеночкина про Ивана-солдата.

Вообще, дед показан великолепно. Его отношения с бабкой уложились в нескольких строках. «Дед очень опасался и другого: чтобы не умерла она раньше, чем он. Своим здоровьем он любовался, гордился, не допуская того положения вещей, что бабушка его переживет. Но что она не доживет до глубокой его старости — это деда тоже угнетало и мучило. Он не находил решения: раньше ее он умереть никак не должен был, а после ее смерти жить и в мыслях не мог».

Павловские дед и бабка столь же напоминают горьковских Дедушку и Бабушку, сколь и гоголевских старосветских помещиков. И даже случайные совпадения кажутся неслучайными: бабушка называет внука «Олешей», а действие происходит в Малороссии. Это — «идиллия», изображенная умным и ироничным пером, — очень важный компонент классической русской прозы.

Идиллия заканчивается, едва речь заходит о матери и отце. Мать и отец показаны зыбко и как бы недоумевающе. Самые близкие люди суть самые непонятные. Фигура отца смутно возникает откуда-то из темноты, из чужого мира. Даже когда он рядом, он все равно далек. Даже когда он обнимает, это странно. Даже если он любим, то с опаской. Новый год, елка, гости, ссора с сестрой. «...я чувствую, что сделал плохо всем и что-то ушло из комнаты — она холодная теперь и чужая. От чувства вины брожу за отцом, куда б он ни пошел: он курит угрюмо на кухне, развалившись на другом диване, на кухонном, — обношенном скрипучем старичке, а я стою одиноко в дальнем от него краю кухни, у двери, немножко прячась за косяк, так стою, будто подглядываю из-за угла...»

И все же: «Первое в детстве — это влюбленное в него (в отца. — П. Б.) желание побороться с его силой или пойти безоглядно на то испытание, на которое он посылал».

Но здесь же: «Я заразился ненавистью к нему, как болезнью».

Отец становится понятен только в момент слабости, падения. Вот он пьяный, униженно бегаёт за новой и новой бутылкой. «Когда он убирался, делалось покойно, но страх, что он снова вернется, угнетал...»

В повести Павлова много таких жестоких подробностей «безбожных переулков», в которых плутает душа маленького героя. На первый взгляд это всего лишь частная душевная биография. В последней своей вещи Павлов всячески удерживался от нравственных обобщений, от символической многозначительности, сфокусировав ее только в названии. Но, может быть, именно поэтому повесть и дышит свободно и читается с трепетом, будто твоя собственная биография?

Павел БАСИНСКИЙ.



ВОКРУГ ОТСУТСТВИЯ

Лев Лосев. Собранное. [Стихи, проза]. Екатеринбург, «У-Фактория», 2000, 623 стр.
Лев Лосев. Sisyphus redux. Пятая книга стихотворений. СПб., «Пушкинский фонд», 2000, 61 стр.

Н и у одного русского лирического поэта проблема отсутствия собственного «я» не ставилась так остро, как у Лосева; впрочем, возможно, у других русских поэтов просто не было этой проблемы — либо они ее не осознавали.

У Блока — две сотни стихотворений, начинающихся с «Я», и примерно столько же — с «Ты»; у Лосева не только почти нет стихов на «Я» и «Ты», но главные коллизии разворачиваются именно вокруг отсутствия лирического героя («И быются язычки огня вокруг отсутствия меня»). Прежде чем сказать «Я», трижды спросишь себя — кто я-то? Своего рода исчезновение материи, которое постигло физиков в конце девятнадцатого века, а лириков — на сто лет позже. Заглядываешь в атом, глубже, глубже, глубже, — а там ничего. Впрочем, скорее всего — это случай лично Лосева, Алексея Лифшица. Эта тема звучит у Лосева настойчивее всех прочих: «Я обезврежен, я пуст, я слышу оболочки хруст»; «Или еще такой сюжет: я есть, но в то же время нет...»; «Я пена по Волге, я рябь на волне, иврито-гибрид-рыбоптица, А. Пушкин прекрасный кривится во мне, его отражение дробится. Я русский-другой-никакой-человек. Но едет и едет могучий Олег». Можно бы процитировать и всю довольно истерическую позднюю поэму «Игра слов с пятном света» — лихорадочную попытку нащупать в себе ту самую светящуюся точку. Сравнительно ранний автопортрет — попытка ответить на вопрос, кто же такой Лев Лосев, — опять-таки не предлагает ничего определенного: «Левлосевлосевлосевлосевон — онононононониуда, он предал Русь, он предает Сион, он пьет лосьон, не отличает он добра от худа, он никогда не знает, что откуда, хоть слышал звон». И то сказать: «После стольких лет утруски как ответишь тут на простой вопрос по-русски: как тебя зовут?»

Один из поздних автопортретов Лосева — пожалуй, самый откровенный — так и называется: «Нет». «Вы русский? Нет. Я вирус спиды, как чашка, жизнь моя разбита, я пьян на выходных ролях, я просто вырос в тех краях. Вы Лосев? Нет, скорее Лифшиц, мудака, влюбившийся в отличниц, в очаровательных зануд с чернильным пятнышком вот тут. Вы человек? Нет, я осколок, голландской печки черепок — запруда, мельница, проселок... а что там дальше, знает Бог». Тут-то, правда, есть хоть утешение — ощущение себя частью чего-то этакого, однако описанного крайне общо и невнятно. Лосевская муза вообще подслеповата, как и сам поэт, регулярно напоминающий читателю о своей близорукости. Не оттого ли пресловутой кушнеровской пристальности (Кушнеру очки как раз не мешают) или прицельной бродской точности, обеспечиваемой ненавистью, у Лосева тоже нет? Пейзаж размыт, и даже обещаешь: «Я лягу, взгляд расфокусирую, звезду в окошке раздвою и вдруг увижу местность сирую, сырую родину мою», — остается в значительной степени обещанием: взгляд именно слишком расфокусирован, и расфокус этот какой-то хронический. Приметы отечества у Лосева сплошь самые общие: «Вот город. Вот портреты в пиджаках. Вот улица. Вот нищие жилища. Желудком не удержанная пища. Лучинки в леденцовых петушках». Или: «Железного каната ржавые ростки. Ведущие куда-то скользкие мостки. Мясокомбината голодные свистки». «Помнишь ли землю за русским бугром? Помню, ловили в канале гандоны багром, блохи цокали сталью по худым тротуарам, торговали в Гостином нехитрым товаром: монтировкой, ломом и топором». Все это предельно безрадостно, а главное — опять-таки — общо: «Родной мой город безымян...» «Дались вам эти имена!» Пейзаж приобретает все более литературные черты, словно аппликация из странички Достоевского: «Идет на парад оборонка. Грохочут братья камазовы, и по-за ними стелется выхлопной смердяков». Оно и понятно: «А Муза Памяти?

Редакция предупреждает читателей о том, что в некоторых приведенных автором цитатах употребляется ненормативная лексика.

Тю-тю, ее давно и след простыл». Память осталась одна — о словесности: «Забытые деревни», передающие привет не столько Некрасову, сколько Лескову или стилизаторам серебряного века, — это деревни, конечно, не потемкинские, но уж точно ремизовские или афанасьевские, фольклорные (хотя не менее трогательные оттого). Для Лосева существует только та отчизна, которую преобразило слово, — реалии как таковые вызывают понятную брезгливость, которая вообще является одной из главных составляющих его мировоззрения: если б существовала муза брезгливости, Лосев был бы ее любимцем.

Замечание в скобках. Сегодня анализ текстов Лосева вообще сделался редкостью, поскольку в современной литературной иерархии (выстраиваемой, правда, в изданиях весьма крайних и людьми весьма молодыми) Лев Лосев стал — возможно, сам того не желая — каким-то заместителем Иосифа Бродского, не то чтобы наследником (диспропорция слишком наглядна), но каким-то, так сказать, ВрИО. Статусно Лосев действительно лучше всех годится на эту роль — эмигрировал в семидесятых, поныне не вернулся, в России бывает редко, наездами и, кажется, без особенной охоты; литературная репутация безупречна; пишет очень хорошие стихи. При всей любви автора этих строк, например, к Кенжееву (тоже проживающему по большей части за границей) видно, что Лосев попросту интересней, не говоря уж о чисто звуковой его силе, и поиск его проходит гораздо ближе к передовым рубежам отечественной поэзии, к ее форпостам. Так что в своем новом статусе классика (а некоторые глянцевики обозреватели производят Лосева даже в ранг «лучшего русского поэта современности», от чего его самого, должно быть, воротит) Лосев буквально захлестывается потоком лести. Перед ним стараются выслужиться, памятуя о том, скольких малоодаренных авторов Бродский, по добродушию или равнодушию — скорей всего по чувству вины таланта перед бездарью — выручал то предисловием, то приглашением, то теплым университетским местечком. Потому-то Лосев, тоже университетский преподаватель, главный поэт русского зарубежья, выслушивает такое число заискивающих, монотонных похвал. Рискнем несколько поручить эту благодать и заметить, что политические, например, стихи Лосева выдают какую-то даже не эстетическую, а и нравственную глухоту — и при всем при том полны самоочевидностей, газетных банальностей в худших традициях постперестроечной прессы: «Как всякий старый сталинист, был Чаушеску зол и туп. Хлестнул его свинцовый хлыст и превратил в холодный труп». Ай как славно. Иронично. Порадуемся за свободный народ. «В избе неприятно, на улице грязно, подошли в пруду караси, все бабы сбесились — желают оргазма, а где его взять на Руси!» В иных газетах писали лучше. К сожалению, именно эти фельетонные обертоны, прокрадываясь в ностальгические стихи Лосева, портят всю картину — то упоминанием аэродромной колбасы, единственной на всю область, то очередными инвективами против антисемитов, хотя сколько-нибудь серьезного анализа пресловутого русско-еврейского вопроса мы у Лосева не найдем — и, может быть, слава Богу.

Надо ли удивляться, что у поэта, который так мало уверен в собственном существовании и тем более в существовании внешнего мира, главная лирическая тема — любовь — тоже присутствует в каком-то очень редуцированном, особо стыдливом и целомудренном виде. Ее, собственно, почти и нету — то ли настолько сильна, то ли, напротив, настолько незначительна; хочется верить в первое. На всем шестистраничном пространстве «Собранного» лирическая героиня отсутствует полностью — или присутствует как участница диалога «Норковый ручей. Подражание Фросту»; но там любовная тема загнана в подтекст еще более глубокий, нежели у Фроста. У Лосева совершенно нету стихов о любви.

Остается метафизика, Бог — и тут Лосев на редкость откровенен, даже напорист, случаются у него прямые повторы. Лосев все время требует от себя (и очень хорошо, что не от Бога) веры. Ведет сам с собою предельно жесткий диалог на эту тему. И снова не договаривается ни до чего определенного: «Угоден ли Богу агностик, который не знает никак — пальто ли повесить на гвоздик или толстого тела тюфяк?» (Сказано, по-моему, хорошо — прямо и безжалостно.) «„Возможно ли не верить в бессмертие души, но все же слушать ангелов, посланников Господних?“

Ждет отправленья пароход, а я стою на сходнях, и подо мной мелка вода и шумны камыши, и незнакомый бережок передо мной в тиши. „Ведь я могу сказать „ревю”, могу сказать „еврю” — так почему же я одно никак не говорю?” Туман, и все-таки тропа свое не прекращает гнуть. Пора куда-нибудь шагнуть — уже трубит труба». Почему уж так непременно пора, почему собственный честный агностицизм не устраивает Лосева? То ли лета клонят к компромиссу, то ли со временем поэт обрел утешение в самой возможности вопрошания: «„Ты веришь, что дочь Иаира воскресла, и дали ей есть, и, вставши, поела девица? В благоую ты веруешь весть?” — „Не знаю, все как-то двоится...” В ответах тоскливый сквозняк, но розовый воздух в вопросах. Цветет вопросительный знак, изогнут, как странничий посох». Ну, пусть цветет. Не обязательно, в конце концов, верить в загробные воздаяния или иные приключения — для лирики достаточно ощущать Присутствие (без которого, как показывает опыт, всякое стихотворчество делается безнадежно плоским). Присутствие — вот оно, хотя радости не добавляет: «Он в халате белоснежном, в белом розовом венце, с выраженьем безнадежным на невидимом лице». Невидимое, да; но безнадежность — различима.

Вот такой парадокс: лирического «я» нет, родины — кроме литературы — нет, любви нет, Бог полуприсутствует, угадывается («Незримый хранитель над ними незрим»), но надежды нет уж точно. А поэт — есть, наличествует, несомненен. В этом и состоит главное лирическое противоречие Лосева, и только им, подозреваю, он ценен для русской словесности, хотя огромны и чисто формальные его заслуги: множество оригинальных рифм, неизменно изящная композиция, живая и естественная речь с элегантными вкраплениями жаргонизмов, канцеляризмов и неприличностей.

Подчеркиваю: лосевское «отсутствие автора» ничего общего не имеет со «смертью автора», любимым тезисом постмодернистов. Автор жив, вот он. Но — как и Бог — не показывается: «Он слышит звон, как будто кто казнен там, где солома якобы едома, но то не колокол, то телефон, он не подходит, его нет дома». Чуть ли не десять лет спустя тот же «левлосев» (начавший писать серьезные стихи довольно поздно, а потому и меняющийся довольно мало) повторит почти дословно: «И когда кулаком стучат ко мне в двери, когда орут: у ворот сарматы! оджибуэи! лезгины! гои! — говорю: оставьте меня в покое. Удаляюсь во внутренние покои, прохладные сумрачные палаты». Покои, прямо скажем, неприятные, равно как и часы: «И граница его на замке» («Сонатина безумия»).

Очень может быть, что где-то во внутренних покоях, граница которых — на замке, пребывает, по Лосеву, и Бог. Не видящий уже никакого смысла откликаться на непрерывные мольбы и призывы, исходящие главным образом от трусов и пошляков. Не открою Америки, если скажу, что все поэты делятся на две категории: одни в неведомую точку, обозначаемую Божьим именем, помещают возлюбленную (возлюбленного, партнера), другие — экстраполируют несколько усовершенствованного себя. Первые предъявляют претензии, умоляют, избобличают. Вторым присуще кроткое, но несколько брезгливое жизнеприятие. Лосев — из вторых.

Любопытно, что словесность играет в мировоззрении Лосева роль настолько ключевую, что и тоска по родной Империи вытесняется тоской по Бродскому, грусть по стране — с грустью по ее лучшему поэту (тоже довольно тоталитарному по сути своей, что заметил — без всякого осуждения — тот же Кушнер: «Счастье, что он пишет стихи, а не правит Римом»). Но даже обожествляемая словесность никоим образом не способна изменить мир, она, строго говоря, и не участвует в нем, — есть у Лосева замечательное стихотворение о Булгарине — о том, как даже самые жалящие инвективы проходят мимо живого, полнокровного и вполне довольного адресата, который свсему Ювеналу еще и некролог напишет. Одним словом, поражение и бегство на всех фронтах.

Пожалуй, во всей его скрытной и целомудренной лирике (в которой даже самые грязные детали и двусмысленные шуточки ежели и случаются, только подчеркивают авторское к ним омерзение) наиболее откровенны восемь строк, которые я не побоюсь назвать одним из лучших лирических стихотворений, написанных порусски в двадцатом веке:

Полемика

Нет, лишь случайные черты
прекрасны в этом страшном мире,
где конвоиры скалят рты
и ставят нас на все четыре.

Внезапный в тучах перерыв,
неправильная строчка Блока,
советской песенки мотив
среди кварталов шлакоблока.

Заметим здесь характернейшее для Лосева нежелание прямо отсылать к предмету полемики, к оспариваемой цитате (и впрямь каким моветоном гляделась бы «неправильная строчка Блока» в эпиграфе): автор обращается к собеседнику, не просто знающему контекст, но погруженному в него. Отсюда и чрезвычайно скупые отсылки к истинной теме того или иного стихотворения: предполагается, что читатель верлибра «31 октября 1958 года» и так в курсе, как повели себя Мартынов и Слуцкий в день исключения Пастернака из СП; отсюда же феерическое количество скрытых цитат, причем оговариваются и атрибутируются — как нарочно — лишь самые заезженные, и без того очевидные. Может быть, здесь же — одна из причин лосевской пластической скупости, мизерности и немногочисленности описаний: имеется в виду, что читатель все способен достроить по ничтожному штриху. Любопытную проговорку находим в лосевской прозе, которая, конечно, ни в какое сравнение не идет с его поэзией: «В законной мгле смутно пронеслись мимо свет, темень. Сколько раз я ездил по этой дороге? Не сосчитать. Эти намеки на очертания, пятна — чужому они неразличимы, а я и ночью вижу за ними дома, каналы, пакгауз, песчаный карьер, лесок. Вот этот продленный участок тьмы — кладбище. Все здесь я узнаю с полунамека. Так больше не будет нигде, никогда. Родина, про-».

Трудно точнее проиллюстрировать особенности манеры Лосева: тут и целомудренная недоговоренность человека, стесняющегося всякого пафоса, и узнавание с полунамека (на которое он рассчитывает и в читателе), и своеобразное остранение, почти метафизическое, когда пакгауз, кладбище, канал превращаются просто в участки света и тьмы: зачем пластика при таком взгляде?

Но вернемся к «Полемике», которая исчерпывающе объясняет своего создателя. Сходный тезис — о том, что только случайности в мире и переносимы, а закономерности его чудовищны и бесчеловечны (точней, вне-человечны), — высказал в начале девяностых, во времена более-менее объективного осмысления русской истории, один тонкий культуролог. «Логика истории страшнее ее эксцессов», — писал он, и Лосев, думается, охотно подписался бы под этими словами.

Случайность — тектоническая складка, щель, в которой можно пересидеть имперские времена (а то и просто пропрятаться там всю жизнь, мысля это жалкое убежище как «прохладные внутренние покои»), — но в мире закономерностей, в мире-как-он-есть, человеку делать нечего. Более того: хоть Лосев и старше Бродского на каких-то три года, но отечественная история успела повязать его с империей куда крепче. Недаром и на день собственного рождения Лосев пишет вполне торжественную оду, сквозь которую — от первой до последней строфы — торжественно маршируют солдаты, и серебряная нота духового оркестра, которую автор услышал при рождении, таинственным образом перекочевала и в его стихи. Не этой ли трубности имперской обязаны лучшие лосевские стихи своим благозвучием — вне зависимости от того, о каких мелочах в них идет речь: «Сергей, я запомнил татарский Ваш двор, извилистый путь с Якиманки, и как облегчался Ваш белый боксер под звуки „Прощанья славянки”».

Но именно эта империя внушила Лосеву тот генетический страх, от которого был свободен молодой Бродский (правду сказать — не настолько уж и свободен: «двадцать семь лет непрерывной тряски»). Сквозной образ в лосевской поэзии — уже упоминавшийся конвоир; самый страшный страх — лагерь: «Портянку в рот, коленкой в пах, сапог на харю. Но, чтобы сразу не подох, не додушили. На дыбе из вонючих тел бьюсь, задыхаюсь. Содрали брюки и белье, запетушили. Бог смял

меня и вновь слепил в иную особь. Огнеопасное перо из пор поперло. Железным клювом я склевал людскую россыпь. Единый мелос торжества раздул мне горло. Се аз реку: кукареку. Мой красный гребень распространяет холод льда, жар солнцепека. Я певень Страшного Суда. Я юн и древен. Один мой глаз глядит на вас, другой — на Бога».

Здесь весьма редкий у Лосева прием — буквализация, осуществление метафоры: запетушили — и тем превратили в огнекрылого петуха, возвещающего утро Страшного Суда. Такого рода превращения — лучше сказать, преобразования — случались, но сам-то Лосев (или лирический герой, чтоб уж не задевать конкретного человека) такого преобразования не хочет, боится, бежит. Генетически уязвленный имперской реальностью (а для Лосева тоталитарен и чужд любой мир, и Америка — точно такая же Империя), он реализует цветаевскую стратегию отказа, возвращения билета, самоустранения. У Лосева не то чтобы нет героя: его нет — здесь. Его нет дома. Это невидимое «я» исчезло именно потому, что всякое соприкосновение с действительностью его ранит: отсюда же редкость и краткость проговорков о ключевых эпизодах биографии, и подчеркнутое равнодушие к судьбам мира (хотя на самом деле тут не равнодушие, а лишь превышение болевого порога, заниженного с рождения), и маска ирониста. Однако иронию свою Лосев ненавидит горячо и искренне — как ненавидит вообще любую несвободу и вынужденность; еще одно из числа превосходных русских стихотворений, написанных совсем недавно, грешно не процитировать целиком:

Гуттаперча

Как осточертела ирония, блядь;
ах, снова бы детские книжки читать!
Сжимается сердце, как мячик,
прошай, гуттаперчевый мальчик.

«Каштанка», «Слепой музыкант», «Филиппок» —
кто их сочинитель — Толстой или Бог?
Податель Добра или Чехов?
Дадим обезьянке орехов!

Пусть крошечной ручкой она их берет,
кладет осторожно в свой крошечный рот.
Вдруг станет заглазье горячим,
не выдержим мы и заплачем.

Пусть нас попрекают сладчайшей слезой,
но зайчика жалко и волка с лисой.
Промчались враждебные смерчи,
и нету нигде гуттаперчи.

Ни один ревнитель теплоты-доброты-пронзительности, ни один патриот, защитник чистоты и нравственности (не важно, из какого стана — они теперь все менее различимы во времена торжествующей горизонтали) не произнес таких шемящих, мучительных и нежных слов, как холодный и замкнутый иронист Лев Лосев. Вот тут-то и таится главное его отличие от Бродского (о масштабе дарования речь не идет, ибо по достижении некоторого уровня ростом уже не меряются). Лосев — поэт по преимуществу теплый, но настолько ущемленный и травмированный, настолько подавленный миром, в котором ему приходилось жить-выживать (он и писать-то смог, только покинув этот мир и переселившись в более комфортную среду), что эмоция прорывается в его тексты чрезвычайно редко. Но там, где у Бродского в ледяной пустоте витийствует лирический герой, как раз очень даже полнокровный, живой и осязаемый, — там у Лосева в ледяной твердыне мира образуется спасительная лагуна пустоты; эта-то пустота и есть авторское «я», со всех сторон стиснутое чужой плотью. Где герой Бродского упраздняет мир — герой Лосева упраздняет себя. Боль у Лосева слишком сильная, чтобы можно было даже помыслить о словесном ее оформлении, боль хроническая, прорывающаяся не в смысле слов, а в звуке. Всякая вещь режет глаза, порождая желание немедленно их закрыть, чтобы увидеть, как «голубые песцы, золотые лисицы перебирают в небе

алмазы». И то сказать: «А свет — для чего мне включать этот свет, чего я при нем не видел?»

Рискнем сказать, что эту коллизию превышенного болевого порога, эту трагедию сентиментального, насквозь цитатного интеллигентского сознания Лосев артикулирует сегодня едва ли не в одиночестве. Он пишет ее ярко, увлекательно и предельно честно, решая при этом еще одну задачу, отвечая на важнейший вопрос русской истории (а история наша и литература — давно одно): как быть сегодня традиционному стиху? Есть ли у русской поэзии, утомленной анжамбеманами, длиннотами и макаронизмами, шанс снова вернуться в стансовую культуру, в силлаботонику, в музыку? Лосев отвечает: есть, только рифмуйте чуть поточнее да к себе будьте чуть беспощаднее.

Дмитрий БЫКОВ.

*

В ОЦЕНКЕ ПОЗДНЕЙ...

Наталья Иванова. Борис Пастернак: участь и предназначение. Биографическое эссе. СПб., Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 2000, 344 стр.

И уточняющее имя книги («Участь и предназначение»), и подзаголовок («Биографическое эссе»), и необременительный «пакетбукный» ее объем, и «Несколько слов...» от автора (вместо развернутого «Предисловия») корректно предупреждают потенциального покупателя, что в этом черно-серебряном, петербургски элегантно томике он не найдет ни академической солидности, ни биографической полноты. Предложенное Натальей Ивановой истолкование причудливой «линии судьбы» своего героя совершенно субъективно. Это не «Разгадка тайны» (название, выбранное Ахматовой для так и не написанных воспоминаний о Пастернаке), это — версия:

«Свою задачу я видела в том, чтобы познакомить читателя с *моей версией жизни и личности поэта*»; «при помощи отбора и монтажа документов я попыталась восстановить линии судьбы *своего Пастернака*, его поведение, характер, страсти и пристрастия».

Решительно не совпадая с общепринятой, легендарной, версия Ивановой тем не менее обладает достаточной остойчивостью, поскольку опирается на три основательные положения.

Положение первое. Там, где легенда сначала находит и лишь потом ищет целостно-привлекательный, на диво цельный образ переделкинского отшельника, «награжденного каким-то вечным детством» (дерзкий вызов жестокому веку и идеальный пример тайной свободы), Иванова вроде бы и не ищет, а находит «мерцающую двойственность» и природы Пастернака, и характера его, и поведения — как бытового, так и литературного. «Роковой печатью» двойственности отмечены и чувство («свойства страсти») «рыцаря бедного» (ежели глядеть на него, как это делает автор «Участи...», поверх барьеров, воздвигнутых мифогенной молвой). Тонко, не сентиментально, с величайшим тактом отрефлектировано Ивановой странное сие свойство и на примере отношений Пастернака с Мариной Цветаевой (главка «Присутствие души»). После писем о бесконечной любви («...ты мое единственное законное небо и жена до того, до того законная, что в этом слове, от силы, в него нахлынувшей, начинает мне слышаться безумье, ранее никогда в нем не обитавшее...»), казалось бы — вдруг, вроде как апропо: «Мне что-то нужно сказать тебе о Жене. Я страшно по ней скучаю. В основе я ее люблю больше всего на свете». А на деле: и не вдруг, и не между прочим! Как ни увлечен поэт новизной общения на равных с молодой и обаятельной женщиной, он, чуток охладая, почти ужасается: хватил через край! Потому и «смущен» «безоглядной открытостью» письменных своих признаний... Кроме того, легкокасательно предполагает Иванова, *ее* Пастернак, хотя и взвинчен до последней крайности, достаточно чуток, чтобы сообразить: интенсивность переписки Цветаеву уже утомила, как, впрочем, и

его самого, однако ж и резко оборвать ставший обременительным заочный роман все-таки не хочет — чтобы не потерять в ее лице *провиденциального собеседника*. Ибо Марина Ивановна, «обладая пронизательным умом, была превосходным поэтическим диагностом. Всегда писала ему о его стихах то, что думала. Правду». Увы, и с *правдой* не все так просто: Цветаевой, к примеру, не нравятся пастернаковские революционные поэмы, а он и рад бы согласиться с нелицеприятным диагнозом, да слишком знает, что только благодаря им «были решены трудности его материальной жизни!»

К вышеизложенным фактам и аргументам следует, видимо, прибавить и еще одну подробность, Натальей Ивановой не учтенную, Пастернаком впрямую не высказанную и тем не менее, на мой взгляд, также *тянущую* высокую страсть к *разрыву*. Цветаева полуоскорблена-полубоижена не просто тем, что у нее есть соперница, к этому Марине Ивановне не привыкать, а тем, что ей, Психее, предпочли женщину — «без шести чувств». Напрямик, повторяя, это не сказано, и тем не менее — Борис Леонидович, похоже, и сам не сознавая, где «жмет», рвется из круга «вынужденного принижения Жени!» Тем непоправимее вырывается, что именно простая, «без извилин», женщина возбуждала и чувственность его, и чувствительность сильнее, чем романтические чары всех небожительниц мира... Конечно, он отдает должное огромности цветаевского дара, но, как однажды саркастически заметила Анна Ахматова, «Борис... ничего не думал о чужих стихах. Он просто забывал их ровно через 5 минут», а если спонтанная его оценка и потрясла автора меткостью, то только потому, что «уж очень у него по его гениальности прелестно сказалося» («Записные книжки»). Вдобавок ко всему в тех же самых письмах, которые выбирает и из которых «монтирует» свою версию Иванова, Пастернак, клянясь Цветаевой в небывалой любви, тут же, чуть ли не через абзац, признается, что панически «боится влюбиться!» Ему, прикованному к «верстаку» «чудовищностью» семейных «расходов и невыровнявшимся заработком», «сейчас нельзя» «захлебнуться» в новых и соблазнительных впечатлениях! Разве что через год...

Словом, то, что участникам любовной полулитературной игры помстилось громокипящим гейзером, на поверку, при испытании бытом и истинной, то есть творческой, надобностью, обернулось ненароком пролитой на парадную скатерть чашкой не слишком хорошо заваренного чая: «Цветаева осталась при своей жизни — и при своей поэзии. Пастернак — при своей».

Положение в второе. «Лирика Пастернака тоскует по эпосу, как она тоскует по широко понятой действительности... Пастернак сын своего времени, времени трех революций...» С авторитетной руки Д. С. Лихачева, автора вступительной статьи к худлитовскому пятитомнику 1989 — 1992 годов, представление об органическом сродстве Пастернака с эпохой трех революций стало чем-то вроде аксиомы, тем паче, что цитат для ее самоутверждения и в письмах поэта, и в его автобиографической прозе — навалом. Иванова и тут смотрит сквозь, не мимо, а *сквозь* легенду. Да, высокая болезнь (тоска по эпосу!) имела место быть, но вместо живородного эпоса, то есть художественного воплощения *жизни и судьбы народной*, выходило нечто прямо противоположное: «государственная акустика, спроектированная под эпос». И тем не менее: и из-под этого «железобетона», исподволь, питаемая одним лишь чувством жизни, пробивалась супротивная официально заявленной мнимопэпической теме лирическая вариация. Вот как озвучивает ее Наталья Иванова (речь идет о «Высокой болезни», но ее истолкованье с полным правом может быть отнесено и ко всему революционному триптиху, и шире — ко всем попыткам Пастернака приноровиться к «новой власти», художнически освоив «государственную акустику»):

«Главное — ему удалось... высказать то, что его мучило: он написал об интеллигенции, наказавшей и уничтожавшей самое себя. О гибельном пути поэта, с восторгом тратившего свое дарование на лозунги для новой власти, для „темной силы“, заглаживавшей его со всеми потрохами».

Путь и в самом деле почти неотвратимо вел к *гибели всерьез*, если не к физической, то к творческой, ибо верный вроде бы расчет: обманем, надуем своих тюремщиков, сделаем вид, будто заодно со всеми катим в гострамвае, а на самом деле идем себе пешочком, — расчет, казавшийся его изобретателю ловким такти-

ческим ходом, оказался ложным. А как хитроумно и при этом не без благородства было задумано! Есенин (на распутье — после провала библейских поэм, на взгляд тогдашней критики чересчур затейливых и невнятных) ломал голову, как бы это научиться писать так, чтобы и себя не терять, и быть понятным. Иначе, мол, проживешь Пастернаком. Вот уж действительно: лицом к лицу — лица не увидеть! Ведь Пастернаку для того, чтобы не терять себя, выгодно и даже необходимо не столько быть, сколько слыть непонятым! Непонятое надежно маскировало-прятало от бдительной, но отнюдь не сверхзрячей цензуры опасно понятное... К сожалению, сплошь и рядом опасные мысли и еще более опасные связи между ними поэт прятал и перепрятывал столь раскидисто, что и сам переставал различать, где истина, а где мнимость, то бишь актерская «читка»:

«Когда я писал „905-й год“, то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки с временем. Мне хотелось втереть очки себе самому и читателю... Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяно (и прирожденно-дорого мне), с тем, что мне чуждо для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы» (из письма к К. А. Федину от 6 декабря 1928 года).

В отличие от Юрия Карабчиевского (в его известном «Возвращении Маяковского») Иванова пишет об этой «добровольной сделке» своего героя с «темной силой», скорее сострадавая, чем гневаясь: «Философские пароходы» отправлены, недобровольные высланы. Теперь власть открыто показывала, что она умеет ценить своих друзей. «„Благими намереньями вымощен ад“ — сей афоризм цитирует Пастернак в начале „Высокой болезни“». — Еще ужаснее, если этот ад вымощен стихами».

Добавим для восполнения объема и прибавления жизни: в случае с Пастернаком ад был вымощен не только хорошо оплачиваемыми тысячами спроектированных под эпос зарифмованных строк, но и внезапной, не понятной самому поэту и явно не запланированной творческой немотой. Ахматова свидетельствует: «„Второе рождение“ заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути не было... Наступает долгий (10 лет) мучительный антракт, когда он действительно не может написать ни одной строчки. Это уже у меня на глазах. Так и слышу его растерянную интонацию: „Что это со мной?!“» Ахматова же, по обыкновению *наискосок*, на это недоумение и ответила, видимо, чуя в судьбе *друга по музе* властное присутствие дьявольской силы — соблазняющей, сбивающей с предназначенного, пешего и окольного, маршрута: «Я сказала Пастернаку: „Вы должны написать Фауста“. Он смутился: „Т. е. как? — Перевести?“ — „Нет, написать своего“».

Это замечание тем интереснее, что за ним следует напоминание о публикации в «Известиях» пастернаковских стихов о Сталине («Поступок ростом в шар земной») еще в декабре 1935 года, это во-первых, а во-вторых, тем, что в «Поэме без героя» роль (и маска) Фауста (в первых ее вариантах) были закреплены (условно, конечно) за Вяч. Ивановым, и вот теперь из пространства ближайшего поэтического окружения, из *ее* Москвы, которая «без Бориса» «уже не Москва» (Э. Г. Герштейн), все тот же «Мефистофель» (одетая в плоть вечного образа «темная сила») уводит бесконечно дорогого ей «Фауста» — туда, наверх, где и двухэтажные квартиры, и бесплатные талоны на такси, и казенные загородные дома, и званые обеды, и крахмальные скатерти, и хрусталь-фарфор... Кто-то из собеседников вздумал провести параллель между ее «Одой» и пастернаковской «Вакханалией», Анна Андреевна возмутилась: в «Оде», мол, «свержение царскосельских традиций», а в «Вакханалии» — «описание собственного „богатого“ быта».

Сюжет «богатого быта», правда с оговоркой, что сам поэт в частной жизни был чуть ли не аскетом, Иванова связывает с его «вторым рождением» в результате встречи и женитьбы на Зинаиде Николаевне Нейгауз, особе сугубо земной, практичной, порой до «бесчувствия» и даже «цинизма», что, кажется, не слишком сильно беспокоило поэта, поскольку он и сам был отчасти *в том же роде*. Закавыченные слова («бесчувствие», «цинизм») выдернуты мной из рецензируемого текста, и, чтобы они прозвучали в нужной тональности, необходимо напомнить эпизод, вынудивший автора «Участи и предназначения» употребить именно эти, а не иные, более обтекаемые выражения. Объявив Генриху Нейгаузу, что уходит к его другу, Зинаида Николаевна, забрав сына, укатила с Пастернаком в Грузию. На

пару летних месяцев, а посему налегке; вернулись лишь поздней осенью. Не долго думая и вряд ли *не спросясь* (не обсудив насущный вопрос с Борисом Леонидовичем), Зинаида Николаевна дает телеграмму брошенному мужу, дабы тот встретил их на вокзале с шубами. Генрих Густавович на вокзал, само собой, не явился, шубы тем не менее были доставлены. «В своем порой удивительном внезапном бесчувствии, — резюмирует Наталья Иванова, — Зинаида Нейгауз и Борис Пастернак действительно были похожи». И далее: «...нечто циничное было... в телеграмме о шубах...»

После такого пассажа впору, казалось бы, встать в позу осуждения красавицы, заставившей поэта погрязнуть в пространстве быта! Ивановой, по счастью, — не впору: узко и коротко. Ее версия тем и привлекательна, что суд и осуждение (издалека и вчуже) исключены здесь как принцип, причем не только этический, но и эстетический. И не потому исключены, что *гению все позволено*, а «*поэтам вообще не пристали грехи*», а потому, что в том жанре, в каком сработана книга, факт сам по себе еще ничего не значит, тем или иным его делает житейский и психологический контекст, то есть множественность причинно-следственных связей и отношений. Ну кто спорит, что быть богатым и благополучным на фоне ужасающей нищеты страны твоего проживания по меньшей мере — «некрасиво»? И если бы не Зинаида Николаевна, не представляющая *себя, своих и свое* в иных обстоятельствах, кроме как в обстоятельствах «достаточности», чистоты и нарядного порядка, быт Пастернака наверняка бы не колол глаза современникам своим «богатством», даже если бы он и взвалил на себя перемены всех гослитовских многоотомников! Что же, Пушкину некогда в тридцать обьявить не без вызова: «Мой идеал теперь — хозяйка», а Пастернаку в сорок — предосудительно? Тем более, что по складу своей природы он не только не тяготился домашним кругом, а и находил в нем (цитирую авторское вступление к «Участи и предназначению») «высшую поэзию». Во всяком случае — в то мучительное десятилетие (1930 — 1940), когда поэт был почти идиллически счастлив в семейной жизни и трагически неудачлив в жизни творческой. Однако прямой связи, как справедливо замечает Наталья Иванова, тут нет. Больше того, она считает, и не без основания, что и «заземление», и та «ересь» «неслыханной простоты», в которую из-за «Зины» и с ее помощью «впал» Пастернак, были для него благотворными; не случайно уже в первых из обращенных к ней стихах (из цикла «Второе рождение»), и прежде всего в изумительном «Никого не будет в доме...», он впервые берет почти пушкинскую «планку». Есть резон, на мой взгляд, и в предположении критика, что «дочь жандармского полковника Зинаида Николаевна», не признававшая «никакой борьбы с существующим порядком», спасла Пастернаку жизнь. И в самом деле: ее безраздельная власть над неосторожным и неосмотрительным мужем, а следовательно, и его перedelкинское домоседство длились практически десять лет (1930 — 1940), а это десятилетие совпало с периодом наибольшего риска для тех немногих, кто, как и Пастернак, не совпадал со ставшим к началу 30-х годов *общим всем* правопорядком («полуреальный хаос однородной смеси», по выражению самого Пастернака). Это звучит не совсем убедительно — подмосковное Перedelкино не край земли, однако Эмма Герштейн, к примеру, допускает, что даже Мандельштам мог бы уцелеть, если бы Надежда Яковлевна после окончания воронежской ссылки увезла мужа подальше от столицы — дабы не мелькал, не мозолил глаза. «Недалекая», как судачили злые языки, Зинаида Николаевна в итоге, по жизни, оказалась мудрее умницы Мандельштам...

И все-таки, думается, своим третьим рождением, точнее, возрождением после десятилетия немоты Пастернак обязан не красавице жене, а тому, что из-за нее «эмигрировал» из мира людей в мир природы. Это соображение принадлежит не мне — Анне Ахматовой: «Появилась дача (Перedelкино), сначала летняя, потом и зимняя. Он, в сущности, навсегда покидает город. Там, в Подмосковии, — встреча с Природой. Природа всю жизнь была его единственной полноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и Возлюбленной, его Женой и Вдовой — она была ему тем же, чем была Россия — Блоку. Он остался ей верен до конца, и она по-царски награждала его. Удушье кончилось. В июне 1941 г., когда я приехала в Москву, он сказал мне по телефону: „Я написал 9 стихотворений”. Сейчас придут читать”. И пришел. Сказал: „Это только начало — я распишусь”».

Положение третье. Даже Корней Чуковский, а он по целому ряду причин знал о своем соседе по дачному писательскому поселку Переделкино много больше, чем те, кто скользил по поверхности его «сакрализованного» и «мифологизированного» жития, считал «Доктора Живаго» «автобиографией великого Пастернака». Наталья Иванова дерзнула не согласиться и с этой аксиомой. Сопоставив факты, вплоть до мельчайших деталей, она пришла к выводу, что в знаменитом романе поэт пытается прожить другую жизнь, не ту, что в результате наиболее сложнейшего стечения и скрещения могучих обстоятельств, самим ходом вещей, как говаривал Пушкин, определила его *участь*, а ту идеальную, какая была ему *предназначена*, то есть не просто «угадать свое предназначение», а реализовать его средствами романной прозы. Вообще-то Иванова не первая заметила *разность* между Пастернаком и Живаго. Во «Второй книге» Надежды Мандельштам на сей счет есть сходное рассуждение: «Мне кажется знаменательным, что центром романа Пастернак сделал поэта с биографией, как бы параллельной его собственной, но в неблагополучном ключе. Он проверил, как бы сложилась его жизнь, если бы река потекла по другому руслу». Но Наталья Иванова первая прочитала не только весь роман, но и вообще судьбу Пастернака как трагическое скрещение двух линий — линии Участи и линии Предназначения. И надо сразу признать, что в этом ракурсе он сильно выигрывает. Сужу по себе: перечитывая «Живаго» после книги об «участи и предназначении», я воспринимала роман иначе, чем двадцать лет назад, не замечая ни стилистических погрешностей («беллетризов»), ни недостаточности многих и многих мотивировок. И под аккомпанемент ахматовского: «...в оценке поздней оправдан будет каждый час...»

В заключение хочу напомнить автору, чтобы при переиздании книги она исправила неточность: Исая Берлин пришел в Фонтанный дом к Ахматовой не летом 1945 года, а поздней осенью; знаменитая же их «невстреча» произошла месяц спустя — 5 января 1946-го. И уж совсем напоследок скажу вот что: книга Натальи Ивановой о Борисе Пастернаке кажется обидно короткой. Для прозы нон-фикшн — достоинство не из последних.

Алла МАРЧЕНКО.



МИСТИКА СТРЕМИТЕЛЬНОГО ДОМКРАТА, ИЛИ «СИЛЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОНСТАНТ»

Андрей Никитин. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России. М., «АГРАФ», 2000, 352 стр.

«Внутренняя жизнь мистических обществ и орденов, как правило, остается тайной не только для их современников, но и для последующих поколений... В России до недавнего времени конец существования мистических обществ определяли к ней. Мистические «ордена» и «ложи» были частью духовной жизни пореволюционной России. Вольно или невольно, но они стали одной из форм сопротивления удушливому директивному материализму, внедрявшемуся еще не массовыми расстрелами интеллигенции — но уже ссылкой, лагерем и тюрьмой. Перед нами часть нашей истории, и серьезное ее изучение, адекватная оценка событий и лиц представляет интерес безусловный и несомненный.

Представленный в книге материал разнообразен. Объемист раздел «Легенды русских тамплиеров»: легенды эти не только рассказывались «старшими рыцарями» на собраниях «Ордена Света», но и имели определенное хождение среди интеллигенции 20-х годов. Рядом с легендами — статьи из эмигрантской периодики тех лет, в них обсуждаются как движение «мистиков-анархистов», так и более общие проблемы культурной жизни России. Вклад в полемику вносило и чекистское творчество, оно представлено внушительным документом «Обвинительное заключение по делу „Ордена Света“».

Главная же часть книги повествует о людях 20-х годов. Среди них есть неизвестные большинству читателей, такие, как «московский Сен-Жермен» — погибший в 40-е годы в лагерях розенкрейцер Всеволод Белюстин. Есть и люди, известные всем. Большой очерк посвящен Михаилу Чехову, из очерка можно заключить, что великий актер имел определенное касательство к «Ордену тамплиеров». Выразительнее ситуация с Сергеем Эйзенштейном: в 1920 году он был принят в «Орден розенкрейцеров», и автор усматривает «воплощение принципов оккультизма и мистической символики» в разработке спектакля «Мексиканец». Правда, в другом месте прием в ложу «совсем молодого тогда» Эйзенштейна расценивается как простой курьез. Перед нами детали эпохи, штрихи человеческих судеб. Кто скажет, что детали и штрихи недостойны нашего внимания?

«За всеми этими мистическими движениями придется признать достаточно серьезное общественное значение», — пишет, однако, автор. Придется ли? «Члены этих „лож“, „орденов“, групп и обществ, носивших различные названия, часто были знакомы друг с другом, вращались в одних и тех же кругах, встречались по службе»... А попросту говоря — масонами и мистиками, розенкрейцерами и тамплиерами оказывались, как правило, одни и те же люди. Число их было невелико; было ли сколько-нибудь велико их влияние? «Несомненно», — на протяжении книги убеждает нас автор. И приводит многообразные доказательства этого тезиса.

Так, в 20-е годы Пулковская обсерватория стала, «как можно догадываться, одним из центров по распространению в научной среде Петрограда тамплиерских идей». Говоря конкретнее, «именно там, по-видимому, произошло первоначальное знакомство» двух упоминающихся автором тамплиеров. Окончательные же доказательства, весомые и убедительные, были получены несколько позже: «О значении Пулкова в тамплиерском движении свидетельствуют также аресты в 30-х гг. ряда его научных сотрудников по обвинению в связях с анархо-мистиками».

А кого аргумент не убедил — вот очередной. Известный антропософ, тамплиер и розенкрейцер М. И. Сизов «совершенно определенно указывал, что Орден тамплиеров в России был открыт в 1920 г. ... Орден не должен был стоять в стороне от политической борьбы, воздействуя на нее через свои организации»... Указывал на все это не только Сизов, а и другие арестованные: в году было дело в 1933-м, а где — вопросов не вызывает. Вопросы может вызвать авторский вывод из феерических показаний: «Такое признание вместе с перечнем некоторых членов Ордена... позволяет попытаться решить вопрос о связующем звене между первым составом Ордена тамплиеров и возникшем позднее „Орденом Света“ как одной из центральных орденских филиалий, принявшей на себя в дальнейшем (после смерти Карелина) руководящую роль в орденском движении»...

Любопытное впечатление производит сопоставление различных мест книги: «...новые тамплиеры России начинали не на „пустом месте“. Конечно, они не располагали ни дипломами на открытие орденской организации, ни связями с вышестоящими организациями Ордена, однако они могли опереться в своем становлении на огромную... традицию», — пишет автор в предисловии. Несколько позже такие «дипломы» уже возникают — пока как гипотеза: «...организационная работа, по-видимому, привела Карелина к знакомству с французскими тайными орденами, в результате чего он был принят в Орден тамплиеров и в 1917 году на родину вернулся уже... эмиссаром Ордена...» А в конце книги, в научных комментариях к ней, досадные «по-видимому» наконец исчезают. «Карелин Аполлон Андреевич — видный теоретик анархизма... в эмиграции в Париже получил посвящение и вернулся в Россию с заданием основать Восточный отряд Ордена тамплиеров». Так наступает в конце концов полная ясность.

Дело, конечно, не в некоторой несбалансированности цитированных выше оценочных суждений: ну писал человек предисловие в одном настроении, книгу в другом, а комментарий в третьем — с кем не бывает? Значительно интереснее другое: какова фактическая основа всех этих сомнительных изысканий и несомненных выводов из них?

Такая основа есть. О зловещей роли в русских тамплиерских делах «верховой международной организации» повествуется в анонимном памфлете-доносе «Трубадур мистического анархизма». Был памфлет инспирирован ЧК, издан на Западе

(так уже тогда было убедительнее). В этом документе много интересного: и о Карелине, и о страшной верховной организации, для которой и само масонство — всего лишь маска...

Такие вот «доказательства». Но в них ли дело? Стоит ли преувеличивать «событийную» роль таких людей, как Борис Зубакин — розенкрейцер и поэт, расстрелянный за отказ сотрудничать с НКВД? Эти люди, безусловно, общественно значимы для нашего сегодняшнего и завтрашнего дня. Глобализация же несыгранной ими исторической роли как раз и лишает нас *людей*, она превращает людей в двусмысленные персонажи, в дутые *фигуры*.

Такие превращения — «воскрешения» — дело не новое: книга продолжает одну из мощных идеологических тенденций 90-х годов. Примеры того, как эта тенденция формирует исторические образы, очевидны, самый яркий из них — евразийство. Молодые эмигранты 20-х годов не сдались тяжелейшим внешним обстоятельствам, их напряженные размышления о России представляют и сегодня некоторый интерес. Однако апологеты евразийства поставили читателя перед невеселой альтернативой: либо надо признать непреходящее значение евразийских столпов и мэтров — но это по силам очень уж немногим; либо необходимо от столпов отплевываться, как отплевывались еще вчера от казенного марксизма. Ситуация карикатурная и — повторим это еще раз — по отношению к реальным евразийцам прошлого не вполне справедливая.

Тенденция живет и здравствует, книга А. Никитина — очередной тому пример. Евразийство заменило собою марксизм — ну а у тамплиеров с розенкрейцерами задачи посерьезнее. Ибо, «как и в случае с наукой, мировые религии не могут ответить на вопросы „зачем“, „для чего“ и „почему“». А «подлинно гностические» учения «утверждают подлинный экуменизм», они в ближайшее время объединят ищущих и пытливых. Кроме тех, разумеется, кому следовало бы идти «в церковь или в комсомол».

Но вдохновенную проповедь «иных сил и иерархий, с которыми человек связан чем-то, что и является его истинной, непреходящей сутью», мы обсуждать, пожалуй, все-таки не станем. Хотя она весьма многоречива и отнимает у книги немалый объем. Приведем, впрочем, лишь один пример.

«Чрезвычайно важным вкладом тамплиеров... в концепцию, лежащую в основе всех мировых религий, стало утверждение, что абсолютного зла как такового, существующего изначально, на самом деле нет: зло есть такое же отсутствие добра, как невежество является отсутствием знания, а тьма — отсутствием света. Это несколько неожиданной, однако строго логичный постулат»... Автор, по-видимому, не подозревает, что онтологическое небытие зла — общее место всех мировых религий.

Эта книга не хуже и не лучше сотен и тысяч «научных» изданий последних лет. Переоценить ее значение как образца трудно.

«Представления о многомерности ангельских космосов позволяют описывать духовные явления с позиций математики. Проекция одного и того же многомерного объекта в наш мир дадут множество разнообразных трехмерных форм, что можно сопоставить с многозначностью, вариантностью описаний духовного мира, скажем, явлений ангелов и святых (простая геометрическая параллель: обычный трехмерный цилиндр в проекции на двухмерную плоскость может выглядеть как круг или прямоугольник, которые совершенно различны с точки зрения символического толкования...)».

Давайте один раз поступим с научными рассуждениями непочтительно: постараемся их понять. Возьмем цилиндр — допустим, стакан; поставим его на стол и слегка приподнимем. Он будет отбрасывать тень — круг. Теперь положим стакан на стол и опять приподнимем. Тень будет уже другая — прямоугольник. Но какое эта премудрость третьеклассников имеет отношение к космосам, ангелам и святым?

Есть вопрос и посерьезнее. Можно поставить стакан (тот же, представьте себе, стакан!) на стол ребром — и опять приподнять. Тень будет уже довольно сложной формы. Почему об этом в труде ничего нет? Разве не связана эта тень с зонами Легов, Арлегов и Аранов?

В книге немало подобных «многомерных» физматкрасот. Чем «силы, действующие за пределами констант», отличаются от «волн, падающих стремительным домкратом»? Похоже, лишь сменой эпох. Романтику технического прогресса заменило более возвышенное стремление: «выполнить (вместе с обитателями множества других миров) определенную миссию космического порядка».

Качество естественнонаучного антуража не всегда исчерпывающе свидетельствует об уровне гуманитарного исследования. Но вот рядом с цитированным нами обширным комментарием — другой: «Нисхождение... по лестнице миров означает мучительное лишение... тел (вспомним месопотамский миф о сошествии в подземный мир богини Иштар, когда стражи ворот, через которые она проходит, постепенно отбирают у нее все одежды и украшения)». Миф о богине Иштар — один из древнейших, и чисто символическая его трактовка может быть разве что много более поздней. Логике такая трактовка не противоречит, а опровергнуть произвольные построения достаточно трудно. Но не читатель должен верить на слово или опровергать, а автор — мотивировать и обосновывать. С формально-логической точки зрения неопровержимо такое, например, сообщение: «Статуарная иконография [Иоанна Крестителя]... перешла каким-то образом от средневековых тамплиеров в православную иконографию как в живописном, так и в скульптурном ее исполнении». Что перед нами — революционное искусствоведческое открытие? Или просто сочетание кое-как, на худом русском языке связанных между собою слов?

Стоит ли брать эту книгу в руки лишь как образец того, что в руки брать ни при какой погоде не стоит? И что останется от нее, если мысленно изъять все это — пропаганду мистических знаний и «математику», ничем не мотивированные безапелляционные суждения, акробатические натяжки в выводах?

Останется фактический материал: он воистину богат, и лишь часть его нашла отражение, прямое или косвенное, в нашем обзоре. А еще останется описание театральнoй среды 20-х годов. Чувствуется, что автор описывает знакомое и близкое ему, и мистические увлечения этого круга представлены доказательно. Жаль, что к этой — убедительной — своей части книга не свелась: скитания автора «по мирам и векам» не пошли ей на пользу.

Валерий СЕНДЕРОВ.



В ЛАБИРИНТАХ УМНОГО НЕВЕДЕНИЯ

Олдос Хаксли. Серое Преосвященство. Этуод о религии и политике. [Предисловие И. Берлина]. Перевод с английского В. Гольшева и Г. Дашевского. М., 2000, 320 стр.¹

«**М**ама, а Бог — это душа?» — спрашивает ребенок. «Бог — это дух». — «И он ничем не пахнет?!. А Он белый или серый?» — «Скорее белый, чем серый». — «А крокодила Он победить сможет? Он же сильнее крокодила, да?»

Роман Хаксли, написанный в 1940 году, — о посерении, об отпадении от Бога при формальном к нему приближении, о самоослеплении и ложно понятой цели служения. Катастрофы XX века побудили Хаксли докопаться до их исторических корней, и его раскопки шли примерно так: фашизм как порождение прусской империи, которая явилась результатом немецкого национализма, возникшего как реакция на наполеоновский империализм. Империя Наполеона — плод Французской революции, а Французская революция выводится из политики Ришелье, целью которой было ослабить Испанию и Австрию, раздробить Германию и вместо Габсбургов сделать главной европейской силой Бурбонов. При Людовике XIV эта политика достигла своего абсурдного апогея, и после долгого господства Франция

¹ Примечательно, что издание осуществила Московская школа политических исследований, уже познакомившая нас с книгами Э. Геллнера, Р. Пайпса, М. Мамардашвили, Ю. Сенокосова.

разорилась, что и повлекло за собой революцию. Итак, Хаксли останавливается на эпохе Ришелье, хотя примеры того, как Европа свернула на путь катастроф, можно поискать и пораньше.

Время Ришелье известно широкому читателю главным образом из романов Дюма, где кардинал предстает эдаким железным Феликсом со своей сыскной полицией. У Хаксли он припадочный неврастеник, в болезни мнящий себя лошадь. Вполне ничтожная фигура Ришелье вытеснена в романе исступленно-цельной личностью отца Жозефа, серого преосвященства, чей вектор судьбы и явился той *exemplae*, которая призвана проиллюстрировать этюд Хаксли о религии и политике, практически — манифест «политики добра», изложенный в десятой главе.

Отец Жозеф — замечательно одаренный, умный, искренне религиозный, с сильной волей, — отказавшись от себя, не сумел противостоять благороднейшему из искушений — патриотизму, совершив тем самым роковую подмену. Долг и самопожертвование — высокие соблазны, и соблазнившийся ими в своем поклонении государству и королю, то есть чему-то, что меньше Бога, впадает в грех идолопоклонства. Положенные на алтарь государства, эти добродетели оборачиваются злом. Нельзя путать государство с высшим благом, поскольку государство имеет узко ограниченные задачи и собственные цели, далеко не всегда совпадающие с интересами гражданина. Слепленный своим желанием национализировать христианство, отец Жозеф подменил Бога государством, сочтя, что это одно и то же. Человек со всеми задатками святого стал одной из самых мрачных фигур французской истории: он инспирирует Тридцатилетнюю войну, которая отгрызается Европе вплоть до Второй мировой, поддерживает протестантов в борьбе с католиками, вместо крестовых походов против мусульман (о которых мечтает) интригует против католического мира. Учиненный в Европе ад на земле оправдывается христианской религией, предполагающей неизбежность страданий, поскольку их принял Христос. (Христианство — жестокая религия, таково мнение Хаксли, тяготевшего к мистическим практикам Востока.)

Итак, роковая ошибка отца Жозефа состояла, по Хаксли, в уклонении с пути совершенства в государственную политику. Став фактическим министром иностранных дел у Ришелье, он тем самым лишил себя возможности осуществлять истинно духовную власть, обеспечиваемую ненасильственным авторитетом мистика, сопричастного высшей реальности. Самоослепление наступает, когда ты, пусть и отказавшись от себя, совершаешь действия от лица и на пользу какой-то социальной организации — будь то нация, церковь, политическая партия, религиозный орден, фирма или семья.

Действия, по Бенету (католический мистик, чье сочинение внимательно изучил отец Жозеф, а Хаксли сочувственно пересказывает), делятся на три разряда: повелеваемые, прямо или косвенно, божественной властью, запрещенные и безразличные. Относительно первых двух воля Бога ясна, поскольку у нас есть законы и заповеди как объективное мерило поведения. В действиях третьего разряда критерий — намерение. «Лучше идти на прогулку или обедать, намереваясь угодить Богу, нежели совершать достойные по своей природе действия ради себя самого». Чем больше человек существует, тем в большей мере он есть и существует. Но чем больше человек существует, тем меньше существует в нем Бог. Выбирая область политики, отец Жозеф не мог не понимать, что путь Ришелье не тождествен пути евангельской Марфы. Действия, предпринятые духовно не прозревшими людьми, редко приносят благо. Дорога в ад вымощена благими намерениями по двум причинам, считает Хаксли: это, во-первых, невозможность предвидеть последствия своих действий; а во-вторых — принципиально неудовлетворительный их характер в связи с общим человеческим несовершенством. Посему политическое действие всегда обречено на частичное или даже полное самоопровержение. Историческая жизнь каждой страны развивается волнообразно — от полной анархии к полной тирании и обратно. Шатания от крайнего зла к половинчатому, самораспадающемуся благу — из них и состоит история всех цивилизованных обществ. «Поскольку наша личность от природы в значительной мере идиотична, поскольку эта идиотичность нам нравится и мы к ней привыкли, мы построили для себя довольно идиотичный мир». Хаксли не согласен с теологическими представ-

лениями о том, что история провиденциальна и является выражением Божественной воли. Эту концепцию отец Жозеф принял за истину, и у него появились основания считать Тридцатилетнюю войну с ее людоедством (отнюдь не метафорическим), с ее пытками и смертоубийством благом делом: она выгодна Франции, выполняющей провиденциальную миссию, а значит, вполне согласна с Божьей волей. Отец Жозеф действовал от имени Бога Битв. Но Бога Битв нет, настаивает Хаксли (хотя имя это присутствует в Ветхом Завете). Так что преступления и безумства являются актами непослушания высшей воле. Притом убийство всегда представляется более респектабельным, чем прелюбодеяние. Идеологически оно соблазнительней, поскольку совершается во имя и ради идеи. Отец Жозеф занялся международной политикой в убеждении, что война, которую он всеми силами стремился продлить, приведет к новому золотому веку. Ему казалось, что он подчинил себя воле Божьей, растворился в ней, но во многих отношениях его воля оставалась непретворенной волей естественного человека. И отсюда отрезанность «серого преосвященства» от Бога, венчающаяся физическою слепотой.

Роман, повествующий о духовном становлении отца Жозефа (под знаком фразы Вордсворта: «Ребенок — отец мужчины» — имеется в виду потрясённость в детстве и на всю жизнь образом Голгофы), его карьере и зверствах Тридцатилетней войны, стягивается к двум теоретическим главам: в одной Хаксли-мистик излагает «Облако неведения» — сочинение неизвестного английского автора XIV века, показывая эволюцию Псевдо-Дионисиевой мистики на средневековом Западе; в другой — Хаксли-утопист предлагает свой рецепт организации политической жизни, упомянутую выше «политику добра», предварительно оговорив, что высота нравственной нормы обратно пропорциональна численности людей, на которых она распространяется, и что «теоцентрическая религия», исповедующая поклонение Богу ради Него Самого, в тоталитарном государстве неприемлема. «„Политика добра“... это искусство организации в большом масштабе без ущерба для этических ценностей, существующих только у индивидуумов и малых групп. Конкретнее — это искусство сочетать децентрализацию правления и индустрии, местную и функциональную автономию и малый размер административных единиц с общей эффективностью, гарантирующей слаженную работу федерального целого».

«Облако неведения» — то же самое, что Дионисий Ареопагит называет «пре-светлым мраком», непроницаемая тайна инакости Бога. Высшая реальность несоизмерима с кажимостью и несовершенством нашего мира; поэтому ее нельзя постичь посредством операций интеллекта. Любовь может достичь большего, чем разумение, ибо любовь проникает туда, куда науке путь закрыт. О божественной частице у себя внутри люди чаще всего не знают, поскольку их внимание целиком сосредоточено на желательных и нежелательных объектах. Но если они решат «умереть для себя», то могут осознать божественную часть в себе и в ней обрести опыт присутствия Бога.

Соединение этих двух полюсов — мистики и «политики добра» — естественно для Хаксли; он глубоко убежден, что мистики — «каналы», по которым хоть какое-то знание о подлинной реальности просачивается в «человеческую вселенную невежества и иллюзий». Окончательно лишенный мистиков, мир будет миром окончательно слепым и безумным. «Теоцентрический святой» — соль, предохраняющая социальный мир от необратимого упадка. Его действия и взаимоотношения с миром отмечены бескорыстием и безмятежностью, неизменной правдивостью и полным отсутствием страха. А отец Жозеф, постоянно занимавшийся мистической практикой, действовал как воин Божий на государственной службе, то есть утратил саму цель этой практики.

Выбор фигуры отца Жозефа обусловлен его парадоксальным этическим положением в политике. Не в пример обычным политикам он стремился к святости, был духовно осведомленным созерцателем и действительно продвигался по «пути совершенства» к единению с Богом. Отец Жозеф принадлежал к числу немногих избранных, но его намерение сочетать политическую деятельность с созерцанием, «уничтожающим», нейтрализующим последствия первой для духовной жизни, оказалось неисполнимым, и частью своей души он горько сожалел об этом. Однако другая часть души — жаждавшая действия и героических свершений во славу Бо-

жую — влекла его туда, где находили выход его темперамент и особые таланты. Если бы он остался проповедником, учителем и религиозным реформатором, то, возможно, его мучило бы раскаяние, что он не исполнил всего предписанного свыше. Между тем поэмы о крестовых походах против турок, которые он сочинял во время паломничества, обернулись жутким батальным полотном.

Хаксли в этой книге — пастырь, рассказывающий историю заблудшей овцы, ради которой он готов бросить стадо, тоже, правда, заблудшее, поскольку паршивая овца была его вожаком. История уклонения с высокого пути, талант, воля, избранничество, растраченные не там и не на то, вызывают у автора горечь. И Хаксли скорбит о провидце, занявшемся делами, которые затмили Бога, и потерявшем способность видеть, в конце жизни — буквально. Духовная, она же моральная, власть не нуждается в социальных подпорках ни в виде полномочий или богатства, ни в виде общественного положения. Слепец же не может оправдать доверия ближних.

Добротель, поучает Хаксли, — это не что иное, как получившая порядок и меру любовь, устремленная к Богу ради Него Самого. Умение жить в непрерывном активном уничтожении своего эго — вероятно, самая трудная и изнурительная из человеческих задач. Делание созерцателя заключается в том, чтобы выучиться отрешению от всего тварного и «стучаться нагим намерением, слепым волнением любви в темное облако неведения, которым Бог, каков Он в Себе, навеки скрыт от человеческих глаз».

Люди творят зло и терпят страдания потому, что они — автономные «я» в плену у времени. Научившийся же любить Бога может безопасно делать все, что пожелает, потому что он никогда не пожелает ничего дурного.

...Да, детонька, и Бог обязательно победит крокодила.

Елена КАСАТКИНА.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕЛЕНА ОЗНОБКИНОЙ

+8

Фридрих Ницше. Рождение трагедии. Составление, редакция, комментариев и вступительная статья А. Россиуса. М., «Ad marginem», 2001, 736 стр.

В 1994 году наш блестящий филолог Александр Викторович Михайлов опубликовал уникальный перевод «Так говорил Заратустра» Якова Голосовкера. Перевод, как мы сказали бы сегодня, «экспериментальный», претендующий выразить едва ли не само звучание речи Ницше. Александр Викторович тогда побоялся оставить нетронутыми все рискованные переводческие приемы Голосовкера (он снял, в частности, сложные дефисные переводческие приемы Голосовкера) — редакторы в издательстве апеллировали к читательской неподготовленности и непониманию... Но настойчивость Ал. В. осуществить эту публикацию была связана, я думаю, еще и с внутренним его ощущением, что феномен Ницше требует новых, обновляющихся попыток выражения в нашей культуре. И до самой своей смерти Ал. В. Михайлов готовил к выпуску свой новый перевод (новый опыт прочтения) «Рождения трагедии» с приложением впервые собранных вместе прижизненных рецензий на эту книгу (объемное восстановление исторического контекста). Завершил подготовку публикации Андрей Россиус, снабдив этот корпус подробнейшим лингвистическим и историко-филологическим комментарием и предпослав книге прекрасное введение. Издатель включил в тот же том одну из самых известных современных философских работ о Ницше — книгу Петера Слоттердайка «Мыслитель на сцене. Материализм Ницше» (перевод А. Малаховой). В итоге получилось образцовое *совре-*

менное издание. Книга, состоящая из нескольких пластов, через которые она разворачивается в качестве нового для нас события, выстроенного из перспективы сегодняшнего дня. Ввиду своеобразного построения это издание уже не отнесешь к привычным для нас советским формам: «Памятники истории», «Памятники литературы» или «Памятники мировой философской мысли»... Оно не принадлежит лишь филолого-исторической науке (хотя и являет ее добротный образец). Появление этого издания значимо как опыт включения философии Ницше в живой сегодняшний контекст мысли. Причем на это работают все упомянутые ее составные части. Следуя за П. Слоттердайком, можно сказать, что философия Ницше, возможно, каким-то новым образом вписалась в современный отечественный (а не только западный) ментальный ландшафт.

Эрнст Кассирер. Избранное. Индивид и космос. М. — СПб., «Университетская книга», 2000, 654 стр.

Наверное, на книжной полке должны стоять и книги не для сегодняшнего чтения — те, которые должны были быть прочитаны когда-то раньше. Работы Эрнста Кассирера из этого ряда. Ввиду особенностей нашей отечественной интеллектуальной истории мы все еще заложники необходимости «культурного восполнения». Во всяком случае, с этой вполне благородной задачей связали себя издатели серии «Университетская библиотека» (в последнее время в ней вышли работы Э. Левинаса, К. Леви-Строса, П. Рикёра, А. Жильсона). В новый том работ Э. Кассирера (в 1997 — 1998 годах в этом же издательстве опубликованы «Жизнь и учение Канта» и «Опыт о человеке») вошли «Индивид и космос в философии Возрождения» (1927), «Место Фиччино в интеллектуальной истории» (1942), «Джованни Пико делла Мирандола» (1942) и «Сущность и действие символического понятия» (1922). Наряду с основательными историко-философскими штудиями Кассирер на протяжении многих лет выстраивал собственную философию символических форм. Под «символической формой» он понимал «всякую энергию духа, через которую некое смысловое содержание связывается с конкретным чувственным знаком и внутренне присваивается этому знаку». Задачу свою он видел глобально: создать общую систематику символических форм. Претензия всеохватной морфологии культуры сегодня, в век малых форм, выглядит столь же героической, сколь и архаичной. Хотя современная исследовательница Сьюзен Лангер (ее статья помещена в приложении к книге) демонстрирует возможность современного прочтения Кассирера, сопоставляя его теорию бессознательного образования символических форм с поисками Фрейда.

Значительную часть книги занимает «Приложение»: публикуются тексты Николая Кузанского «Простец об уме» и Шарля де Бовеля «Книга о мудреце». Подозреваю, что тираж этой книги (3 тыс. экз.) сильно превосходит сегодняшний реальный запрос на нее. Вряд ли сегодня она многими будет прочитана. Но сердце греет другое: прекрасно, академически изданные тома работ Эрнста Кассирера наконец будут занимать свое естественное место на полках университетских библиотек. В этом есть что-то отрадно-нормальное.

Эрнст Юнгер. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная мобилизация. О боли. Перевод с немецкого А. В. Михайловского. СПб., «Наука», 2000, 540 стр.

Философско-историческое эссе Эрнста Юнгера «Рабочий» (1932) оказалось одной из самых значительных и влиятельных книг XX века. В 80-е годы, возвращаясь в своей переписке к обсуждению этой работы, Юнгер выражает уверенность, что все, происходившее после 1932 года, подтверждает его концепцию, что «все развивалось согласно программе» (правда, добавляя при этом: «Хотя это и не может обрадовать»). Не случайно, в отличие от «Тотальной мобилизации» (1930) и эссе «О боли» (1934), подвергавшихся впоследствии серьезным авторским вмешательствам, текст «Рабочего» оставался практически без изменений. Юнгер полагал, что «нутро» времени выражено здесь пластически точно. Он вообще претендовал на то, что ему удалось создать оптику, которая позволяет увидеть общий метафизи-

ческий контур, саму метафизическую структуру XX века. Такое не под силу ограниченному зрению политика, или историка, или социолога, или философа идей. Здесь дело идет о зрении, прозревающим во плоти миф, подспудно и властно формирующий само историческое время. (Следы такого же рода теоретического вдохновения можно встретить и в переписке Ясперса и Хайдеггера 30-х годов: они рассуждают о создании — в «самообытном боевом содружестве» — новой, достойной времени, подлинной и великой философии. Это чувство принадлежности «временни откровений и свершений», почти пророческое ощущение своей мыслительной задачи особенно присуще Хайдеггеру в 30-е годы.) Пытаясь емко определить, что же такое представившийся его взгляду «гештальт рабочего», Юнг отсылает не к платоновской идее и не к сверхчеловеку Ницше, но... к лейбницевской монаде и к перворастению Гёте. Его гештальт — своего рода органическая, материальная форма форм. «Гештальт рабочего» можно еще представить как динамическую силу, как формирующую титаническую мощь... На протяжении всей книги Юнгер пытается трансплантировать нам это «сверхзрение». В этой попытке зримо предьявить новый «космогонический миф» сказывается что-то очень характерное для времени культурной катастрофы. Вот и Элиас Канетти, который в те же 30-е годы начал создавать свою книгу «Масса и власть», пытался добиться того же: научить нас видеть сам феномен тоталитарного захвата жизни, узнавать эту опасность во всех проявлениях и обличьях. Правда, Канетти ощущал происходящее на его глазах как чудовищное обращение истории вспять, как нисхождение к варварским архаическим основам жизни. У Юнгера, мне кажется, отсутствует это внутреннее этическое отношение. Мы просто должны увидеть, как власть (сила не политическая, скорее — историческая и космическая) подчиняет человека требованиям, которые предьявляют машине, как эта вырвавшаяся на поверхность сила вовлекает человека в движение «тотальной мобилизации» и превращает его в военный ресурс государства, добиваясь тотального опредмечивания, анестезии обычных человеческих чувств, устанавливая господство чуждого боли «жесточкого духа»... «Рабочий» — имя-образ этого нового времени, — черты его, убежден Юнгер, не стерлись и в конце века... Действительно, разве не сходная интуиция формирует, скажем, постмодернистскую теорию симулятивной гиперреальности Бодрийера? В любом случае оба они говорят о сущностной метаморфозе истории человека, о признаках своеобразной «социальной анестезии».

Исайя Берлин. Философия свободы. Европа. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 440 стр.

Вышла первая книга работ Исайи Берлина на русском языке. И появилась она вне координат времени и пространства. Ни годы появления работ (в сборник вошли «Стремление к идеалу», «Чувство реальности», «Два понимания свободы», «Противники просвещения», «Национализм: вчерашнее упущение и сегодняшняя сила» и другие эссе), ни обстоятельства их первой публикации издатели не указали, сочтя все это, видимо, несущественным (обозначена лишь политико-интеллектуальная принадлежность: книга принадлежит серии «Либеральное наследие»). Однако в издательской оплошности сказалось нечто внутреннее. Стилистически, по своей тональности, эти тексты-беседы (многие тексты Исайи Берлина в своей основе — записи его лекций и выступлений) как будто не хотят принадлежать (в том числе и эмоционально) к какому-либо локальному историческому времени. Хотя Берлин и рассказывает о своем расставании с принципами *philosophia regennis*, интонационно он остается, мне кажется, близкородственным ей. Но по нашим постмодернистским временам — это настоящее индивидуальное событие. Берлин фактически описывает собственные поиски вечных ценностей. При этом предельную ясность его мысли можно даже принять за тривиальность. Впрочем, показаться излишне простым сам он не боится. Скорее ему претит завлекать читателя и слушателя претенциозными умствованиями и тайнами. Пожалуй, Берлин интуитивно согласен с Кантом. Последний, как известно, ценил застольную беседу и требовал соблюдать правило общественной вежливости: предмет общего обсуждения должен быть отчетлив, ясен всем, развитие темы должно идти от про-

стых усмотрений к более сложным, при полном уважении к возможностям понимания всех собравшихся (общественный идеал Просвещения).

Эстетический и этический императив Исаяи Берлина: «Избегать крайностей, которые приводят к страданиям». Поэтому, даже вторгаясь на опасные территории мысли, он выдерживает разумную дистанцию беспристрастного «историка идей». Замечательный пример безупречной выдержанности его исследовательского темперамента — работа о де Местре (самая большая статья книги — «Жозеф де Местр и истоки фашизма»). Но это не мешает ему разглядеть блестящие интуиции де Местра (вопреки всеобщему мнению, Берлин считает, что де Местра следует читать в обратной перспективе, из будущего, что его мир скорее приближается к миру Ницше, Сореля, Парето, Гамсуна...). Он способен оценить «политическую трезвость и обдуманную резкость» его воззрений. Берлин пространно цитирует аргументацию де Местра о безусловном праве «силы» и «тайны», которое должно лежать в основе сообщества, о призрачности универсальных «прав человека» (ибо «общечеловека» нигде не существует), о порочности конституции для жизни общества, о «подлинной свободе», обретаемой лишь при условии поглощения личности народом и государством... Исаяя Берлин знает силу этих аргументов. Очевидец XX столетия, он смог оценить эту деместровскую мрачную теоретическую серьезность. Приглушив ее, правда, своим в меру пессимистичным либеральным оптимизмом.

С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев, Г. Е. Крейдлин. Словарь языка русских жестов. Москва — Вена, «Языки русской культуры», 2001, 256 стр.

Это пионерское отечественное исследование — поздний извод идеи исследования техник тела, принадлежавшей великому антропологу XX века Марселю Моссу. Он исходил из того, что каждое сообщество предписывает человеку строго определенные правила использования собственного тела — и это один из способов вписывания человека в культуру. Мосс говорил о необходимости составления подробного «инвентаря» и описаний различных способов использования людьми разных исторических эпох и культур своего тела. Позже Леви-Строс даже предлагал ЮНЕСКО заняться составлением «Международного архива техник тела». Задача авторов «Словаря» — более локальная. Их исследовательская область — кинесика, учение о жестах (жесты рук, мимические жесты, позы и знаковые телодвижения). За пределами их рассмотрения, с одной стороны, — физиологические движения, с другой стороны — искусственные языки жестов (язык глухонемых, узких социальных групп, ритуальные языки). В «Словаре» по единой семиотической схеме описаны сто наиболее употребительных жестовых лексем — единиц «русского языка тела». Авторы специально оговаривают национальную принадлежность описываемого ими опыта. Нормы ситуативной телесной этики имеют выраженные культурные различия. Скажем, в Японии позы «прочитываются» и получают оценку прежде всего по социальной статусной шкале, в то время как в России главной является этическая шкала (что прилично, что нет). Но классификация языка невербальной коммуникации может идти не только по «национальному» признаку, но и, скажем, по гендерному: авторы высказывают гипотезу, что поведение мужчин и женщин в каждой культуре обладает своим исходным набором эмблематических поз. По-видимому, здесь открывается возможность еще одного не менее любопытного словаря.

Движения человеческого тела выражают определенный смысл, который может дублироваться вербально, — и в словаре даются языковые аналоги жестов, а также добавляется обширный литературный иллюстративный материал. Благодаря этому декларируемая авторами узкодисциплинарная принадлежность исследования (невербальная семиотика) не мешает этой книге быть занятнейшим путеводителем по «физиогномике тела». И еще одну замечательную догадку высказывает Григорий Крейдлин — о существенном взаимодействии языка тела и языка слов, о единстве обеспечивающих его глубинных процессов. В этом направлении двигаться столь же сложно, сколь и интересно. Кстати, схожее подозрение высказывал и Марсель

Мосс: он говорил о мгновенной корреляции психологического и социального. Но такая исследовательская перспектива не под силу семиотике, здесь требуется объединение биологии, антропологии, психологии, социологии, философии...

Жан Монне. Реальность и политика. Мемуары. Перевод с французского В. Божовича. М., «Московская школа политических исследований», 2000, 664 стр.

Книга Ж. Монне, хотя и сплошь заполнена именами, событиями, фактами, читается как авантюрный роман. Особенно интересно ее читать, когда уже знаешь итог всей интриги — создание Европейского союза. Жан Монне издал свои мемуары в 1976 году. К тому времени объединенная Европа достигла своего двадцатипятилетнего возраста. Но существованием своим и развитием, как признал Европейский Совет, это объединение обязано «смелости и широте взгляда маленькой группы людей», одну из главных ролей в которой играл Жан Монне. История, рассказанная человеком, который сумел в реальном историческом пространстве реализовать свою, казалось бы, утопическую архитектурную идею, удивительна. И рассказана она, заметим, на удивление без личных пристрастий.

«В шестнадцать лет я купил шляпу-котелок и осознал свою ответственность». В этом лаконичном взгляде на себя Монне, пожалуй, выразил простую и точную суть. Сын негодянта из французской провинции Коньяк, он успешно ведет дела семейной фирмы, торгующей коньяком по всему миру. Он ездит в Англию, Америку, Канаду, Швецию, Россию, Египет, в Токио и Шанхай, а заодно естественным образом приобретает разнообразие впечатлений и навыков. Этой уникальной открытости он обязан своим будущим успехом в европейской политике.

В 1914 году, в начале войны, движимый одной лишь ясно представившейся ему идеей, он едет из провинции в Париж, попадает на прием к премьер-министру, излагает ему свой план — и убеждает его. «Даже если ты прав, не в твоём возрасте и не в Коньяке менять то, что решили руководители в Париже», — так наставлял его отец. Но молодому человеку было очевидно: история столкнулась с новой проблемой, принадлежащей уже XX веку, которую (он был уверен) молодое, лишённое предрассудков сознание различало лучше, чем эксперты, воспитанные на понятиях XIX века. Эти эксперты, был убежден Монне, не учитывают, что современная военная машина будет перемалывать все ресурсы стран и поэтому потребуются такие формы союзнической организации, о которых раньше не подозревали. Жан Монне первым заговорил о необходимости — наперекор стереотипам государственного суверенитета — безусловного объединения, единого управления всеми (человеческими, продовольственными, военными) ресурсами Антанты... В этом начинании (тогда — перед лицом Первой мировой войны) был исток будущей объединенной Европы.

Арье Найер. Военные преступления. Геноцид. Террор. Борьба за правосудие. Перевод с английского А. Богдановского. М., «Юрист», 2000, 366 стр. (Книга издана при поддержке Фонда Сороса.)

В русском переводе вышла изданная два года назад на Западе книга, написанная президентом Института «Открытое общество», бывшим руководителем Human Rights Watch Арье Найером. Предисловие к русскому изданию написал его единомышленник — Сергей Адамович Ковалев. Внимательный читатель заметит тонкое интонационное различие этих текстов — небольшого предисловия и самой книги. Найер излагает и анализирует мировой опыт международной защиты прав человека — в том числе, если эти права нарушаются тем государством, чьим гражданином человек является. (Опыт XX века убеждает нас в том, что именно собственное государство часто оказывается самым опасным врагом...) И в тоне Найера звучит естественная уверенность в реальных перспективах этого правозащитного занятия. Сергей Ковалев, на собственном немалом опыте познавший предмет исследований Арье Найера, высказывается скорее в интонации надежды. Действительно, международное гуманитарное право для России сегодня почти исключительно предмет спекуляции — риторика, но не реальность. Живя в одном времени, мы находимся

в несколько разных исторических измерениях. Книга Найера подтвердила для Сергея Ковалева («фонил» и личный опыт) его собственный вывод: «Проблема уголовного наказания за грубые и массовые нарушения прав человека, и, в частности, за военные преступления и преступления против человечества, неразрешима в рамках национального правосудия. Поэтому все эти преступления, в какой бы стране они ни совершались, должны быть подсудны исключительно международным судебным органам». Иначе говоря, речь идет о глобальной исторической подвижке — ограничении национально-государственного суверенитета во имя охраны индивидуальной человеческой жизни. Найер обсуждает прежде всего программу-минимум. Он говорит о необходимости и возможности утвердить практику международной уголовной ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечества. Он подробно анализирует опыт работы Международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, рассказывает о попытках правового преследования латиноамериканских и африканских диктаторов, обращается и к опыту Нюрнбергского и Токийского трибуналов по военным преступлениям. Книга написана на очень большом фактическом материале. И одновременно Арье Найер размышляет о «теории преступления»: о преступном государстве и коллективной ответственности, о преступном приказе и смягчающих вину обстоятельствах, о правовом иммунитете высших чиновников и военных лиц.

Эльвира Горюхина. Путешествия учительницы на Кавказ. М., «Текст», «Журнал „Дружба народов“», 2000, 224 стр.

«Это болезненно придуманная война»... Можно ли быть разумным свидетелем войны? Гражданской войны? Настроить зрение, выстроить сюжет, заключить «впечатления» в повествовательную форму? «Повесть» о войне, «рассказ о войне», военный «очерк»... Перед безумием совсем недавних и сегодняшних войн в Абхазии, Нагорном Карабахе, Чечне, которое описывает Эльвира Горюхина, все эти «литературные» формы лживы и бессильны. Поэтому и получилось, что в ее книге нет сюжетов — есть кадры, фрагменты хаоса и губительной бессмыслицы кровавой гражданской вражды. Не «локальные войны» описывает автор (благополучное это слово — «автор» — звучит здесь диссонансом), но войну тотальную — ту, которая без правил и без жалости, без смысла и перспективы, ту, которая ведется на постсоветской территории.

Война эта взамен жизни рождает абсурдные сочетания деталей. У одного из героев этих записок, Алика Восканяна из службы безопасности Нагорного Карабаха, на столе — списки заложников и... книги, которые он «штудирует», любимая — «Развитие и принципы международного права», совсем недавнего года издания...

Читая страницу за страницей, ощущаешь, как нарастает отчаяние, и вопрос, который звучит в книге постоянным рефреном: «В чем наше спасение?» — воспринимается уже как безнадежно риторический. Все, что мы натворили, не забудется — да и простится ли? Эту книгу читать очень больно. Нет дистанции между пишущей свои записки и событиями, между событиями и читателем. Уклониться от переживания, сопереживания — невозможно.

И еще одна особенность авторского взгляда: среди тех людей, кто взял в руки оружие, и тех, кто просто пытается выжить в этой всеобщей войне, нет ни невиновных, ни виноватых. Но за панорамой войны явственно проступает контур власти, которая пытается этим безумием. Очень точное описание: «Мне начинает казаться, что мы все живем в какой-то вторичной реальности, созданной из знаков, мифов, символов, клише, а подлинная, истинная жизнь со своими всамделишными страстями, исконным горем и страданиями проходит параллельно, не затрагивая нашего сознания... Поем песни про беженцев, которые их никогда не услышат, потому что несчастные люди тихо умирают в своих вагончиках. Стоят порушенные артиллерией дома, а где-то идет денежный дождь на восстановление разрушенного».

Эльвира Горюхина — учительница. По роду занятий она должна передавать другому смысл, обеленный в цивилизованный язык. И сама она признается, что за годы блужданий по «горячим точкам» «поднаторела в вопросе о том, как начать разговор с человеком на войне», где свой алфавит и свой словарь. Но как рассказать все это тем, кто уверен: «Значит, было за что. Вот и убили...»?

-2

Мирча Элиаде. Аспекты мифа. Перевод [с французского] В. Большакова. М., «Академический проект», 2000, 222 стр.

В не столь отдаленные советские времена в ходу был аргумент «от рядового читателя». Нередко от имени этой весьма неопределенной фигуры осуществлялась цензура. Ориентация на так называемого «широкого читателя» имеет и сегодня подчас далеко идущие последствия. Переводчик «Аспектов мифа» в своей попытке «заинтересовать читателя идеями и образами» Элиаде постарался максимально облегчить знакомство с «культурным контекстом» работ знаменитого исследователя мифов. Перевод (осуществлявшийся с французского издания 1964 года) снабжен упрощенными комментариями, обзорной статьей о воззрениях Мирча Элиаде и немногословной библиографией. Но особо трогательная забота о нашем просвещении проявилась... в переводе и транслитерации всех библиографических ссылок текста на родной русский язык и алфавит. Получился не имеющий (я надеюсь) аналогов «русскоязычный путеводитель» по западной научной литературе. Большеинишилось ссылок Элиаде — на не переводившиеся на русский язык работы антропологов. Но теперь мы вписали их имена в отечественный научный реестр. Читать эту подстрочную библиографию рекомендую отдельно: Штрелов (имя не указано — может быть, просто не найден русский эквивалент), «Племена аранда и лориджа в Центральной Австралии», том 3 (из неведомого собрания сочинений соответствующего автора), стр. 1 (год и место издания, видимо, в данном случае несущественны); Клайд Клакхон, «Мифы и ритуалы: общая теория»; «Гарвард теологикел ревю», т. 25, 1942, стр. 45 — 79 (оригинал, видимо, на английском); Курт Нимуэндау (попробуйте однозначно транскрибировать имя «в обратную сторону»), «Сказания о создании и уничтожении мира»; Цайтшифт фюр Этнологие... (Подсказка сведущему — автор, видимо, немецкоязычный...) В общем, если угадаешь язык оригинала — появляется и шанс отыскать соответствующее издание в библиотечном каталоге. Примечательно, что книга вышла в издательстве «Академический проект». Некоторые ученые авторы иногда создают себе вымышленную родословную и в академически безупречно выглядящую библиографию вписывают несуществующие источники. Иронизируют. Но в нашем случае, похоже, все всерьез.

П. К. Гречко. Введение в обществознание. Для поступающих в вузы. Учебное пособие. М., «Уникум-центр», «ПОМАТУР», 2000, 320 стр.

Подозреваю, что настоящее «Введение в обществознание» (рекомендованное Экспертным советом Межрегионального объединения довузовского образования в качестве пособия для поступающих в вузы) — далеко не самый достойный критики опыт преподнесения этого «гуманитарного предмета». Речь должна идти, наверное, о нужности самой этой включенной сегодня в школьную программу дисциплины. Когда читаешь такие учебники — благополучно возвращаешься в советские времена. И даже начинаешь подозревать, что разные времена живут сегодня у нас одновременно, параллельными мирами. Метаморфоза обществоведения (такой предмет я изучала двадцать пять лет назад в средней школе) в обществознание, похоже, дала унылые результаты. Мы, кажется, ушли от плоской идеологизации и попали в атмосферу беспредметности...

Учебник начинается с дружеского зачина: «Обществознание... Ну кто не знает, что это такое!» Эта ставка на «общение накоротке» играет с автором плохую шутку — текст оказывается банальным и, несмотря на призывы «творчески» размышлять об обществе и человеке, теоретического энтузиазма не пробуждает. Казалось бы, все рассказано неглупо и «правильно» — вот только преследует чувство бесконечного воспроизводства языка «ни о чем»... Неслучайная стилистическая примета... В свое время Мераб Мамардашвили, пытаясь объяснить это странное свойство стиля проявлять нечто дополнительное к высказываемому содержанию («создавать впечатление»), приводил пример из своего детства. Читая газеты послевоенного

сталинского времени, он, тогда еще ребенок, не мог уличить их в фактической лжи, однако впечатление лживости точно передавалось самим строем газетного языка. Похожим образом узнаваемое «впечатление бессмысленности» преследовало и меня при чтении этого «Введения». Возможно, обостренной реакцией на бессмысленное знание я обязана своему советскому философскому образованию. Какое чудовищное количество времени ушло на чтение посредственных отечественных изложений философии! Неужели эти времена все еще с нами... Сколь долго еще будет жить у нас стремление формировать социальное мышление (раньше сказали бы — мировоззрение) подрастающего поколения, доверительно обсуждая в учебниках вопросы о смысле бытия...

После каждого раздела этого учебника мысли автор предлагает пройти тест. Выбрать верный ответ. Например: «Душа представляет собой: А. Особую жизненную силу как индивидуальное воплощение всеобщей одушевленности космоса. Б. Воздушное, легкое и неосязаемое образование, связывающее мозг с сердцем человека. В. Самосознание как таковое. Г. Субъективно-внутренний мир человека, взятый в его динамической целостности. Д. Синоним психического». Сознание, я поставлена в тупик. Мне больше нравится позиция Б, но и другие «дефиниции», мне кажется, имеют некоторый смысл (не будем привередливы к порой не самой удачной форме выражения, как-то: «Душа — это синоним»...). Никак не получается определиться, воспользовавшись приобретенным учебным знанием. К счастью, сам автор, напутствуя будущего гуманитария, советует: «В случае затруднения с понятием смысла жизни его можно уточнить, изменить, а то и заменить».

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

Сугубо информационный обзор (с двумя лирическими отступлениями), посвященный Интернет-библиотекам («Вехи», «Библиотека античной литературы») и персональным страницам в Интернете Достоевского, Солженицына, Гарсия Маркеса, а также — странице японской классической поэзии

О кризисе жанра. (Первое лирическое отступление.) Есть такая редакторская (и обозревательская) болезнь — сбой критериев, утрата необходимого контекста. Это когда слишком долго имеешь дело с текстами одного, и по преимуществу не слишком высокого, уровня, когда перед глазами только один слой литературы. Об этих издержках профессии я знал, наблюдая за некоторыми коллегами. Но не думал, что нужно следить за собой. Оказалось — нужно. Помогла взбучка, полученная от двух друзей-литераторов. «Ты, — сказал мне один из них, мгновенно раскаляясь и протыкая мою грудь пальцем, — ты занимаешься растлением! И никто другой! Ты занимаешься легитимизацией подзаборной литературы! Ты и твой журнал, когда он позволяет себе на своих страницах упоминания текстов, подобных „Низшему пилотажу“». — «Но я же ничего хорошего не писал про этот текст!» — «Это не имеет значения. Для таких книг, как эта, и хула — похвала. Сегодня эта книга во всех книжных магазинах, так вот знай: ее выход — это и твоих рук дело!»

«И он прав. Абсолютно», — со спокойной, обжалованию не подлежащей категоричностью сказал мне другой коллега.

И я задумался. Определенная правота тут есть. Но как тогда соблюсти соотношение между нормальной читательской заинтересованностью (то есть в определенной степени — включенностью) и необходимой дистанцией? Я прекрасно понимаю, что там, в молодом литературном Интернете, в его полумаргинальном вареве, вызывает новая литература, что там при отсутствии шедевров (замечательна формулировка венгра Эстерхази: «Легитимность литературы — в шедеврах») — именно там идет живая жизнь, там намечаются тенденции, направления, стили, которые определяют будущие шедевры. И что может быть интереснее и азартнее для критика, чем поймать только встающее на ноги, только оформляющееся будущее нашей

литературы. Это — с одной стороны. Но и некоторая принципиальная инфантильность, кокетничание своей принадлежностью к определенному «молодежному слою» литературы, интересничанье и жеманство «продвинутостью», объявление своих поколенческих комплексов универсальными — все это тоже есть. Достаточно заглянуть в разделы Энциклопедии Интернета на GIF.RU, в статьях которой игровая, раскованная атмосфера граничит с элементарной умственной и душевной небрежностью, чтобы почувствовать ущербность, ограниченность самого дискурса, предлагаемого так называемым «новым литературным интернет-поколением».

Притом самые brutальные в литературном Интернете, я имею в виду нацистов, маскирующихся под патриотов, или близких к ним «ленинцев», — это уже, так сказать, инфантильность принципиальная, с идеологически проработанным правом на бравирование своей душевной ущербностью, закомплексованностью, обидой и соответственно — правом на ненависть и агрессию.

Ну и в какие отношения со всем этим входить интернетовскому обозревателю? Как разделить внутри себя равно необходимые качества: внимание и доверие к явной талантливости текстов, к наличию в них энергии, с одной стороны, и с другой — элементарную нравственную и эстетическую брезгливость, в данном случае являющуюся проявлением инстинкта личного и культурного самосохранения.

Короче, пребывая в некоторой задумчивости над этими вопросами, я хочу предложить и на сей раз сугубо информационный обзор некоторых сайтов, посвященных литературе и творчеству отдельных писателей. Другими словами, продолжу работу, начатую в предыдущем обзоре.

В конце концов, не раз повторенное мною: «Интернет безграничен по определению» — реальность. В нем есть все. Ну, почти все. Есть и собственно культура.

Начнем с новых библиотек.

Относительно недавно (27 сентября 2000 года) в Интернете открылась еще одна библиотека — «ВЕХИ. Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы» (<http://vehi.liter.ru/>). В основных разделах ее представлены:

РЕЛИГИЯ: Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Заветов;

БОГОСЛОВИЕ: труды Бл. Аврелия Августина, св. Дионисия Ареопагита, еп. Луки (Войно-Ясенецкого), Александра Меня;

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Слово о законе и благодати»;

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: труды П. Я. Чаадаева, Вл. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, Л. И. Шестова, П. А. Флоренского, Г. П. Федотова, В. В. Розанова, Д. С. Мережковского, Е. Н. Трубецкого.

Отдельными позициями на титульном листе обозначены книги: «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (М., 1909) и «Истоки и смысл русского коммунизма» Н. А. Бердяева (Париж, 1937);

ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ: Эрих Фромм, «Иметь или быть?»;

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА: А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, В. В. Набоков, М. А. Булгаков, Б. Л. Пастернак;

«ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС» В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ КОНЦА XIX — XX ВЕКА;

А. СОЛЖЕНИЦЫН, «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ».

На титульной странице библиотеки «Вехи» вывешены краткие биографические справки о Владимире Соловьеве, Сергее Булгакове и Павле Флоренском.

Свою задачу составители сайта определили так: «Систематическая публикация сочинений русских религиозных мыслителей, философов и писателей, воспоминаний о них, а также заметок, обзоров и исследований их творчества, биографической и библиографической информации, других материалов... Центральное место в Библиотеке уделено Владимиру Соловьеву, фактическому основателю русской философии...»

Раздел Владимира Соловьева (<http://vehi.liter.ru/soloviev/>) выглядит одним из самых обихоженных на сайте. Основной корпус выставленных текстов Соловьева

составляют «Чтения о Богочеловечестве», «Оправдание добра. Нравственная философия», «Об упадке средневекового мирозерцания», «Смысл любви», «Судьба Пушкина», «Общий смысл искусства», «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина», «Три речи в память Достоевского», «Еврейство и христианский вопрос», «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об антихристе».

Отсюда же, с основной страницы соловьевского раздела библиотеки, открыт доступ к текстам о Соловьеве С. Н. Трубецкого, В. В. Розанова, П. И. Новгородцева, А. Белого, Вяч. Иванова, А. Блока, Н. А. Бердяева, Г. П. Федотова, А. Ф. Loseва, В. В. Бычкова, игумена Вениамина (Новика), С. С. Хоружего и других.

Я заглянул в Форум «Вех», там — сразу несколько дискуссий; я, естественно, открыл обсуждение вопросов ксенофобии. Оказывается, на фоне нынешних «патриотических» страстей, внезапно обуявших наше общество, можно почитать и такое (не могу не процитировать, сделать, так сказать, любительский замер интернетовского общественного мнения):

«Андрей: Состояние дискуссий на русскоязычных форумах в Рунете представляет собой печальное зрелище. Их участники в открытую проповедают человеконенавистнические идеи... Анонимность и всеобщность Интернета дает возможность безнаказанно высказывать самые крайние взгляды, дает простую возможность фашистам находить друг друга и объединяться...

Я не говорю об открыто черносотенских форумах, таких, как „Память“, „РНЕ“, „Русское небо“, „Завтра“ и т. п., но даже форумы просоветских и консервативных интернетовских газет, таких, например, как «Советская Россия» или «Правда-On Line», превратились в настоящий рассадник идеологии фашизма. Это тем более странно, что указанные форумы строго модерированы, то есть управляются, администраторами этих сайтов.

С другой стороны, то обстоятельство, что коммунистическая идеология оказалась близка к фашистской, не должно нас удивлять: обе идеологии по сути своей всегда являлись человеконенавистническими и безбожными, и различие между ними только в том, что коммунистическая идеология базируется на разжигании классовой вражды, а нацизм основан на ненависти расовой.

Вадим: То, что вы написали, — совершенно верно и не является какой-либо тайной... такое положение не случайно. В чем же заключается закономерность? Где корень? Только ли в социальной области?

Я даже начинаю склоняться к психофизиологической версии. В том смысле, что определенные комбинации внутренней и внешней действительности производят существенные сдвиги на ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ уровне, в области медицинской. Если это хоть чуть-чуть так, то всякая „борьба“ с такими явлениями с помощью „агитации и пропаганды“ может быть довольно бесполезна...

Андрей: Я против „агитации и пропаганды“ — здесь следовало бы говорить о „просвещении“, а не о пропаганде. Пропагандируют все, что угодно, и делают это в чисто прагматических целях — для „пользы“ той или иной политической группы. Те, кто занимаются пропагандой, сами не верят в то, что пропагандируют, и у них нет цели познания истины — истина их не интересует, только „польза“...»

Библиотека античной литературы (<http://cyrill.newmail.ru/>). Удобный сайт, предоставляющий доступ к текстам античных авторов в Интернете. Из «Алфавитного каталога»:

Алкей, Алкман, Анакреонт, Аристотель, Геродот, Гесиод, Гомер, Демокрит, Народные древнегреческие песни, Платон (Платона очень много), Плутарх, Порфирий, Прокл, Сафок, Солон, Терпандр, Тиртей, Эзоп, Эсхил, Бозций, Вергилий (с приложением «Энеиды» на украинском языке, трагестированной И. Котляревским), Горааций, Катулл, Марк Аврелий, Марциал, Овидий, Сенека и так далее. С удовольствием бы перепечатывал и дальше имена — их еще очень много, и занятие приятное, — но, думаю, интересующимся и специалистам лучше зайти на сайт самим. Кроме собственно текстов там представлена и литература по истории античной культуры.

Трогательный сайт я обнаружил в японском Интернете — университет города Хоккайдо поддерживает на своем сервере сайт под названием «**Современные писатели в России**» (<http://src-home.slav.hokudai.ac.jp/Writer/windex.html>), и когда я открыл список представленных там писателей, у меня дух перехватило — тут весь наш цвет. Десятки персональных страниц. Успокоили меня только сами страницы. Каждая из них содержит имя писателя, написанное латиницей и кириллицей, год рождения и список произведений последних лет. Например: «Белов Василий. 1932. „Такая война“. Рассказ. „Юность“, 1985, № 11; „Все впереди“. Роман. „Наш современник“, 1986, № 7 — 8; „Кануны“. Хроника конца 20-х годов. Часть третья. „Новый мир“, 1987, № 8». И еще две-три позиции.

Про Битова гораздо подробнее: «Прозаик. Поэт. Эссеист. Родился в 1927 г. в Ленинграде... „Большой шар“. Ленинград, 1963; „Такое долгое детство“. Ленинград, 1965; „L’Herbe et seil“. Париж, 1965; „Дачная местность“. Москва, 1967...»

Аскетичностью и лапидарностью это напоминает тщательно собранные сведения о литературе некой отдаленной цивилизации. Бог с ними, с текстами, — самого факта существования в России писателя и написанных им книг более чем достаточно.

Я говорю без иронии — трогательный сайт. Единственное, что удивляет, — это присутствие его в интернетовских рейтингах самых посещаемых литературных сайтов. Но это уже вопрос достоверности таких рейтингов — мне, например, трудно представить, что здесь бывает больше посетителей, чем в «ЛИТО им. Стерна» или в «Лавке языков».

Ну а теперь о персональных страницах.

В конце апреля заработал сайт «**Комиссия по изучению творчества Ф. М. Достоевского. Институт мировой литературы РАН**» (<http://komdost.narod.ru/>). Это дает мне повод сделать краткий обзор Интернет-страниц Достоевского, но вначале несколько слов о новом сайте.

Пока сайт невелик и компактен, но, судя по замыслу его (и по энергии его создателей — в частности, литературоведа и критика Т. А. Касаткиной), он обещает развернуться. Пока же работают только разделы:

«**Наши новости**», в которых сообщается о целях сайта и о том, что он еще находится в работе;

«**Издания Комиссии**» — здесь выставлен сборник статей «Роман Ф. М. Достоевского „Идиот“: современное состояние изучения» (<http://komdost.narod.ru/izd.htm>), в котором представлены, пожалуй, лучшие силы современного достоевсковедения в России и за рубежом. Сборник только что вышел из печати, и сверхоперативное появление его в Интернете — симптоматичное по нашим временам и приятное явление.

И три линка — на страницу петрозаводского сервера «**Весь Достоевский**», на сайт «**Клуб любителей Достоевского**» (<http://www.pereplet.ru/dostoevskiy>), а также на персональную страницу Татьяны Касаткиной в сетевом «**Новом мире**» (http://novosti.online.ru/magazine/novy_mi/redkol/kasat/kasat.).

А вот интернетовский контекст, в который попадает этот сайт, — наиболее популярные страницы, посвященные Ф. М. Достоевскому:

петрозаводский сайт «**Весь Достоевский**» (<http://www.karelia.ru/~Dostoevsky/fulldost/info.htm>). Полное собрание сочинений. Канонические тексты;

«**Литературно-мемориальный Музей Достоевского в Петербурге**» (<http://www.md.spb.ru/dost/title.htm>). Сайт расположен на сервере «**Санкт-Петербургские ассамблеи**» (<http://www.md.spb.ru/sa02.gif>) и содержит информацию об истории создания и коллекциях музея (книгах, фотографиях, рукописях, графике, живописи и скульптуре), электронный каталог иллюстраций к произведениям писателя, фотографии экспозиций и афишу выставок музея;

англоязычный сайт «**Ф. М. Достоевский**» (<http://www.kiosek.com/dostoevsky/>). Страница Кристиана Штанге (Christian Stange) — хронология жизни писателя, библиография, подборка ссылок.

Сами тексты Достоевского достаточно полно представлены в библиотеках Максима Мошкова (<http://lib.ru/LITRA/DOSTOEWSKIJ/>), Евгения Пескина (<http://www.online.ru/sp/eel/russian/>) и Олега Колесникова (<http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs/dostoevs.htm>), а также в соответствующем разделе «Литературных архивов» (<http://dostoevsky.newmail.ru/dostoevsky.html>) на сайте «Общий текст» (<http://text.net.ru/index.html>) — подбор текстов там не очень большой («Братья Карамазовы», «Идиот», «Подросток», Пушкинская речь), но зато выставлены работы о Достоевском К. Н. Леонтьева, В. С. Соловьева, В. В. Розанова, С. Н. Булгакова, Вяч. Иванова, Л. Шестова, М. М. Бахтина.

Солженицын в Интернете. У Солженицына нет своей персональной, или, как говорят, официальной, страницы в Интернете. И потому всем интересующимся я бы порекомендовал прежде всего поставить в свое «Избранное» адрес страницы Андрея Платонова «Александр Исаевич Солженицын» (<http://teljonok.chat.ru/>). Она содержит «в основном гиперссылки на материалы, размещенные на других сайтах. Цель ее — создать указатель ко всем произведениям А. И. Солженицына и статьям, посвященным его творчеству, имеющимся в Интернете».

Основные здесь разделы, естественно, — это «Книги», «Рассказы», «Статьи» — с этих страниц открыт доступ к художественным и публицистическим текстам Солженицына. В качестве культурной инфраструктуры — несколько разделов, самые интересные из которых, на мой взгляд, это:

«О нем» (вывешена статья-справка Андрея Немзера, краткая библиография изданий писателя и подборка ссылок на статьи о Солженицыне Сергея Аверинцева, Генриха Бёлля, Георгия Владимова, Татьяны Давыдовой, Андрея Зорина, Олега Мраморнова, Наума Нима, Евгения Попова, священника Георгия Чистякова и т. д.; пестрота этого длинного списка объясняется тем, что держатель сайта не делает какой-то специальной выборки, а представляет тексты, доступные в Интернете);

«Дуб» — страница имеет подзаголовок «Секретная война КГБ против А. И. Солженицына» и содержит ссылки на собранную Владимиром Буковским коллекцию документов, они расположены на странице «Советский архив» (<http://www.aei.org/bukovsky/pdfs/solgh/solg-r.html>): тексты докладных записок и донесений КГБ, составленных по материалам наблюдения, точнее, слежек за Солженицыным, а также результаты «аналитической работы» над его текстами.

Самостоятельный сайт, посвященный Солженицыну, поддерживался на сервере факультета социологии (<http://www.soc.pu.ru/gallery/solzhenitsyn>) Петербургского университета. Тексты, библиография, материалы о писателе, ссылки. (О нем следовало бы написать подробно, но ссылка на него из интернетовских каталогов в середине мая, когда я составляю этот обзор, почему-то перестала работать. Будем надеяться, что доступ к сайту возобновится.)

Еще одно солженицынское собрание ссылок на странице «Александр Солженицын» сайта «Кулички» (<http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/newrus/solzheni.htm>).

Ну и разумеется, тексты Солженицына можно смотреть в библиотеке Мошкова (<http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/>): «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Раковый корпус», «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», статья «Образованщина» и интервью в газете «Таймс».

К уже названному перечню добавляется из собрания на странице «Александр Исаевич Солженицын» сервера «Общий текст» (<http://solzh.newmail.ru/>) «Угодило зёрнышко...», «Жить не по лжи», «Россия в обвале».

И наконец, недавно появившаяся «навигационная» страница Александра Солженицына (http://novosti.online.ru/magazine/novyi_mi/redkol/sol/) в сетевом «Новом мире», где почти полно представлена поздняя проза Солженицына. Повести, рассказы, крохотки, статьи, мемуары — все, написанное и опубликованное им в журнале с 1993 года. Это более сорока произведений. Там же выставлена энциклопедическая статья о Солженицыне, написанная Сергеем Залыгиным.

Иными словами, в Интернете достаточно полно представлен канонический корпус текстов Солженицына: проза 50 — 60-х годов, «Архипелаг», выборочно —

публицистика 70 — 80-х, а также нынешнее творчество. А вот огромное количество романских текстов из цикла «Красное Колесо», за исключением небольших фрагментов, пока Интернетом «не освоено».

И другой нобелевский лауреат, Габриэль Гарсиа Маркес, — он представлен в русском Интернете на единственном, но достаточно компактном сайте «Макондо» (<http://macondo.nm.ru>).

Разделы с подразделами: *Биография* («Даты жизни», «Нобелевская премия», «Фотоальбом»), *Тема* («Маркес в кино», «Магический реализм», «Очерк истории Колумбии»), *Творчество* («Библиография», «Романы и рассказы», «Репортажи и статьи»), *Критика* («Монографии», «Рецензии и статьи», «Публицистика и СМИ»), *Ссылки*.

Самое существенное здесь — тексты, полнота их состава дают право считать выставленное на этом сайте вполне репрезентативным собранием сочинений («Палая листва», «Полковнику никто не пишет», «Недобрый час», «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «История одной смерти, о которой знали заранее», «Любовь во время чумы», «Генерал в своем лабиринте», «Любовь и другие демоны», а также — более сорока рассказов). Автор сайта — Дмитрий Акмулин.

Второе (лирическое) отступление: честно скажу, все-таки утомительное это дело — ворошить страницы Интернета, скачивая адреса, ссылки, перечни имен, названий, списки рубрик и подрубрики и проч., и проч. Почему-то, когда этим занимаешься с живыми книгами, такая работа в удовольствие. А в Интернете — выматывает. В определенный момент чувствуешь что-то вроде легкого мозгового удущья. И тогда я щелкаю по специально для это вставленной в «Избранное» ссылке. Сайт «Горная хижина» (<http://shack.webservis.ru/shack.jpg>). Экран погружается в темноту, потом справа синим лунным светом высвечивается зимний горный пейзаж с теплым оранжевым светом из окна домика на склоне горы. Справа на черном фоне несколько белых строк (немного жеманных, но простим автору): «Приветствую тебя, о путник! Рад, что заглянул в мою хижину. Я давно поселился в этих горах и совсем бы отвык от людей, если бы сюда не забредали пилигримы вроде тебя». А под этим обращением всего три имени: Басё, Буссон, Исса, которые уже сами звучат как стихотворная строка. У каждого на сайте по пятнадцать танка и хокку. На таком же черном фоне три оглавления, в каждом пятнадцать стихотворений. Щелкнув по начальной строке в оглавлении, открываешь на черном фоне небольшое яркое окошко с тремя строками — такими, например:

Сжег в очаге —
И дымок удержать пытаюсь.
Алые клены.

Целый сайт для поддержания всего сорока пяти крохотных стихотворений. И стихи эти перебираешь, как четки, постепенно приходя в себя. Место для легкой передышки в наших интернетовских марафонах.

Ну а если у кого разыграется аппетит — пожалуйста, «Хижина» предлагает ссылку на другой сайт. «Аромат Востока. Хайку со всего мира» (<http://grafmur.holm.ru>). Вынужден заметить, что название для сайта с такими изощренными текстами тоже, кстати, не самое лучшее — отнесем его и некоторые поясняющие тексты к самоотречению строителей сайта, специально создающих фон безупречным для вкуса стихотворным строкам, собранным ими в первых двух разделах: «Мацуо Басё» и «Классика» (в данном случае классика японской пейзажной, любовной, философской лирики). Содержащееся в этих двух разделах дополняется разделом «Гербарий», в котором представлены литературоведческие и литературно-критические работы о феномене дальневосточной поэзии и о ее связях с европейской культурой. Остальные разделы сайта касаются современной, в основном русской и европейской, поэзии, создаваемой с использованием восточных традиций.

P. S.

Другу, уехавшему в западные провинции.

* * *

Запад или Восток —
Всюду одна и та же беда.
Ветер равно холодит.

* * *

С треском лопнул кувшин:
Ночью вода в нем замерзла.
Я пробудился вдруг.

* * *

Над простором полей —
Ничем к земле не привязан —
Жаворонок звенит.

Мацуо Басё (<http://graf-mur.holm.ru/basho/basho3.htm>)

Составитель Сергей Костырко.

ПОПРАВКА

В № 7 «Нового мира» за этот год на стр. 207 имя журналистки Юнны Чуприной было напечатано с ошибкой. Приносим госпоже Чуприной свои извинения.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«...И МОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ»

Уважаемый Андрей Витальевич!

Поводом для этого письма стал комментарий к упомянутой Вами в новомирской рубрике «Библиографические листки» моей статьи о Нине Садур (напечатанной в 42-м номере газеты «Литература» за прошлый год). Вернее, комментарий не к самой статье, но к проблеме изучения *современной* литературы в школе. (Думаю, что в данном контексте под современной литературой и Вы и я понимаем отечественную литературу 90-х годов теперь уже прошлого века.) Позволю себе воспроизвести Ваш комментарий почти в полном объеме. «Составитель „Периодики” уверен, что в школе современную литературу не надо изучать *по определению* (не потому, что плохая, а потому, что — современная); а те немногие часы, что пока еще отводятся на литературу, следует полностью посвятить произведениям, бесспорно вошедшим в национальный канон».

Дело в том, что всего несколько лет назад (в бытность свою сотрудником отдела критики «Литературной газеты») я целиком и полностью разделяла Вашу точку зрения на школьное преподавание литературы. Вполне возможно, что краеугольный камень в основание этого моего убеждения был заложен еще в семидесятые годы, когда я (так же, как, наверное, и вы) училась в школе. В те прекрасные, несмотря ни на что, времена «Войну и мир», «Героя нашего времени», «Преступление и наказание» худо-бедно, из-под палки или с удовольствием прочитывали все (или почти все) ученики. Впоследствии те из них, которые не становились филологами (или физиками-лириками, по части чтения и по сей день дающими фору многим гуманитариям), эти объемные произведения никогда не перечитывали. Следовательно, не застав учителя нерадивых читателей познакомиться с этими шедеврами в школе, так и осталось бы большинство наших соотечественников не приобщенными к классике.

Хорошего в этом, разумеется, ничего нет.

Русскую классику читать нужно. И хорошо бы делать это в «школьные годы чудесные». Но в связи с сокращением часов, отводимых в школьных планах на литературу, правильно ли отдавать классике *все* урочное время?

Классика не стареет. Согласна. Но не стареет она лишь для развитого, думающего, тонко чувствующего, эмоционального читателя. Уровень накала чувств, тонкость движения души, причудливая жизнь сердца, в сущности, могут оказаться одинаковы и у пушкинской Татьяны, и у юной девушки XXI века. Но — не у любой современной девушки, совсем даже не у любой. Те девушки, которые сидели целыми днями на заборе и грызли семечки тридцать лет тому назад, все же держали в голове, что СССР — самая читающая страна, что не знать письма Татьяны и монолога Чацкого неприлично, а то, глядишь, и замуж не возьмут... Сейчас девушки и юноши стали более рациональными. Незнание наизусть стихотворных отрывков вызывает гораздо меньший дискомфорт, чем, скажем, компьютерная неграмотность. Во многих слоях общества авторитет отличного, в том числе и гуманитарного, образования сильно проигрывает авторитету отличной зарплаты, которая, как мы знаем, совсем не находится в прямой зависимости от начитанности.

Классическая литература для большинства сегодняшних школьников, увы, еще более скучна и безжизненна, чем для их родителей, и авторитет «самой читающей страны» нам, по-видимому, в ближайшем будущем не вернуть. Но, с отчаянием безнадежности изгоняя из школы литературные новинки, руководствуясь при том искренним желанием «сделать как лучше», какой при этом мы предполагаем получить результат? У современного школьника может возникнуть ощущение, что современной литературы как бы и нет. Вся литература кончилась в XIX — начале

XX века. Стоит ли делать титанические (для современной молодежи) усилия, дабы приобрести привычку к чтению, если, в принципе, читать-то будет нечего: спасибо литераторше Мариванне — всё уже прошли в школе.

Должен ли заинтересованный интеллигентный учитель делать вид, что Пелевина и Сорокина не существует? Кем будут востребованы новинки «Нового мира» и «Знамени» — журналов, которые год от года не устают хоронить околотелитературная общественность? И не может ли случиться так, что, прививая похвальную привычку к солидному, серьезному чтению, мы отвратим школьника от чтения вовсе? Андрей Витальевич, подумайте в конце концов о судьбе своего журнала. Кто будет его читать через десяток-другой лет?

У меня на рабочем столе лежит письмо учительницы из небольшого села Владимирской области. Она собрала книжки «Нового мира» за последние два года (приобретенные на нелишние для нее деньги). Так вот, пересмотрев этой весной журналы, учительница отобрала несколько, по ее мнению, лучших рассказов, чтобы на этом материале повторять со своими учениками принципы написания рецензии в преддверии выпускного сочинения. Я немного знакома с этой учительницей — автором «Литературы». У ее учеников проблем с уроками словесности не много. Может быть, потому, что они благодаря тонкой «литературной политике» своего педагога чувствуют живую связь между старыми и новыми книгами и литература для них — не памятник культуры, но явление дружественное, противоречивое, влекущее к себе и *живое*. Я не поклонница Владимира Сорокина. Но в чтении его текстов не вижу никакого вреда. Напротив, усматриваю свой циничный утилитарный интерес, как, впрочем, вообще в чтении произведений, созданных постмодернистами (многие из которых кажутся мне отличными писателями). В их текстах столько замечательных вех, столько путеводных знаков, указующих молодому читателю на иные, весьма любопытные миры...

Если часы, отведенные в школе на «Войну и мир», сократятся до почти неприличного минимума, я все равно посоветую учителю хотя бы один-два часа из оставшихся посвятить разбору со школьниками, скажем, «Последнего рассказа о войне» Олега Ермакова. Пусть дети сравнят небо, увиденное Андреем Болконским, и небо своего современника. Мне кажется, после этого князь станет и ближе, и понятней.

В заключение хочу принести свои извинения за многословие в обсуждении этой, быть может, совсем не новомирской проблемы. Хотя — как посмотреть... Честно говоря, задела фраза: «Составитель „Периодики“ **уверен...**» Будучи из породы «неуверенных», полагаю все же, что и моя точка зрения (сугубо личная) имеет право на существование.

Мария СЕТЮКОВА-КУЗНЕЦОВА,
постоянная читательница «Нового мира»,
заместитель главного редактора еженедельника «Литература»
(приложения к газете «Первое сентября»).

Обычное возражение: Пушкина им читать неинтересно, а нашего «текущего» N. N. — наоборот. А мне любопытно, почему подобные аргументы, априори невозможные применительно к физике, химии, географии, алгебре, биологии и проч., можно применять к истории литературы? Можно ли любить физику? Можно. А можно ли обязать учителя-физика учить детей любить физику? А требовать от учеников любить физику?.. Конечно, родную/классическую литературу лучше любить, уж я-то с этим спорить не буду, но можно и не любить. Басни Крылова, «Горе от ума», «Капитанскую дочку», «Войну и мир» школьники любить не обязаны. А УЗНАТЬ — ОБЯЗАНЫ! Вопрос гипотетического школьника, мол, зачем ему читать именно этого непонятного (я не иронизирую — во многом уже непонятного) «Евгения Онегина», имеет смысла ровно столько же, сколько вопрос, обращенный к учителю-математику, мол, зачем мне учить про пифагоровы штаны. Некоторым/многим школьникам совершенно неинтересно, где находится на карте река Волга. И что? Учитель географии обязан им ее показать и обязан требовать от них, чтобы они это знали. Это и есть школа.

Некоторым/многим школьникам совершенно неинтересен гоголевский «Ревизор». И что? Учитель все равно вправе/обязан требовать от учеников, чтобы они знали «Ревизора». Потому что это произведение (и многие другие) уже вошло — объективно, независимо от чьего-либо желания или нежелания — в национальный канон, в национальную систему координат, включающую в себя и нашу общую историю, общую географию и проч. (А текущая литература в эту систему координат по определению не входит, она для этого должна как минимум перестать быть текущей.) И таких произведений-вех, произведений-скреп существует в нашей литературе больше, чем возможно узнать за время, отводимое сегодня на изучение литературы в средней школе. Поэтому включение в программу даже новой классики (Платонова, например) возможно только за счет классики старой. И тем более включение в программу (ведь не о факультативе спор) любого произведения текущей литературы возможно только за счет, ну, понятно... Сколько бы ни говорили, что нужно и то, и это, и что-то третье, увы...

Что же касается идеи читать со школьниками Владимира Сорокина (я правильно понял?), то я воспринимаю это только как жест отчаяния. По-моему, преждевременного.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.

Уважаемый Андрей Витальевич!

Прочитал в апрельском номере «Нового мира» Ваш отклик на мою статью в «Литературной газете» о романе Б. Акунина «Коронация». Хочу поблагодарить Вас за корректный тон и более или менее полное, насколько позволяет журнальный формат, и нетенденциозное цитирование моего текста. Я во многом согласен с Вами по существу, и если Вам показалось, что моя защита Николая Второго выглядела неуклюже и был неверно выбран противник, — что ж, со стороны виднее. Только и Ваш комментарий, как мне кажется, не во всем одинаково убедителен.

Дело ведь не в том, что в своем романе Акунин/Чхартишвили всего-навсего недостаточно почтительно, как Вы пишете, отнесся к наследнику престола. Почтения от него никто не требовал, да и с какой стати он должен Государя почитать? К Николаю Александровичу Романову созданный в «Коронации» образ отношения не имеет, а имеет место использование чужого имени и чужой репутации в литературных целях.

Акунин — писатель жестко схематичный, в чем нет ничего дурного: таковы детективы, и вопрос лишь в том, насколько эти схемы удачны. Акунинские, без сомнения, в высшей степени, и я бы присоединился к числу его поклонников, когда бы в эти конструкции не были встроены живые люди, которые прожили реальные жизни, но оказались превращенными по воле автора в муляжи. А вот насчет того, перво- или второстепенны их образы, можно и поспорить. Во всяком случае, в «Коронации» Николай Романов — далеко не вторичный и не проходной персонаж.

Слабовольный, беспомощный недоросль, озабоченный более тем, что скажет жена в случае исчезновения ее драгоценностей, нежели судьбой заложника-ребенка, человек, которому его бессердечность еще отзовется и он накличет на себя, свою семью и все царство беду — чего уж тут второстепенного? Да возьмите хотя бы ту речь, которую акунинский государь «произносит» в конце великосветского детектива и которая сделала бы честь самому что ни на есть расовому памфлету с поправкой на несомненную одаренность и стилистическую находчивость Г. Ш. Чхартишвили (прошу прощения за длинную цитату):

«— Бедный маленький Мика, — сказал он и скорбно сдвинул брови. — Светлый агнец, злодейски умерщвленный гнусными преступниками. Мы скорбим с тобой, дядя Джорджи. Но, ни на минуту не забывая о родственных чувствах, давайте помнить и о том, что мы не простые обыватели, а члены императорского дома и для нас авторитет монархии превышает все. Я сейчас произнесу слова, которые, возможно, покажутся вам чудовищными, но все же я обязан их сказать. (Почему обязан? Кто его обязал? — *Ал. Вар.*) Мика умер и ныне обретается на небесах.

Спаси его нам не удалось. Но зато спасена честь и репутация Романовых. Кошмарное происшествие не имело никакой огласки. А это главное. Уверен, дядя Джорджи, что эта мысль поможет тебе справиться с отцовским горем. Несмотря на все потрясения, коронация совершилась благополучно. Почти благополучно, — добавил государь и поморщился — очевидно, вспомнив о Ходынской неприятности, и эта оговорка несколько подпортила впечатление от маленькой речи, проникнутой истинным величием.

Еще более ослабил эффект Георгий Александрович, вполголоса сказавший:

— Посмотрим, Ники, как ты заговоришь об отцовских чувствах, когда у тебя появятся собственные дети...»

Вам угодно называть эту пифическую резвость пера «самое большое недостатком почтения» — воля Ваша. Только не слишком ли тут много для «приключенческого романа» философии, вернее, даже идеологии, этаким кармы вкупе со скрытой авторской усмешечкой — дескать, жизнь еще покажет тебе и обывателя, и авторитет монархии, и репутацию Романовых?

Но да бог с ней, с идеологией. Идеологий много, и все они друг друга стоят. Не любит Акунин Романовых — его дело. Хочет доказать, что рыба гниет с головы, а слуги оказались достойнее и умнее господ и вообще России не повезло с царем, — пусть. Идея эта не нова и имеет традицию.

Суть не в идее, а в средствах, коими она выражается. Какой бы непростой ни была судьба Николая Второго и других членов августейшей семьи, каких бы ошибок или дурных поступков ни совершил последний русский император, не находите ли Вы, что в созданной автором ситуации — взятый в заложники ребенок и торгующиеся с его похитителем из-за «куска углерода», раскрывающиеся во всем безобразии и цинизме Романовы, включая Государя, — есть нечто двусмысленное, переходящее границу такта? Дорожа тем, что неловко пытаюсь защитить я, неужели не согласитесь: сколь бы сложно ни соотносились жизнь и смерть страстотерпца ли, простого смертного, недопустимо навешивать на человека (и необязательно канонизированного Церковью, а просто имевшего судьбу) тяжкий грех, в коем он невиновен, и уж тем более связывать этот вымышленный грех с подлинной трагедией? Даже если это игра, стилизация и условность. А если невтерпех или диктует схема — не лучше ль выбрать иное поле и другое действующее лицо?

Я не склонен подозревать Акунина/Чхартишвили в том, что в своем творении он задался целью оскорбить людей, которым дорог Государь (равно как и далек от того, чтобы считать всех либеральных интеллигентов гадкими, как Вы насмешливо полагаете), — оскорбить можно и походя, ёрничая, ради красного словца. Акунин нашел драгоценную жилу и весьма эффектно и эффективно ее разрабатывает, используя или — если говорить грубее и точнее — употребляя русскую историю.

Меня не он раздражает. Мне грустно оттого, что нашему обществу пришлось по душе именно такое отношение к своему прошлому.

С искренним уважением

Алексей ВАРЛАМОВ.

ПОПРАВКА

В майском номере «Нового мира» за этот год (стр. 233, 22 строка сверху) следует читать: «Глеб Шульпяков. Съел? — «Ex libris НГ», 2001, № 4, 1 февраля». Составитель «Периодики» приносит свои извинения Глебу Шульпякову за неправильное указание автора статьи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Гийом Аполлинер. Мост Мирабо. Перевод с французского М. Яснова. СПб., «Азбука», 2000, 320 стр., 8000 экз.

Двуязычное издание. Составитель, он же переводчик, — петербургский поэт Михаил Яснов: «Любому переводчику свойственно переводить прежде всего то, что роднит его с иноязычным поэтом».

Хорхе Луис Борхес. Адольфо Биои Касарес. Книга Небес и Ада. Перевод с испанского Анастасии Миролюбовой. Предисловие, комментарии и справки об авторах Владимира Петрова. СПб., «Симпозиум», 2001, 256 стр., 6000 экз.

Антология текстов о посмертном бытии человека, об Аде и Рае — извлечения из Библии, Корана, Блаженного Августина, Конфуция, Платона, Заратустры, Вольтера, Мильтона, Достоевского, Юнга, Кафки, Хаксли и т. д.

Хорхе Луис Борхес. Адольфо Биои Касарес. Модель убийства. Составитель М. Былинкина. СПб., «Азбука», 2000, 256 стр., 10 000 экз.

Сочинения Бенито Суарес Линча («Модель убийства» в переводе А. Казачкова) и Онорио Бустоса Домека («По ту сторону добра и зла» и «Хроники Бустоса Домека» в переводе Е. Лысенко).

Читательский (и издательский) бум вокруг творчества Борхеса на рубеже 80 — 90 годов вызвал в конце 90-х интерес к фигуре и творчеству одного из самых близких Борхесу в аргентинской литературе писателей — его друга Касареса. Логическим продолжением стала третья «борхесовская» волна — массивное издание текстов еще двух аргентинцев — Бенито Суареса Линча и Онорио Бустоса Домека, порожденных совместной фантазией Борхеса и Касареса. Это отчасти детективное, развлекательное чтение, но больше — литературная игра с элементами самопародии, а также пародирование наиболее популярных стилистик современной аргентинской литературы. «Я не хотел писать вместе с Бьоме, мне казалось, что соавторство невозможно, но однажды утром он предложил мне попробовать... Мы начали писать, и случилось чудо. Начали мы писать в стиле, не похожем ни на мой, ни на его» (Борхес).

Хорхе Луис Борхес. Адольфо Биои Касарес. Образцовое убийство. Составление и предисловие Владимира Петрова. Комментарии В. Андреева. СПб., «Симпозиум», 576 стр., 8000 экз.

В книгу вошли: «Шесть загадок для донна Исидоро Пароди», «Образцовое убийство», «Две памятные фантазии», «Праздник чудовища»; киносценарии «Пролог», «Обитатели предместий», «Рай Господень». В «Приложении» — интервью и беседы с Борхесом и Касаресом, а также статья Эмира Родригеса Монегалья «Два аргентинских писателя».

Хорхе Луис Борхес. Адольфо Биои Касарес. Шесть загадок для донна Исидоро Пароди. Избранное. Перевод с испанского Натальи Богомоловой. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-ПРЕСС», 2001, 352 стр., 10 000 экз.

Цикл пародийных детективных рассказов О. Бустоса Домека «Шесть загадок для донна Исидоро Пароди» и киносценарии «Окраина», «Рай для правоверных».

Анита Брукнер. Отель «У озера». Роман. Перевод с английского В. Скороденко. М., «Текст», 2001, 253 стр., 5000 экз.

Современный английский роман, из тех, что получают на родине Букеровскую премию (1986), написан в традициях английской прозы первой половины века — сюжетный, психологический, в какой-то степени лиричный, в какой-то — ироничный; при этом находится где-то на стыке собственно литературы и увлекательного, отчасти дамского чтения.

Зиновий Вальшонок. Личное пространство. Стихи и проза. В 2-х томах. Предисловие Б. Чичибабина. Харьков, «Факт», 2000, 5000 экз. Том 1. Стихотворения. 376 стр. Том 2. Пародии, поэмы, мемуары. 326 стр.

Почти мемориальное издание стихов, прозы и пародий, сопровождаемое подборкой фотографий членов семьи поэта, друзей, коллег, а также мест, связанных с жизнью

поэта. Последние годы часто выступал как пародист, работающий (вслед за Александром Ивановым) в жанре стихотворного фельетона. В разделе «Воспоминания» — очерки об Айтматове, Искандере, Жванецком, Кабакове, Распутине.

Эли Визель. Следующее поколение. Перевод с английского А. Яковлева. Предисловие священника Георгия Чистякова. М., «Текст», Журнал «Дружба народов», 2001, 191 стр., 3600 экз.

Книга лауреата Нобелевской премии (1986), еврея, прошедшего «школу» концлагерей, составленная из рассказов и эссе, посвящена Холокосту, истории государства Израиль, положению еврея в XX веке.

Георгий Вирен. Чур и другие странные истории. М., Издательство Руслана Элинина, 2000, 448 стр.

Новая книга московского прозаика.

Кнут Гамсун. Скитальцы. Роман. Перевод с норвежского Л. Горлиной. М., «Текст», 2001, 397 стр., 5000 экз.

«Первая книга трилогии об Августе, мечтателе и авантюристе» — норвежская деревня и ее обитатели начала века. Первая публикация романа состоялась в 1927 году (далее следуют романы «Август» и «А жизнь идет»).

Борис Евсеев. Баран. Рассказы и повесть. М., Издательский дом «Хроникер», 2001, 240 стр., 3000 экз.

Первая книга прозы московского писателя, автора нескольких поэтических сборников, а также опубликованных в журналах рассказов и повестей (в частности рассказ «Баран» печатался в «Новом мире», 1998, № 3).

Александр Коковихин. Танцю аистом. Стихи. Республика Марий Эл, «Колибри», СПб., «Четверг», 2000, 79 стр., 300 экз.

Книга стихов — компактная и вместительная — представляет малоизвестного пока поэта из Йошкар-Олы. Стихи конца 90-х годов. «Мне показывали грань меж добром и злом. / Попетляешь вправо-влево и упрешься лбом. / И куда ни глянь, / всюду эта грань... / Даже в мусорном ведре расцвела герань».

Владимир Леонович. Хозяин и гость. Книга стихов. Издание второе, дополненное. М., «Научный мир», 2000, 668 стр., 1000 экз.

Переиздание книги стихов, отрецензированной в «Новом мире» О. Славниковой (1998, № 6), с добавлением пятого раздела, принципиально важного для автора: «Один — и многие. Один — на кресте. Забудь, мой милый, кличку „индивидуалист“. Пойми, все крупно и просто: **НРАВСТВЕННАЯ НАГРУЗКА НА ОДНОГО** может или должна быть в сотни раз больше той, которую мыслят как норму. А пятый раздел книги посвящен **ОДНОЙ** — заменившей всех» (от автора).

Николай Недоброво. Милый голос. Избранные произведения. Составление, примечания и послесловие Михаила Карлина. Томск, «Водолей», 2001, 352 стр., 1000 экз.

Избранное поэта и критика серебряного века Николая Владимировича Недоброво (1882 — 1919) — стихи, трагедия в стихах «Юдифь», статьи «Времеборец (Фет)» и «Анна Ахматова». В качестве вступительных книгу открывают статьи Юлии Сазоновой-Слонимской «Николай Владимирович Недоброво. Опыт портрета» (1923) и «Н. В. Недоброво» (1954), в послесловии — работа Михаила Карлина «„Милый голос“ „незабвенного друга“ (Николай Недоброво и Анна Ахматова)».

Милорад Павич. Звездная мантия. Астрологический справочник для непосвященных. Перевод с сербского Ларисы Савельевой. СПб., «Азбука», 2001, 192 стр., 10 000 экз.

Новый роман мастера «нелинейной прозы», написанный им, если ориентироваться на датировку авторского копирайта, в 2000 году.

Геннадий Прашкевич. Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение. Роман. М., «Текст», 2001, 333 стр., 3500 экз.

Современный отечественный исторический роман про русских путешественников и первопроходцев начала XVIII века, именно роман, а не «литературный проект» — добротный, сюжетный, стильный, с хорошо проработанной исторической основой, — новая работа новосибирского прозаика, а также поэта и переводчика.

Жак Превр. Зрелища. Пьесы и стихотворения. Перевод с французского Л. Базян. М., «Текст», 2000, 205 стр., 5000 экз.

Фрагменты сборника пьес и стихотворений в прозе «Зрелища» (1949). Ироничные, легкие и предельно серьезные, пародирующие литературные, разговорные и историко-

философские штампы, «эстетские» и при этом отнюдь не закрытые от «простого читателя» тексты, жанр которых очень трудно определить: пьеса, «балет», «стихи в прозе», «документальный фильм», антология афоризмов и т. д., — способные существовать самостоятельно и складывающиеся в книгу как в единый текст.

Белла Шагал. Горящие огни. Перевод с французского Н. Малевич. Послесловие Н. В. Алчинской. М., «Текст», 2001, 351 стр., 5000 экз.

Впервые на русском языке автобиографическая проза Беллы (Берты) Самойловны Розенфельд (1892? — 1944) — литератора, жены и музы Марка Шагала. Книга содержит циклы «Горящие огни», «Мои тетради», изображающие мир еврейского детства в дореволюционном Витебске. Цикл из четырех рассказов «Первая встреча» — о знакомстве с Шагалом. Сам художник вспоминал потом, что именно в момент их первой встречи он понял — «это моя жена... Это мои глаза, моя душа». Иллюстрации для книги (68 рисунков тушью) сделаны Шагалом. Издание также воспроизводит «Послесловие» Марка Шагала, написанное в 1947 году.

Enter/Книга донецкой прозы. Донецк, при содействии издательства «Янтра», 2001, 324 стр.

Стильно и со вкусом изданный сборник прозы современных донецких прозаиков, написанной на украинском и русском языках, — «попытка осистемить внесистемное»; отвязная, как сказали бы сейчас молодые критики, литература, не слишком обременяющая себя правилами хорошего тона, озабоченная прежде всего точностью и выразительностью в передаче духа своего времени; живая, энергичная, озорная, а часто и просто талантливая проза Елены Свенцицкой, Владимира Рафеенко, Елены Стяжкиной, Владимира Скобцова, Константина Богдана, Вячеслава Верховского, Олега Завязкина и других. «Старенька Гертруда Стайн посмихается» (из текста Олега Соловей) — можно предположить, что «посмихается» одобрительно.



Василий Катанян. Параджанов. Цена вечного праздника. Составитель Я. Гройсман. Нижний Новгород, «Деком», 2001, 248 стр., 4000 экз.

Книга о великом кинорежиссере, составленная из дневниковых записей Катаняна — коллеги и друга Параджанова, а также писем Лили Брик, Ю. Никулина, А. Тарковского, В. Шкловского.

Иоанн Мейендорф. Византийское богословие. Исторические направления и вероучение. Перевод с английского А. Кавтаскина. М., «Когелет», 2001, 432 стр., 3000 экз.

Исследование известного богослова, философа, русского по происхождению. «Он рассматривает такие понятия, как философия жизни, литургия, церковное искусство Византии, а также пытается определить, насколько все это сохранилось в современном православии» («Книжное обозрение»).

Светлана Семенова. Глаголы жизни вечной. Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия. М., «Академический проект», 2000, 479 стр.

Книга известного филолога и мыслителя С. Г. Семеновой представляет собой очень своеобразный «проект», сочетающий смиренное следование новозаветному тексту с излагаемыми в нем событиями и самостоятельную, подчас дерзкую философскую и богословскую экзегезу этого текста и событий (с привлечением данных церковного Предания, иконописного «умозрения в красках», апокрифов и легенд). Книга образцово издана и иллюстрирована тематически подобранными репродукциями шедевров русской иконописи.

Марина Цветаева. Георгий Адамович. Хроника противостояния. Составление, предисловие и примечания О. А. Коростелева. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2000, 188 стр.

Заочный диалог, выстроенный в хронологическом порядке из печатных откликов и отрывков из писем Цветаевой и Адамовича, сюжет которых — эстетическое и отчасти идеологическое противостояние-спор двух замечательных русских литераторов первой половины XX века.

Александра Шатских. Витебск. Жизнь искусства. 1917 — 1922. М., «Языки русской культуры», 2001, 256 стр., 2000 экз.

Книга о художественной жизни послереволюционного Витебска, в центре которой был, разумеется, Марк Шагал, а также — Иван Пуни, Мстислав Добужинский, Казимир Малевич, Эль Лисицкий.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Арион», «Вести.Ру», «Вопросы литературы», «Время МН», «Время новостей», «Вышгород», «22», «День литературы», «Дипкуррьер НГ», «Дорога вместе», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Искусство кино», «Круг жизни», «Кулиса НГ», «Курицын-weekly», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Логос», «Московские новости», «Наш современник», «НГ-Наука», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая Юность», «Новое литературное обозрение», «Общая газета», «Октябрь», «Русская мысль», «Русский еврей», «Русский Журнал», «Сегодня», «Субботник НГ», «Труд-7», «Урал», «Фигуры и лица», «Хранить вечно»

Василий Аксенов. Горе, Гора, Гореть. Драма в двух актах из романа «Кесарево сечение». — «Искусство кино», 2001, № 2 <<http://www.kinoart.ru>>

В новом, еще не опубликованном романе Аксенова есть «малый роман», три пьесы, два рассказа, «текст» и цикл стихов — и все это придется читать.

Николай Анастасьев. Письма из Оксфорда, штат Миссисипи. — «Дружба народов», 2001, № 4 <<http://novosti.online.ru/magazine/druzhiba>>

По фолкнеровским местам.

Юрий Арпишкин. <Книги недели>. — «Время МН», 2001, № 63, 13 апреля <<http://www.vremyamn.ru>>

«Уникальность же [застрелившегося в 1926 году Андрея] Соболя в том, что именно он (и это не фиктивный приоритет) создал те лекала, по которым в среднестатистической советской литературе потом описывались разного рода гражданские потрясения».

Аким Арутюнов. Владимир Ленин: «В деньгах я сейчас не нуждаюсь...». — «Субботник НГ», 2001, № 15, 21 апреля <<http://saturday.ng.ru>>

«Откуда?!» — «Оттуда...»

Наум Басовский. Заметки о странном жанре. — «22». Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 118 (2000) <<http://sunisland.rus.co.il/club/index.html>>

Странный жанр — это поэма. В опубликованном тут же ответе Науму Басовскому Александр Ревич замечает, что поэма стала такой в наше время, в XIX веке этот жанр не казался странным. См. также статью Леонида Костюкова «Длинное дыхание. О большой поэтической форме» («Арион», 2001, № 1).

Ален Безансон. Возможно ли включить Россию в мировое устройство? Перевод с французского Ярослава Горбаневского. — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4358, 4359, 4361, 4362, 4363 <<http://www.rusmysl.ru>>

«Разумеется, она (Россия. — А. В.) не была оккупирована, [как Япония и Германия], но, может быть, в этом и заключался ее упущенный шанс...» И когда же именно моя страна упустила этот счастливый шанс?

Татьяна Бек. Наисобый опыт огромной силы. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2001, № 15, 16 — 22 апреля <<http://www.1september.ru>>

Юрий Коваль.

Наталья Белевцева. Наука как религия, или Религия как философия. — «НГ-Наука», 2001, № 4, 18 апреля <<http://science.ng.ru>>

Заочный спор: в подмосковном Музее-усадьбе «Мураново» хранится книга либерала Бориса Чичерина «Наука и религия», испещренная пометами славянофила Ивана Аксакова. Автор статьи, Н. П. Белевцева, двадцать лет занимала должность хранительницы мемориальной библиотеки Мурановского музея.

Владимир Березин. Беллетристика. — «Октябрь», 2001, № 4 <<http://novosti.online.ru/magazine/October>>

«В романе [Бориса] Поплавского „Аполлон Безобразов“ есть сцена кутежа в ресторане, где описаны разговоры шоферов, которых, по всей видимости, Поплавский презирал. А [Гайто] Газданов в „Ночных дорогах“ бесстрастно описывает, как шоферы развозят по домам пьяных русских, этаких нетрезвых поплавских».

Дмитрий Бобышев. Я здесь. Главы из книги [«Человекотекст»]. — «Октябрь», 2001, № 4.

Евгений Рейн. Анатолий Найман. Владимир Уфлянд.

Владимир Бондаренко. Добровольное гетто Юнны Мориц. — «День литературы», 2001, № 4, апрель <<http://www.zavtra.ru>>

«[В своих поэтических сборниках „Лицо“ и „Таким образом“ Юнна Мориц] издается над Хавьером Соланой и Клинтонном, над банкирами и политиками, не стесняясь и не останавливаясь ни перед чем в своих выражениях... Они наполнены лексикой анпиловских бунтарей, они созвучны самым ожесточенным страницам газеты „Завтра“. Они беспощадны по отношению к палачам и богачам. Они едки и язвительны по отношению к западной цивилизации во главе с США. Это откровенная поэзия протеста».

Владимир Бондаренко. Пламенные реакционеры. — «День литературы», 2001, № 4, апрель.

«То, чего добился Франко в Испании, так и не произошло в России в XX веке».

Геннадий Бордюгов. Сталинская интеллигенция. О некоторых смыслах и формах ее социального поведения. — «Кулиса НГ», 2001, № 6, 6 апреля <<http://curtain.ng.ru>>

«При знакомстве с подобной стратегией [интеллигентского] поведения возникает впечатление, что уже не [сталинская] власть заботится об облике интеллигента и его лояльности, а, наоборот, активистская часть интеллигенции ревностно следит за верностью самой власти как идеологии, так и принципам „игры по правилам“...»

Сергей Боровиков. В русском жанре — 19. — «Вопросы литературы», 2001, № 2, март — апрель <<http://novosti.online.ru/magazine/voplit>>

Алексей Толстой. Пильняк. Нагибин.

Александр Бренер, Барбара Шурц. Маленькое письмо о большой «левой идее». — «Логос», 2001, № 1 <<http://www.ruthenia.ru/logos>>

В защиту *левого дискурса*. Полемика с Александром Ивановым (который — «*Ad marginem*») — см. беседу с ним («Логос», 2000, № 3, 4) под названием «Философия, консюмеризм и левая идея». Авторы открытого письма — художники, в настоящее время живущие в Вене. Бренер — тот самый Бренер.

Николай Буба. Потусторонние. Повесть. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 3 <<http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural>>

«Наркоман наркомана видит из-за океана...»

Равиль Бухараев. Последний император. Осман Тюркай: Абсолютный сюжет судьбы поэта. — «Ex libris НГ», 2001, № 14, 19 апреля <<http://exlibris.ng.ru>>

«Я был свидетелем последних десяти лет жизни этого поэта, жившего в Лондоне и писавшего свои стихи на английском и турецком языках. Весть о его кончине [на Кипре] застала меня в заснеженной Казани, куда так хотел, но так и не успел попасть Осман Тюркай...»

Лариса Ванеева. Три рассказа. — «Урал», Екатеринбург, 2001, № 3.

«Прихожанка Филофеева внимательно слушала, повинно опустив голову. Я боюсь слишком долго на него смотреть, когда он проповедует, потому что кажется, что прихожане могут заметить, что я как-то не так на него смотрю...» («Уловка концепции»).

Марио Варгас Льюса. Культура свободы. Сокращенный перевод Григория Вайнштейна. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/west>>

«Понятие „культурная идентичность“ опасно. С социальной точки зрения оно представляет собой лишь сомнительную, искусственную концепцию. Но в политиче-

ском плане оно угрожает наиболее драгоценному достижению человечества: свободе». Эссе на основе лекции, прочитанной в сентябре 2000 года в Вашингтоне в Межамериканском Банке Развития, впервые опубликовано в «*Foreign Policy*» (2001, январь — февраль).

Алексей Варламов. Пришвин и Бунин. Литературный этюд. — «Вопросы литературы», 2001, № 2, март — апрель.

Оба, без сомнения, хороши.

Дмитрий Воденников. <Стихотворение>. — «Новая Юность», № 46 (2001, № 1) <http://novosti.online.ru/magazine/nov_yun>

«...А я еще империю любил / (она б любить меня не стала), / но вот когда она пропала, — / не по моей вине пропала, — / я никого не полюбил...» (из книги Дмитрия Воденникова «Как надо жить — чтоб быть любимым», М., ОГИ, 2001 <<http://www.vavilon.ru/textonly/issue7/vodenn.htm>>). См. также подборку его стихотворений из этой книги в журнале «Знамя» (2001, № 4).

«**Вперед — еще много порубленных саблями...**». Закат Империи: взгляд «справа». Предисловие, публикация и комментарии Сергея Сергеева. — «Хранить вечно». Специальное приложение к «Независимой газете». 2001, № 1 (11), 29 апреля <<http://ng.ru/ever>>

«Конечно, православие внутренне ликвидировано и теперь держится единственно отсутствием „законного наследника“. Этим наследником не будет, конечно, ни неоиудаизм Розанова, ни „религия Духа“ парижских [нрзб.], ни хилиазм Тернавцева, а нечто другое» (из письма **Петра Перцова** к В. Розанову от 19 февраля 1908 года). «Этот [Герцль]... умный и интересный человек. Идеалист, даже крайний. Он просит моей помощи для проведения в среде наших сановников стремлений сионизма. Почему бы нам не согласиться на то, чтобы из России выехала значительная часть [Герцль] толкует о миллионе евреев) наших евреев, признаваемых нами столь вредными, переселилась в Палестину, под сень Сиона» (запись в дневнике **Александра Киреева** от 26 июля 1903 года). «События нас ведут к дилемме: Россия или династия. Россия — значит: православная, самодержавная, русская Россия, единая внутри, единая вовне. Царствование потеряло (по крайней мере в смысле вменяемости) и православие, и самодержавие, и народность, и внешнее, и внутреннее единство. Перемена царствования грозит преупеянием на горшее. Такие члены династии, как Алексей Александрович и Владимир Александрович, его сыновья, — способны убить династическое чувство, даже не занимая никаких должностей и не губя отечество. Словом, на династию нет надежды. „Московские ведомости“ требуют диктатуры. Пожалуй, — но кто будет диктатором? Где этот человек? Кто его выдвинет и как ему выдвинуться? Из лужи-то? Тогда это будет вулкан вроде 1612 года... Дай то Боже; но мне ли это говорить и писать? Мне ли возлагать последние надежды на стихийную революцию?» (из письма **Бориса Никольского** к В. Л. Полякову от 22 мая 1905 года). Тексты печатаются по автографам, хранящимся в РГБ, РГАЛИ и ГАРФ.

Гэри Вулф (Gary Wolf). Мудрость Св. Маршалла, Священного Глупца. Перевел С. Карамаев. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/netcult>>

Знаменитый теоретик *медиа* Маршалл Маклюэн (*Marshall McLuhan*, 1911 — 1980) был ярким книголюбом, он читал без усталы. В кино часто засыпал. Консерватор и католик, он не хотел жить в Глобальной Деревне. Когда Маклюэн произнес свою известную фразу: «Средство есть сообщение» (*The medium is the message*), он пытался поднять тревогу.

Яков Гордин. Занятия историей как оппозиционный акт. — «Знамя», 2001, № 4 <<http://novosti.online.ru/magazine/znamia>>

О Натане Эйдельмане. В традиционной знаменской рубрике «Конференц-зал», посвященной на этот раз *итогам советской культуры*.

Фаина Гримберг. Столько-то вечеров у телевизора, или В поисках театра папы Карло. Кинематограф и проблематика гуманизма. — «Знамя», 2001, № 4.

«В сущности, оператор [Сергей Урусевский] — главное действующее лицо этого фильма; оператор побеждает людоедские концепции [Виктора] Розова и делает фильм [„Летят журавли“] истинно гуманным».

Василий Гроссман. Украина без евреев. — «Русский еврей». Общественно-литературный журнал. Приложение к «Международной еврейской газете». Издается с 1879 года, восстановлен в 1996 году. Выходит 4 раза в год. Главный редактор Яков Кумок. 2000, № 4 (16).

Малоизвестный очерк, написанный в 1944 году и впервые напечатанный в Риге в 1989 году.

Александр Грудинкин. Ущербен ли образованный человек? — «Знание — сила», 2001, № 4 <<http://www.znanie-sila.ru>>

Синдром Аспергера (не лечится): очень образованные, замкнутые мужчины любят учиться и не любят общаться. Борхес. Пруст. Витгенштейн. Джойс.

Долой скромность! Беседовала Татьяна Вольтская. — «Литературная газета», 2001, № 14, 4 — 10 апреля <<http://www.lgz.ru>>

Александр Мелихов — об эпидемии инфантильности: «Индивид, [осознавший, что он единственная ценность в мире], стал плохим отцом, плохим солдатом, плохим директором завода и плохим писателем».

Священник Дмитрий Дудко. Поэма о моем следователе. — «Наш современник», 2001, № 4 <<http://read.at/nashsovr>>

«Евреи меня подбили, я все-таки написал заявление, что отказываюсь от предыдущего заявления в печати...»

Евгений Ермолин. Люди бездны. — «Дружба народов», 2001, № 4.

Взгляд Анатолия Азольского на мир — не этический/эстетический, а антропологический.

Кирилл Ефремов. Время сновидений. — «Знание — сила», 2001, № 2.

«Благодаря мифу антропосфера произрастает, как немислимый сад, полный символов и знаков. Каждая личность — это целая книга, составленная из них. Возможно, хронология полна ошибок, возможно, рубеж тысячелетий — математически неточная, виртуальная, несуществующая, наконец, величина, но ведь и мы сами в некотором роде виртуальны! Поэтому символ «2001», не существуя, оказывает заметное влияние на нашу жизнь. Если миллиарды людей Земли сказали себе: „Началось новое время” — видимо, так и произойдет».

Кирилл Ефремов. Симфония кризиса. — «Знание — сила», 2001, № 3.

Устойчивое развитие (*sustainable development*, которое, по мнению автора, правильное было бы переводить как «длительная эволюция», поскольку *development theory* называют эволюционную теорию) — это полезный миф, иррациональная вера, подавляющая сиюминутные прихоти ради заботы о потомках в рамках нового культа Будущего, а с точки зрения чистой биологии — это хитрая форма адаптации *Homo sapiens*.

Павел Зимин. Вызов глобализации. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/econom>>

«В современном мире созидательное освоение посредством прямых инвестиций в реальный сектор все больше уступает место этому *деструктивному освоению пространства*, при котором прогресс более развитого, „осваивающего” общества идет за счет деградации „осваиваемого”...»

Александр Зиновьев. «Великая миссия России». Беседу вел Владимир Бондаренко. — «Завтра», 2001, № 17, 24 апреля <<http://www.zavtra.ru>>

«История русского советского коммунизма составляет основу всему, что произошло в XX столетии».

«Самой характерной особенностью нашего времени со второй половины XX века является переход от стихийного эволюционного процесса к управляемому. Мы живем в эпоху планируемой истории», — говорит А. Зиновьев в интервью «Русскому Журналу» <<http://www.russ.ru/politics/interview>>.

Виктор Каган. Об одной концепции Ф. М. Достоевского. — «22». Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 119 (2001).

«И представьте... что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо...» Постановка проблемы в известной речи Достоевского о Пушкине, отмечает автор статьи, основана на мысленном эксперименте, имеющем смысл *только для язычника*, для которого человеческие жертвоприношения не только религиозно допустимы/необходимы, но и практически целесообразны/эффективны. Современный человек слишком знает, что замучить-то легко, а осчастливить людей этим невозможно.

См. также в журнале «Знамя» (2000, № 6) полемический ответ Карена Степаняна на статью С. Ломинадзе «Слезинка ребенка в канун XXI века» («Вопросы литературы», 2000, № 1).

Как историки объясняют историю? И можно ли объяснить историю историей? [Заседание московского Независимого теоретического семинара «Социокультурная

методология анализа российского общества».] Для публикации материал подготовили Михаил Виноградов и Галина Бельская. — «Знание — сила», 2001, № 3.

Говорит **Игорь Яковенко**: «Я убежден, что Сибирь Россия потеряет — и даже не через пятьдесят лет, а раньше, и, думаю, в этом будет огромная удача для России. <...> Россия должна быть поставлена историческим императивом в ситуацию: ты либо меняешься, либо умираешь. И исторически неизбежная утрата Сибири видится мне высочайшим благом для страны с такими просторами. Голландия не имеет ни Сибири, ни газа, но это зажиточная, развитая, очень симпатичная страна. Русские должны быть поставлены в ситуацию: либо они поголовно вымирают, либо они меняются, переходят в стадию интенсивного развития. Соглашаясь с тем, что Россия кончилась в том качестве, в каком мы ее знаем, я не вижу в этом трагедии. Как раз изменение границ делает ее более европейской страной. После ухода Сибири Россия утратила бы границу с Китаем, а даже только это в свою очередь изменило бы очень многие характеристики...»

Говорит **Игорь Кондаков**: «Мне не вполне понятно, что плохого в том, что Россия в нынешнем виде погибнет? Ее распад, расчленение, демографическое убывание, утрата имперского статуса — это варианты качественного изменения. <...> И если через двадцать лет Москва будет представлять собой в демографическом отношении город, населенный кавказцами, ничего удивительного и ужасного я не вижу в таком наполнении инкультурными или иноцивилизационными компонентами России, ничего трагического. <...> Россия вступила в ту фазу конвергенции, когда вдруг приходится соединять эмигрантское, советское, диссидентское наследие и официально-коммунистическую линию, западное наследие и наследие кавказцев или каких-то других азиатских народов. Возникает некая хаотическая мозаика, которая первоначально человеку, оказавшемуся в состоянии этого хаоса, представляется катастрофой. Но в истории так не бывает. Всякого рода мозаичность — это не катастрофа, а форма постепенного слияния и возникновения какой-то новой конфигурации, нами еще не мыслимой».

И прочие интересные размышления умных людей, видимо, не отождествляющих себя психологически с *этим/нашим* народом.

Елена Калашникова. Наталья Трауберг: «У нас невысказано много людей без ремесла». — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

Говорит известная переводчица Наталья Леонидовна Трауберг: «Есть что-то непристойное в разговорах о теперешней плохой жизни, да еще когда в пример приводят несчастную старушку, которая гибнет где-нибудь на чердаке или в деревне вместе с сыном-пьяницей. Она так же погибала и тридцать лет назад, все это видели. Об этом писал Астафьев, а все удивлялись: „Что он такое странное пишет?!“ Если бы лет двадцать назад мне сказали, что мы будем жить так, как сейчас, я не то что руки-ноги, я бы все вплоть до бессмертия души отдала, только бы это исполнилось».

Владимир Кантор. Достоевский и культурная память. — «Вопросы литературы», 2001, № 2, март — апрель.

«Я бы сказал наперекор общепринятому мнению, что в образе старца Зосимы изображен русский православный экуменист, а в образе [Ивана Карамазова] — крайний и благородный славянофил...» — пишет В. Кантор в рецензии на книгу Дианы Томпсон «„Братья Карамазовы“ и поэтика памяти».

Татьяна Касаткина. «Идиот» и «чудак»: синонимия или антонимия? — «Вопросы литературы», 2001, № 2, март — апрель.

«Итак, [у Достоевского] „идиот“ именно антоним слову „чудак“...»

Руслан Киреев. Обет Кюхельбекера. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2001, № 14, 8 — 15 апреля.

Сирано де Бержерак и Кюхельбекер похожи не только физиономически, оба стали знамениты не благодаря собственным произведениям, а после публикаций произведений о них — Ростана и Тынянова.

Кирилл Кобрин. Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо четвертое. — «Октябрь», 2001, № 4.

Ярослав Могутин. Юрий Колкер. Геннадий Барабтарло. Елена Сунцова. Первые три письма см. в журнале «Октябрь», 2000, № 5, 8, 11.

Ирина Колонтаевская. Кавказский пленник. Документальная повесть. — «Дружба народов», 2001, № 4.

«Первым звуком войны, который услышал я, была тишина...» Литературная запись рассказа анонимного «кавказского пленника». См. также главы из книги Вячеслава Миронова «Я был на этой войне» («Звезда», 2001, № 3).

Николай Коняев. Валаамские рассказы. — «Наш современник», 2001, № 4. Монастырь, чудеса.

Эли Корман. Зачем горят рукописи. — «22». Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 117 (2000).

«Какой, собственно, роман [о Пилате] написал Мастер? Как он называется? Сколько в нем глав, каковы их названия, порядок следования и, наконец, где тексты глав?..»

Борис Крячко. Концерт для скрипки. Повесть. — «Вышгород», Таллинн, 2001, № 1 — 2.

В этом же номере «Вышгорода» перепечатана из «Нового мира» (2000, № 11) рецензия **Евгения Ермолина** на «Избранную прозу» Бориса Юлиановича Крячко (1930, Курская обл. — 1989, Эстония, Пярну).

Мария Кудимова. «Язык поэзии как вид энергии». Беседу вела Татьяна Бек. — «Вопросы литературы», 2001, № 2, март — апрель.

«А стилистически они (Сталин и Платонов) поразительно, до остолбенения похожи, потому что — из одного [библейского] источника...»

Дмитрий Кудря. Хайку *Plus*, или Несколько слов о «русских хайку». — «Арион». Журнал поэзии. 2001, № 1 <<http://novosti.online.ru/magazine/arion>>

Хайкуисты истинные и мнимые.

Феликс Кузнецов. Осторожно: профанация! — «Литературная Россия», 2001, № 16, 20 апреля <<http://www.litrossia.ru>>

Страстное разоблачение версии/выдумки Константина Смирнова («Литературная Россия», 2001, № 13, 30 марта) о том, что более образованный и старший по возрасту человек занял место погибшего в продотряде Миши Шолохова. Однако уже в следующем номере «Литературной России» (2001, № 17, 27 апреля) напечатана статья о хорунжем Александре Дмитриевиче Попове, «известном всему миру под именем Михаила Шолохова»; статья эта *не подписана*, выражает ли она редакционную точку зрения, неизвестно.

Илья Кукулин. Мейнстрим почвенный до умеренного. — «Ex libris НГ», 2001, № 14, 19 апреля.

Серия «Наша марка» петербургского издательства «Амфора» — это критика «Вагриуса» «слева», со стороны более радикальных поэтов, а серия «Мир современной прозы» московского Издательского дома «Хроникер» — это критика «справа», разнообразный по методам письма, но консервативный и нравственно-критический по общему настроению литературный контекст.

См. также статью **Ольги Славниковой** «Экспансия. Опыт обозрения актуальной книжной серии» («Новый мир», 2001, № 6).

Диакон Андрей Кураев. Право обращаться к Богу на «Ты». Мы признаем Творца существующим повсюду. — «Труд-7», 2001, № 63, 5 — 11 апреля <<http://www.trud.ru>>

«Это действительно чудо. Но порождено оно *глобальным чудом христианской веры*: к Владыке всех миров самая простая крестьянка может обращаться с ходатайством о том, чтобы Он (Абсолют! Тот, при мысли о Котором немеют [языческие] философы!) — помог ей собрать ее картошку...»

Ефим Курганов. Розанов, Соловьев, Бердяев и еврейский вопрос. — «Русский еврей». Общественно-литературный журнал. 2000, № 1 (14).

Владимир Соловьев «мечтал об исчезновении народа Израиля», «так что философу было в чем каяться» перед смертью. Николай Бердяев «поругал расовый антисемитизм, но зато открыто поставил девизом на своем знамени антисемитизм религиозный» и «сформулировал давно зрешую в недрах русской мысли программу *мирного фашизма*». Отец Павел Флоренский, как явствует из другой статьи Ефима Курганова, «Павел Флоренский и евреи» («Русский еврей», 1999, № 2), «при всем своем энциклопедизме, оказывается прямым предтечей фашизма». Зато Василий Розанов хотя и «не выступал против погромов <...> но зато попытался нейтрализовать, внутренне подорвать — и концептуально это было важнее осуждения отдельных погромов — тот духовный погром народа Израиля, который...» (см. выше).

Владимир Курносенко. Свете тихий. [Повесть]. — «Дружба народов», 2001, № 4.

«В купе их четверо — священник-монах Варсонофий и его подпорщицы певчие: регент Вера, первое сопрано Серафима и, самая молодая, двадцатитрехлетняя Ляля, месяца полтора-два как приглашенная Верою в их маленький церковный хор...»

Андрей Левкин. Кухонная герменевтика 8. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«В случае О[куджавы] интереснее всего его востребованность слоесм, средой, называемой „интеллигенцией“: соответственно ее пристрастие к О[куджаве] определяет некоторые параметры самой среды, а это еще интересней. О[куджавы], по сути, и дал ей технологию восприятия, объяснив ей, как себя вести и чувствовать в этом мультфильме. Предложил ей пространство для жизни: узнаваемое и удобное для массового потребления, дал интонацию, которой можно верить. Для массового, да. В книге [„Стихотворения“ Б. Окуджавы], например, имеются комментарии, в которых, в частности, сообщается, кто такая Пенелопа („Пенелопа — у Гомера жена Одиссея“), кто есть Расстрелли и кто такой Росси. Учтем, что сборник выпущен в серии „Новая библиотека поэта“, в Петербурге, а издавал ее „Академпроект“. То есть три этих сущности в принципе не допускают объяснений того, кто такие Р. и Р., — а вот читателям О[куджавы] объяснить это надо.

См. об этой книге также рецензию **Андрея Немзера** «Великий заместитель» («Время новостей», 2001, № 71, 20 апреля <<http://www.vremya.ru>>).

Инна Лиснянская. При свете снега. Цикл стихов. — «Дружба народов», 2001, № 4.

«В снегу проплешинки / Голубоваты, — / А как там беженки? / А как солдаты?» См. также стихи Инны Лиснянской в журналах «Звезда» (2001, № 3) и «Арион» (2001, № 1). См. также письмо Инны Лиснянской к Наталье Ивановой в связи с книгой последней «Борис Пастернак: участь и предназначение» («Ваши найдены удивительно верный тон...» — «Литературная газета», 2001, № 16, 18 — 24 апреля).

Елена Макарова. Джаз в нацистских концлагерях. — «Русский еврей». Обще-ственно-литературный журнал. 2000, № 4 (16).

Весь номер — о Холокосте.

Игорь Манцов. Полный совок. — «Искусство кино», 2001, № 2.

«Лично я всегда воспринимал „Неоконченную пьесу“ [Никиты Михалкова] как непосредственный блиц-ответ на вселенскую спесь „Зеркала“ А. Тарковского, где русскому писателю, художнику слова, отведена непропорциональная его подлинным заслугам перед Богом и обществом роль».

«И в нашей жизни случаются маленькие радости: вот прочел, будто „Сибирский цирюльник“ коммерчески прогорает за рубежом», — признается **Станислав Рассадин** («Новая газета», 2001, № 29, 23 апреля).

Александр Мелихов. От релятивизма к законности, или От гордыни к сутяжничеству. — «22». Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 117 (2000).

Эволюция Старовойтовой.

О. Александр Мень. Вселенная должна иметь причину. Христианство и теория революции. Материал подготовил Василий Шаповалов. — «Дорога вместе». Молодежный христианский журнал. 2001, № 1, январь — март. E-mail: vmeste@pisem.net

Домашняя беседа с подростками в 1987 году. «Вчера я служил панихиду. Одна шустрая мышка вылезла на панихидный столик и, глядя на меня виноватым взглядом, с необычайной быстротой (а ведь тут толпа народу стоит, свечи горят, поют) стремительно ела. <...> мне было жалко ее прогонять, потому что из всех предметов, среди которых она сидела, она была самым совершенным Божьим творением. Ведь тут что было? Чеканка, подсвечник... а это — живое существо!» Публикуется впервые.

Кирилл Михайлов. Англикане против однополых браков. — «Вести.Ru». Ежедневная интернет-газета. 2001, 13 апреля <<http://www.vesti.ru>>

В интервью Би-би-си архиепископ Кентерберийский д-р Джордж Кэри заявил, что брак — это отношения между мужчиной и женщиной и что Англиканская церковь не будет благословлять однополые браки, поскольку это и не браки вовсе. «Можно сказать, — пишет К. Михайлов, — что сейчас, когда голос Церкви все чаще воспринимается современным обществом как, мягко говоря, анахронизм, Церковь возвращается к ситуации первых веков христианства, когда проповедь распятого Христа воспринималась как безумие (1 Кор. 1: 3), точнее же, если посмотреть греческий оригинал текста, как глупость и лавобумие. Именно в этой ситуации Церковь имеет исторический шанс освободиться от привязанности к социальному и историко-культурному контексту, будучи, по словам Христа, и солью земли (Мф. 5: 13), и не от мира сего (Ин. 15: 19)».

Так вот — о *контексте*. В тридцатом выпуске «Других языков» («Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr/other_lang>) обращают на себя внимание аннотации весьма

симптоматичных — в духе времени — статей. Так известный специалист по биоэтике, профессор Принстонского университета **Питер Сингер** (*Peter Singer*) в своем эссе «*Heavy Petting*», помещенном на портале *Nerve*, утверждает, что предубеждение против зоофилии, мотивированное «ненатуральностью» этой разновидности сексуальных отношений, подозрительно напоминает аргументацию против давно уже легализованного гомосексуализма. «Сингер, столь горячо защищающий права животных, не понимает, что вовлечение их в сексуальные отношения с человеком аморально. И не потому, что оскорбляет человеческое достоинство, а потому, что унижает животное», — спорит с ним **Нора Винсент** (*Norah Vincent*) в издании под названием «*Village Vice*». Она уверяет, что призывать к легализации скотоложества — все равно что открыто проповедовать развращение малолетних, ведь по своему умственному и эмоциональному развитию даже самые продвинутые звери находятся в лучшем случае на уровне ребенка, а не умея говорить, они не могут адекватно подтвердить своего добровольного участия в сексуальном акте.

Михаил Михеев. Сон, явь или утопия? Еще один комментарий к «Чевенгуру» Платонова. — «Логос», 2001, № 1.

«Но почему рассказ о путешествии героев в Чевенгур следует воспринимать как сон, и если это действительно сон, то кому же, собственно говоря, он принадлежит, кому, в конце концов, он снится?»

Сайяд Мурдов. Демократия под мушкой. Наличие оружия у законопослушных психически здоровых граждан — фактор социальной стабильности. — «Круг жизни», 2001, № 8, 27 апреля <<http://life.ng.ru>>

«В Конституции РФ говорится: „Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность” (гл. 2, ст. 22, ч. 1) и, как уже говорилось выше, — „Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом” (гл. 2, ст. 45, ч. 1). <...> И мне кажется, что есть прямая связь между отсутствием оружия у населения и произволом властей...»

«Опросы социологических служб свидетельствуют, что от 70 до 80 процентов россиян высказываются за разрешение свободной продажи оружия. Это серьезный процент, — пишет **Александр Агеев** («Время МН», 2001, № 74, 26 апреля <<http://www.vremyamn.ru>>), — даже по поводу купли-продажи земли уровень согласия меньше. <...> Хорошо это или плохо? Вооружение из нужды — неважная характеристика качества жизни. Но если говорить о формировании в России редкого прежде типа свободного и ответственного человека, полагающегося только на себя, — это хороший симптом».

«...На грандиозно-пошлых „чествованиях” не был». Письма В. В. Набокова к Г. П. Струве. Публикация Евгения Белодубровского. Примечания, вступительная заметка и переводы с английского Григория Утгофа. — «Вышгород», Таллинн, 2000, № 5-6.

15 писем 1936 — 1958 годов: *дела, дела, дела*.

Всеволод Некрасов. *Sex = Idée sex*. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovt>

«Что хуже — что сексуальная или что революция?..» Фрагмент статьи 1995 года, предназначавшейся для книги В. Н. Некрасова и А. И. Журавлевой «Пакет» и не опубликованной по техническим причинам.

Андрей Немзер. Проверка на шивовость. — «Время новостей», 2001, № 61, 6 апреля <<http://www.vremya.ru>>

«Быков строит роман [„Оправдание”] на „обманке” (сюжетной и этической), сортируя читателей на тех, кто почует подвох загодя, и тех, кто останется в плену соблазнительной фантазмагии до того мига, когда герой погибнет, а автор расставит все точки над *i*, произнесет приговор. Отнюдь не оправдательный. Быкову важны обе группы читателей».

«Быков, видимо, выстраивает аллгорию, — пишет **Мария Ремизова** („Распальцовочка” — „Независимая газета”, 2001, № 77, 28 апреля <<http://www.ng.ru>>), — сперва он изо всех сил (в реконструкциях) демонизирует сталинскую власть, придавая громадью планов сакральную составляющую и интерполируя не свойственную ей логику, затем, отрицая эту демонизацию, низводит природу российского человека до самых низших степеней, акцентируя внимание на ее садомазохистском комплексе. <...> Оправдание чего имел в виду Дмитрий Быков? Потому что в романе решительно ничего не оправдано — ни туповато-целестремленный герой, ни палачи, ни жертвы, ни та, ни другая эпоха...»

Андрей Немзер. «Этим и интересен». Новая книга о поэзии Бродского. — «Время новостей», 2001, № 66, 13 апреля.

«[В своей книге „Иосиф Бродский и русская поэзия XVIII — XX веков” Андрей] Ранчин дерзнул на ответственный разговор о серьезных материях. „Величие замысла” в литературоведении встречается так же редко, как в поэзии».

Евгений Носов. «Война всегда не ко времени». Беседу вел Владислав Павленко. — «Труд-7», 2001, № 73, 19 — 25 апреля.

«Тем не менее Александр Исаевич [Солженицын в июльской книжке «Нового мира» за прошлый год] с профессиональным пристрастием, будто старательный дятел, простучал весь мой сорокалетний творческий прирост, строго определяя его ценность, помечая не выдержавший испытания временем сухостой... Я предельно благодарен Александру Исаевичу».

Юрий Оклянский. Предводитель. — «Вопросы литературы», 2001, № 2, март — апрель.

Предводитель — это Владимир Яковлевич Лакшин. Жаль только, что опытный мемуарист не почуствовал, до какой степени благородное слово, вынесенное им в название очерка, ассоциируется для современного читателя с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым.

Дмитрий Ольшанский. Филологическая поэма. Издана мемуаристика Ефима Эткинда. — «Сегодня», 2001, № 78, 10 апреля.

«Склонность посвятить 300 — 400 страниц, [выпущенных в свет петербургским «Академическим проектом»], подробному описанию своего изгнания из института, невыпуска книги, а также исключения из Союза писателей говорит о катастрофическом преувеличении масштаба собственных неурядиц, об огорчительном комплексе мученика, комплексе, с точки зрения будней 1974 года, странном. Собственно говоря, с Эткиндом не случилось ничего страшного — по меркам государства, в котором людей десятилетиями уничтожали физически. Благополучно существуя в качестве профессора-эмигранта в европейских университетах (Эткинд умер в 1999 году. — *А. В.*), писать книгу о собственной „казни” (именно так Эткинд называет свое увольнение с работы), именуя при этом себя не иначе как в третьем лице, — как выглядят подобные жесты применительно к тем, кто действительно был казнен (или же далеко и надолго посажен) в советской империи?»

Эзра Паунд. «Я верю в абсолютный ритм». Предисловие и перевод с английского Сергея Нещеретова. — «Новая Юность», № 46 (2001, № 1).

Из курса лекций 1928 года для студентов-филологов «Как читать (и зачем)».

Валерий Писигин. Письма с Чукотки. — «Октябрь», 2001, № 1, 2, 3, 4.

О жизни чукотской.

Алексей Плуцер-Сарно, Вадим Руднев. «Кодекс гибели» литературы. — «Логос», 2001, № 1.

А. П.-С.: <...> Если я тебя правильно понимаю, то история литературы, по-твоему, зиждется именно на субъективно-бессмысленных оценках. Грош цена такой истории литературы.

В. Р.: Но мы не можем свою речь лишить какой бы то ни было аксиологии. Ты говоришь, что не нужно оценок, — и это тоже оценка.

А. П.-С.: Хорошо, я не буду больше никогда так говорить...»

Сергей Поварцов. Подготовительные материалы для жизнеописания Бабеля Исаака Иммануиловича. — «Вопросы литературы», 2001, № 2, март — апрель.

«Солнечный октябрьский день 1975 года. Я пришел к Шкловскому, чтобы поговорить о Бабеле. <...>

— Литературным трудом он, конечно, жить не мог. Я думаю, что он спекулировал. Когда Бабеля арестовали, за ним оставалось триста тысяч долга.

Дар речи покидает меня...»

Александр Подрабинек. Бюстгальтеры марки «чучхе». Нужен ли нам импорт, оплаченный трудом смертников. — «Общая газета», 2001, № 17, 26 апреля — 7 мая <<http://www.og.ru>>

Северная Корея: казни христиан.

Владимир Познер. «Все поняли, что надо сидеть и не чирикать!» Беседу вела Елена Афанасьева. — «Новая газета», 2001, № 29, 23 апреля <<http://www.novayagazeta.ru>>

«Насколько мне известно из самых разных и авторитетных для меня источников, война эта началась со встреч Гусинского с Путиным, когда тот еще не был президен-

том. Первая, если я не ошибаюсь, состоялась в августе или в сентябре 99-го, а вторая — в декабре. Было сказано что-то типа: или вы будете нас поддерживать, или вы не станете президентом. Но Гусинский не понял, с кем имеет дело...»

Мэтью Прайс. Агент мирового духа, или Мог ли КГБ вскормить Постмодернизм? Материал подготовили Петр и Ольга Серебряные. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/west>>

Были ли знаменитый философ-гегельянец Александр Кожев (Александр Владимирович Кожевников; 1902 — 1968), сыгравший немалую роль в создании европейских послевоенных институтов, агентом КГБ? «В 1933 в *L'Ecole Pratique des Hautes Etudes* он проводит семинар по гегелевской „Феноменологии духа“, привлекая основных французских мыслителей XX века: сюрреалиста Андре Бретона, философа Жоржа Батая, феноменолога Мориса Мерло-Понти, социолога Раймона Арона, психоаналитика Жака Лакана и писателя-экспериментатора Раймона Кено. Батай, кстати, был настолько потрясен лекциями Кожева, что даже почувствовал себя униженным: они его „сломали, сокрушили, убили десять раз подряд, задушили и пригвоздили“. Арон думал о Кожеве как о величайшем уме, с которым ему довелось встречаться, — „он умнее Сартра“. <...> Именно Кожев — источник основной идеи эссе Фрэнсиса Фукуямы „Конец истории“: идеи о том, что история имеет направление и конец, который Фукуяма локализовал в триумфе западных демократий в Холодной войне. <...> Шади Драри, политолог Университета Калгари и автор книги „Александр Кожев: истоки постмодернистской политики“, называет его „историческим детерминистом“, т. е. историческим оппортунистом. „Если он думал, что Сталин должен стать концом истории, он был на его стороне, — говорит Драри. — Если бы он подумал, что это американцы, он был бы на их стороне“. Действительно, в 1940 г. Кожев написал эссе о возможности победы нацизма в Европе, в котором утверждал, что сотрудничество с победоносными немцами приемлемо, если оно приведет к экономическому превосходству Европы. Мог ли этот сложный мыслитель быть советским шпионом? Драри высказывает предположение, что если Кожев и шпионил, то только в промежутке между 1945 и 1948 гг., т. е. до того, как он понял, что Сталин проиграет истории...»

«Самую поразительную историю о Кожеве рассказал Исайя Берлин, — читаем в статье Александра Эткннда „Новый историзм, русская версия“ („Новое литературное обозрение“, № 47 <<http://www.nlo.magazine.ru>>). — Встретившись в Париже в 1946-м, эмигранты обсуждали русские дела. Если правитель следует правилам, даже самым жестоким, этого недостаточно для того, чтобы изменить поведение людей, считал Кожев. Чтобы люди изменились в России, их надо подвергнуть непредсказуемым страданиям: обвинять в том, что они не совершили, или наказывать за нарушение несуществующих законов, а точнее говоря, преследовать случайным образом. Тогда все придет в хаос, возникнет подлинная аномия, и власть сможет вести людей за собой. Это, рассказывал Кожев, и делает Сталин. Кожев писал Сталину, надеясь дать философское обоснование его политике, но не получил ответа. Он идентифицировал себя с Гегелем, а Сталина с Наполеоном, замечал Берлин. Во время их разговора Кожев служил крупным правительственным чиновником и вел семинары по Гегелю. Он был одним из архитекторов Европейского Союза, в не совсем точной форме воплотив давние мечты своих учителей».

Ср. размышления Кожева о Сталине и непредсказуемых страданиях с романом Дмитрия Быкова «Оправдание» («Новый мир», 2001, № 3, 4).

Ольга Прохорова. Романтика с большой дороги. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/razbor>>

«Набоков в своих лекциях пенял Лермонтову на то, что сюжет у него [в „Герое нашего времени“] строится на подглядывании и подслушивании. Кавериным [в „Двух капитанах“] этот прием доведен до головокружительного совершенства».

Станислав Рассадин. Растратчик или наемник? — «Новая газета», 2001, № 23, 2 апреля.

«Признаюсь, в своей приязни к „Растратчикам“ [Валентина Катаева] я даже готов несколько потеснить интеллигентское Евангелие — романы Ильфа-Петрова...»

Михаил Ремизов. Сумерки идиолов, или Рождение корпоративного государства. К онтологии политического реализма. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/meta>>

«Вытеснение партийной логики корпоративной означало бы переход от политической системы, основанной на идентификации с мнениями, к политической системе, основанной на принадлежности. Вообще, принадлежность — более глубокий принцип, чем пресловутая „симпатия“, ибо действительность — более глубокий принцип, чем идеал... В сущностном смысле дилемма такова: будет ли политическая социализация

граждан опосредована *формами спектакля* или *формами существования*? Принцип корпоративизма — это и есть политическая система верховенства „действительности” над спектаклем „идеалов”...» О корпоративном государстве см. также статью **Евгения Голоцана** «В поисках иной демократии» («Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/grammar>>).

Мария Ремизова. Человек, который не верит в прогресс Мицүёси Нумано считает, что в культурной унификации нет ничего страшного. — «Независимая газета», 2001, № 69, 18 апреля <<http://www.ng.ru>>

«В Японии таких писателей, [как Владимир Сорокин], быть не может», — говорит известный славист, профессор Токийского университета Мицүёси Нумано, один из составителей двухтомника «Новая японская проза», вышедшего в издательстве «Иностранка».

Мария Ремизова. Детство героя. Современный повествователь в попытках самоопределения. — «Вопросы литературы», 2001, № 2, март — апрель.

Интровертированная депрессивность как принципиально заявленная *классифицирующая* черта писателей рассматриваемого круга — Бутов, Варламов, Уткин, Березин, Палей.

Элизабет Робертс. Путеводитель для ксенофоба. Перевела с английского Ольга Гречишкина. — «Вышгород», Таллинн, 2000, № 5 — 6.

«Во всех русских пальто изнутри в центре воротника имеется петелька...» Главы из книги «*Xenophobe's Guide to the Russians*» (London, 1993).

Российский проект в глобальном контексте. — «НГ-Сценарии», 2001, № 4, 11 апреля <<http://scenario.ng.ru>>

«В одной русской центральной области за последние два года усилился процесс принятия русскими ислама. Против чего объединились и местные власти, и представители православной церкви, и представители мулл... Причем оказалось, что русские мусульмане гораздо радикальнее тех, которые там были раньше», — рассказал политолог **Шамиль Султанов**, один из участников «круглого стола» о «либеральном» и «государственничском» проектах.

Россия, которую не хочется терять. — «Курицын-weekly» от 13 апреля 2001 года <<http://www.russ.ru/krug/news>>

Петербургские литераторы, группирующиеся вокруг издательства «Амфора», распространили текст открытого письма В. В. Путину. «Мы назовем эти запредельные рубежи прямо, без изворотов: Царьград, Босфор, Дарданеллы. <...> Сверхзадача сама по себе еще не гарантирует успеха, но империя, озабоченная лишь чечевичной похлебкой, обречена на поражение в любом случае. В связи с этим было бы не только весьма уместно, но и чрезвычайно конструктивно вновь возвести идею овладения Царьградом и проливами в ранг русской национальной мечты и негласно закрепить ее на государственном уровне в качестве чаемой политической перспективы. Сделать это требуется не столько в силу исторического и конфессионального пристрастия титульной нации к Константинополю и не столько в силу стратегической важности контроля над Босфором и Дарданеллами, сколько по соображениям метафизического свойства: не имея впереди сверхзадачи, трансцендентной цели, государство не в силах добиться целей реальных. <...> Носители коллективной беззаветной санкции Объединенного петербургского могущества: **Павел Крусанов, Вадим Назаров, Сергей Носов, Владимир Рекшан, Александр Секацкий, Илья Стогов**».

Инна Ростовцева. Его душа пришла в Россию. О стихах Георга Тракля. — «Вышгород», Таллинн, 2000, № 5 — 6.

Тут же — ее переводы из Тракля.

Нина Садур. Догадка о народе. — «Вопросы литературы», 2001, № 2, март — апрель.

Роман о народе невозможен.

Алексей Салмин. Новая система мира. *Belle époque* возвращается? — «НГ-Сценарии», 2001, № 4, 11 апреля.

«На рубеже XX и XXI веков, после крушения СССР и „социалистического лагеря”, происходит частичное возвращение к парадигме *belle époque*, предшествовавшей Первой мировой войне и взорванной ею. В последние десятилетия XIX — первые полтора десятилетия XX века „цивилизованный мир” пережил первую волну глобальной интеграции и экономизации политики — на тогдашней технико-экономической и социально-управленческой основе. <...> Не случайно многие новейшие рассуждения о мировом порядке XXI века выглядят почти как цитаты из сочинений экономистов и социологов

девятистолетней давности (в основном ревизирующего тогдашний марксизм направления) и почти не имеют преемственности с концепциями 60 — 80-х гг., не говоря уже о 20 — 50-х. Так же не случайно и то, что ретроспективизм в современном искусстве (литература, театр, кино) все чаще связан именно с *belle époque* как темой потерянного — и, видимо, способного вновь быть обретенным — всемирного рая».

Всеволод Сахаров. Грустная комедия о «новых» и «бывших» русских. — «Литературная Россия», 2001, № 18, 4 мая.

«Зойкина квартира».

Войцех Скальмовский. Станислав Игнаций Виткевич и Андрей Белый. Параллелизм или *Wahlverwandschaft*? — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. Главный редактор Ежи Помяновский. Варшава, 2001, № 3 (18). *E-mail: nowpol@bn.org.pl*

«Прощание с осенью», «Ненасытность» / «Петербург».

Ольга Славникова. Город и лес. О писательском профессионализме. — «Октябрь», 2001, № 4.

«Если профессиональная среда для пишущего — это „город“, то так называемый широкий читатель — это „лес“. <...> На самом деле горожанина вовсе не манит пыльная полоска леса на горизонте, но для комфорта ему необходимо знать, что лес *существует*».

Эрнест Султанов. Возможна ли гражданская война в Соединенных Штатах, или Почему Тэд Тернер так не любит Джорджа Буша. — «Литературная Россия», 2001, № 15, 13 апреля.

За демократами — Сеть, компьютерный *hi-tech*; за республиканцами — нефть, машиностроение, ВПК. Автор статьи — студент МГИМО, «специалист по Концу (? — А. В.)».

«Разве Троцкий или доктор Геббельс в качестве политиков не писали гораздо ярче и больше, чем многие или даже большинство представителей „литературного наследия“?» — утверждает тот же автор в статье «Поэт и политика» («День литературы», 2001, № 4, апрель). А также: «Муссолини не стал копировальщиком Рима, он занялся восстановлением в Италии того духа, который сделал Рим удивительным по красоте мифом. В результате появилась не жалкая копия, а яркий, неповторимый миф. У него даже есть преимущество перед Империей — нет долгого периода увядания, его гибель, как и жизнь, была цвета юношеской крови. О Фашизме всегда будут с интересом читать, перелистывая множество последовавших за Императорским Римом столетий. А после Фашизма вообще закроют книгу Истории Италии (во всяком случае, официальную ее часть) — потому что читать в ней больше нечего. На нынешней Италии история „отдыхает“...»

Одним из лучших художников в мире Бенито Муссолини считал нашего соотечественника Александра Дейнеку (см. статью Марии Михайловой «Любимый художник Муссолини» в интернет-газете «Вести.Ru» от 19 апреля <<http://www.vesti.ru>>).

См. также статью И. Виокуровой «Мережковский и Муссолини: к истории взаимоотношений» («Вопросы литературы», 2001, № 2).

Виталий Сырокомский. Загадка патриарха. Записки старого газетчика. — «Знамя», 2001, № 4.

«Однажды, увидев на его (Андропова. — А. В.) письменном столе том со множеством закладок, я спросил, что это за книга.

— Плеханов, очень интересные и даже актуальные мысли. Почитайте, не пожалеете... Думаю, в Политбюро не было других поклонников Плеханова».

Лев Тимофеев. Неизвестный жанр. — «Московские новости», 2001, № 15, 10 — 16 апреля <<http://www.mn.ru>>

«[В послании Президента Федеральному Собранию], быть может, впервые за последние сто без малого лет либеральные истины были озвучены в России с такой определенностью и последовательностью. <...> Если глава государства Российского начал изъясняться на языке либеральной экономической теории и был благосклонно и, может быть, с пониманием выслушан аудиторией (коммунисты, понятно, не в счет), это значит, что в умах российского политического истеблишмента наконец-то произошла некоторая *лингвистическая революция*».

Виктор Топоров. Некрофилия, переходящая в некрофагию. — «Кулиса НГ», 2001, № 6, 6 апреля.

«[Сергей] Довлатов, разумеется, не писал такой книги („Эпистолярный роман с Игорем Ефимовым”. — А. В.) — ее состряпали американец Игорь Ефимов с москвичом Игорем Захаровым, — не ему принадлежит и безграмотное, с двусмысленными коннотациями жанровое определение (оно же название или часть названия) „Эпистолярный

роман". Моральные принципы подлинных авторов этой книги лучше всего характеризует такой сюжет (на с. 427 — 428): „...прошу Вас не давать это письмо посторонним людям, хотя мне самому и случилось показывать кому-то чьи-то письма, рисующие моего корреспондента в смешном или невыгодном свете. Вас же я прошу этого не делать. Во всяком случае, мне для того, чтобы писать совершенно открыто, нужно ощущение, что никто посторонний этого не прочтет”, — пишет Довлатов Ефимову. Ефимов (на пару с Захаровым) публикует этот пассаж, снабдив его бесстыдным подстрочным примечанием: „Эта просьба была выполнена (И. Е.)”...»

См. об этом переписку **Елены Иваницкой** и **Дмитрия Быкова** «Писали, не гуляли. Эпистолярный роман одного эпистолярного романа» («Дружба народов», 2001, № 4).

Илья Фаликов. После бури? — «Арион». Журнал поэзии. 2001, № 1.

В постскриптуме к большой обзорной статье о поэзии автор выражает удовлетворение тем, что ему — совершенно непреднамеренно — удалось избежать слова «постмодернизм».

Сергей Филатов. Власть, церковь, свобода. — «Октябрь», 2001, № 4.

«Получается, что на свободу [личности] покушается [не только власть, но] и церковь, которая считает, что нужно *молиться за власть...*» Составитель «Периодики» почему-то всегда считал, что молиться *за* власть не то же, что молиться *на* власть.

Сергей Фомин. Нужны ли иностранные инвестиции России? — «Наш современник», 2001, № 4.

Так не нужны?

Борис Хазанов. Буквы. — «Октябрь», 2001, № 4.

Орфография и набор как особое измерение текста. Речь, произнесенная в Гейдельберге по поводу вручения литературной премии имени Хильды Домин.

Валентин Хализев. «Я — маргинал». Беседа Галины Зыковой с профессором кафедры теории литературы филологического факультета МГУ Валентином Хализевым. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr>

Г. З.: Вы говорите со студентами о [Валентине] Распутине?

В. Х.: Нет, и не из-за того, что боюсь, а потому, что отклика не встречу и, быть может, даже дополнительно настрою против того, к чему хотел расположить. Надо, чтобы слушатель был подготовлен к разговору. А такого пока не вижу. <...> Распутин не устаёт говорить о тех, кому „хуже, чем нам”. А мы при одном произнесении имени этого необычайно талантливого писателя брезгливо хмурим бровь и морщим переносицу (помните Пастернака?)...»

Владимир Ханан. На чужом языке. — «22». Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, № 117 (2000).

«Таким образом, израильская интеллигенция европейского образца не является национальной интеллигенцией в собственном смысле слова. Ее национальная беспочвенность очень сближает ее с русской интеллигенцией, также выросшей на высокой заимствованной культуре. (В этом смысле обе они и не являются защитницами национальных интересов, что так легко понимается нами в отношении России.) Типичный израильский интеллигент легко мог бы преподавать свой предмет, физику, скажем, или французскую литературу (да, впрочем, и еврейскую мистику, почему нет?), в Оксфорде или Гейдельберге. Ему только трудно самому вжиться в ту действительно своеобразную систему мышления, которая характеризовала (и формировала) ментальность его народа на протяжении столетий веков и делала его отличным от других. <...> Пора бы нам понять, что с окружающим миром следует говорить на своем языке, языке своей цивилизации. Потому что непонимание возникает не из-за нашего национального эгоизма или субъективности, а именно из-за нашей внесубъективной позиции, которую невозможно защитить».

Татьяна Чередниченко. Гимнопедия. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2001, № 1 (15) <<http://novosti.online.ru/magazine/nz>>

«В. В. Путин, запустивший гимническую дискуссию, спровоцировал выплеск радикальной анахроничности наших „левых” и „правых”. Жест наподобие хеппингов Джона Кейджа. Например, „молчаливой” пьесы „4’ 33””, рассчитанной на одинаково не ухватывающие смысла акции недоумение/возмущение/смех/протест/чувство солидарности якобы понимающих, что к чему. Темой Кейджа является всеобщая неадекватность, которую можно обнаружить только культурной провокацией. Мелодии Глинки и Александрова стали аналогом кейджевского зияния, заполняемого комплексами аудитории».

О том, как **Станислав Куняев** сочинял слова гимна на музыку Александрова, см. в очередной главе его откровенных мемуаров («Наш современник», 2001, № 4; начало см. — 1999, с № 1 по 9, 11, 12; 2000, №1, 3, 11; 2001, № 2, 3).

Чудо о Евгении. — «Завтра», 2001, № 14, 3 апреля.

О мироточении *фотографий* воина Евгения Родионова, убитого в чеченском плену за отказ отречься от Христа.

Михаил Чулаки. Под звездами балканскими. Началась мировая смена культуры. — «Литературная газета», 2001, № 14, 4 — 10 апреля.

«Остановить [албанских] пассионариев можно только огнем, но на это Европа, по видимому, не способна».

Максим Шевченко. О властях и церкви Христовой. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай: «Писание готовит нас к приходу Спасителя, а говорят о приходе антихриста». — «НГ-Религии», 2001, № 8, 25 апреля <<http://religion.ng.ru>>

«— Вы всегда открыто выступали и высказывались по поводу канонизации царя Николая II, и перед Собором, и на Соборе. <...> Почему у вас такое отношение к царю?»

— Видите ли, он государственный изменник. Почему? Ему было вручено все для правления. И даже Священное Писание гласит, что „правитель не зря меч носит“, для того, чтобы усмирять тех горлопанов, которые восстают против. <...> Он должен был применить силу, вплоть до лишения жизни, потому что ему было все вручено. Он счел нужным сбегать под юбку Александры Федоровны. Ну, извините!

— *Владыка, говорят, что мироточение царских икон происходит повсеместно...*

— <...> У меня ничего не мироточит».

Эта же беседа с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Николаем одновременно напечатана в другом приложении к «Независимой газете» — «Фигуры и лица» (2001, № 8, 26 апреля).

Александр Шерман. «Здесь все как обычно: стреляют». Авром Шмулевич считает, что создалась общность интересов России и Израиля, как стратегическая, так и цивилизационная. — «Дипкуррьер НГ», 2001, 5 апреля <<http://world.ng.ru>>

«Согласно тенденции Нового Мирового Порядка, национальные традиции должны отмереть, будет воспитан „новый человек“ (по выражению Жака Аттали — „человек-кочевник“), который никак не связан ни с почвой, ни с традицией, ни с религией, — говорит хасидский раввин, лидер израильского движения „Бэад Арцейну“ Авром Шмулевич. — <...> Поскольку и русский, и еврейский народы дорожат своей аутентичностью, то было бы естественно ожидать, что мы станем союзниками в борьбе против атлантизма».

Михаил Шишкин. Русская Швейцария. Фрагменты книги. Предисловие Владимира Березина. — «Дружба народов», 2001, № 4.

Рахманинов. Набоков.

Александр Шуплов. «Чеченские бандиты смеются над нашим судом, потому что знают, что смертной казни не будет...». Александр Солженицын изменяет абстрактному гуманизму во имя борьбы с терроризмом. — «Субботник НГ», 2001, № 17, 5 мая.

Говорит Александр Солженицын: «[Террористы] смеются над нашим судом. Потому, что они знают: смертной казни не будет — мы никак не можем перед Страсбургом быть виноватыми. Сперва будет пожизненное заключение, потом какая-нибудь скидка, какая-нибудь амнистия или побег... Я расскажу неизвестный совершенно эпизод. Отец писателя Набокова, Владимир Дмитриевич Набоков, крупный российский государственный, общественный деятель, поставил своей целью отменить в России смертную казнь (отчасти под влиянием Толстого). Он посвятил двадцать лет своей жизни этой главной цели — с конца XIX века и до сентября 1917 года. Почему всё это кончилось в сентябре 17-го? К сентябрю 17-го разлилась вся разляпистая мерзость февраля, начались убийства без всяких причин, без охранной ненаказуемости. Он пришёл в петроградскую городскую думу и третьего сентября произнес речь: „Я двадцать лет боролся за полную отмену смертной казни. Я ошибался. Мы не можем бороться с этим иначе, как смертной казнью. Бывают такие случаи, когда для спасения всего общества, для спасения государства смертная казнь нужна“... И мы имеем исторический опыт, как Столыпин за полгода моментально прекратил такую же слякоть, такую же мерзость 1905 года смертной казнью...»

Этой тишины не наслушаться. — «Литературная газета», 2001, № 15, 11 — 17 апреля.

Говорит Валентин Непомнящий в беседе с Алексеем Варламовым: «Я глубоко уважал этого человека (Вадима Кожинова. — А. В.) и горжусь его ко мне отношением. Что каса-

ется версии о том, что гибель Пушкина была организована, то что же, все может быть. Но я побаиваюсь таких операций с фактами жизни. Кажется, что точки *A* и *B* соединены прямой линией, а на самом деле — через *C, D, F...* Жизнь импровизиационнес...»

«Я хотел найти аналог Баху». Беседа с московским писателем Анатолием Ки-мом. Беседу вела Татьяна Вольтская. — «Русская мысль», Париж, 2001, № 4363, 26 апреля.

«— Вы не причисляете себя к тем, кого мы называем шестидесятниками?

— Ни в коей мере. <...> Личные ценности для меня всегда были неизмеримо выше общественных».

Игорь Яковенко. Диктат идеала. — «Дружба народов», 2001, № 4.

Оказывается, *власть абсолютного идеала* равнозначна отказу от либеральной пер-спективы, неотделима от эсхатологизма, чревата империей, вызывает миссионерский зуд, обрекает человека на дискомфорт и многообразные мучения, как-то: безотчетная тревога, чувство вины, юродство, агрессия и ненависть к людям, свободным от власти абсолютного идеала, поэтому надо срочно освобождаться от диктата «должного» ради «сущего», а для начала надо — срочно, срочно, срочно — легализовать проституцию, буквально так.

Но «почему, — размышляет Александр Агеев («Время MN», 2001, № 76, 28 апреля <<http://www.vremyamn.ru>>), — Яковенко не хочет замечать, что запоздало реабилитиро-ванное им „сущее” на наших глазах, в свою очередь, идеализируется, причем с помо-щью довольно тяжелого рекламного пресса. Ситуация переворачивается слишком зер-кально, и признавать, что „сущее” и есть „должное”, мне, например, не хочется».



АДРЕСА: полный архив статей Максима Соколова за период с 1990 по 2000 год на сайте Правого Клуба: <http://www.conservator.ru>



ДАТЫ: 7 августа исполняется 80 лет со дня смерти Александра Александрови-ча Блока (1880 — 1921); 24 августа исполняется 80 лет со дня расстрела Николая Степановича Гумилева (1886 — 1921).

Составитель Андрей Василевский.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Август

5 лет назад — в № 8 за 1996 год напечатана повесть Виктора Астафьева «Обертон».

25 лет назад — в № 8 за 1976 год напечатана повесть Василия Аксенова «Круглые сутки нонстоп».

30 лет назад — в № 8 за 1971 год напечатана повесть Юрия Трифонова «Долгое прощание».

35 лет назад — в № 8 за 1966 год напечатана повесть Фазиля Искандера «Созвездие Козлотура».

65 лет назад — в № 8 за 1936 год напечатана поэма Павла Ва-сильева «Кулаки».

75 лет назад — в № 8-9 за 1926 год напечатана статья Вл. Мая-ковского «В мастерской стиха».

SUMMARY



This Issue publishes the narrative «Life that was Absent» by Aleksander Titov, «Notes of a Run Away Cinema Producer» by Mikhail Kurayev and also stories by Evgeny Shklovsky. The poetical section includes poems by Marina Boroditskaya, Yuri Grunin, Evgeny Karasev and Vladimir Gubaylovsky.

Under the heading «Times and Manners» readers can find the article «To Live According to Rules or the Right for Old Spelling» by Maksim Krongauz, dedicated to questions of modernization and correction of the Russian orthography.

Under the heading «Polemics» the discussion in letters between the philosopher Grigory Pomerants and the publicist Andrey Zubov is included.

Under the heading «The World of Art» readers of this Issue can find an article «In the Mode of Musikal Time» — some fragments from a new book written by Tatyana Cherednichenko, the musical and cultural expert.

Under the heading «The Writer's Diary» an essay by a poet Aleksander Kushner «Our Proust» is published.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов,
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 101999, ГСП-9, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,
зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru;
по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://novosti.online.ru/magazine/novy_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.04.2001 г. Подписано к печати 28.06.2001 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 350 экз. Зак. 2315. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ,
101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия учреждена Благотворительным Резервным фондом и журналом «Новый мир» в 2000 году и присуждается автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, сетевые публикации и рукописи не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2001 года.

Состав жюри:

**МИХАИЛ БУТОВ, председатель жюри,
ответственный секретарь журнала «Новый мир»,
АНДРЕЙ ВОЛОС, прозаик,
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда,
ОЛЬГА НОВИКОВА, прозаик,
зам. зав. отделом прозы «Нового мира»,
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА, прозаик, эссеист.**

**Координаторы премии:
главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.**

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии
произойдет в январе — феврале 2002 года.**

**Контактные телефоны:
(095) 209-57-02, 209-91-81.
E-mail: butov@aha.ru, seva@mail.cnt.ru**